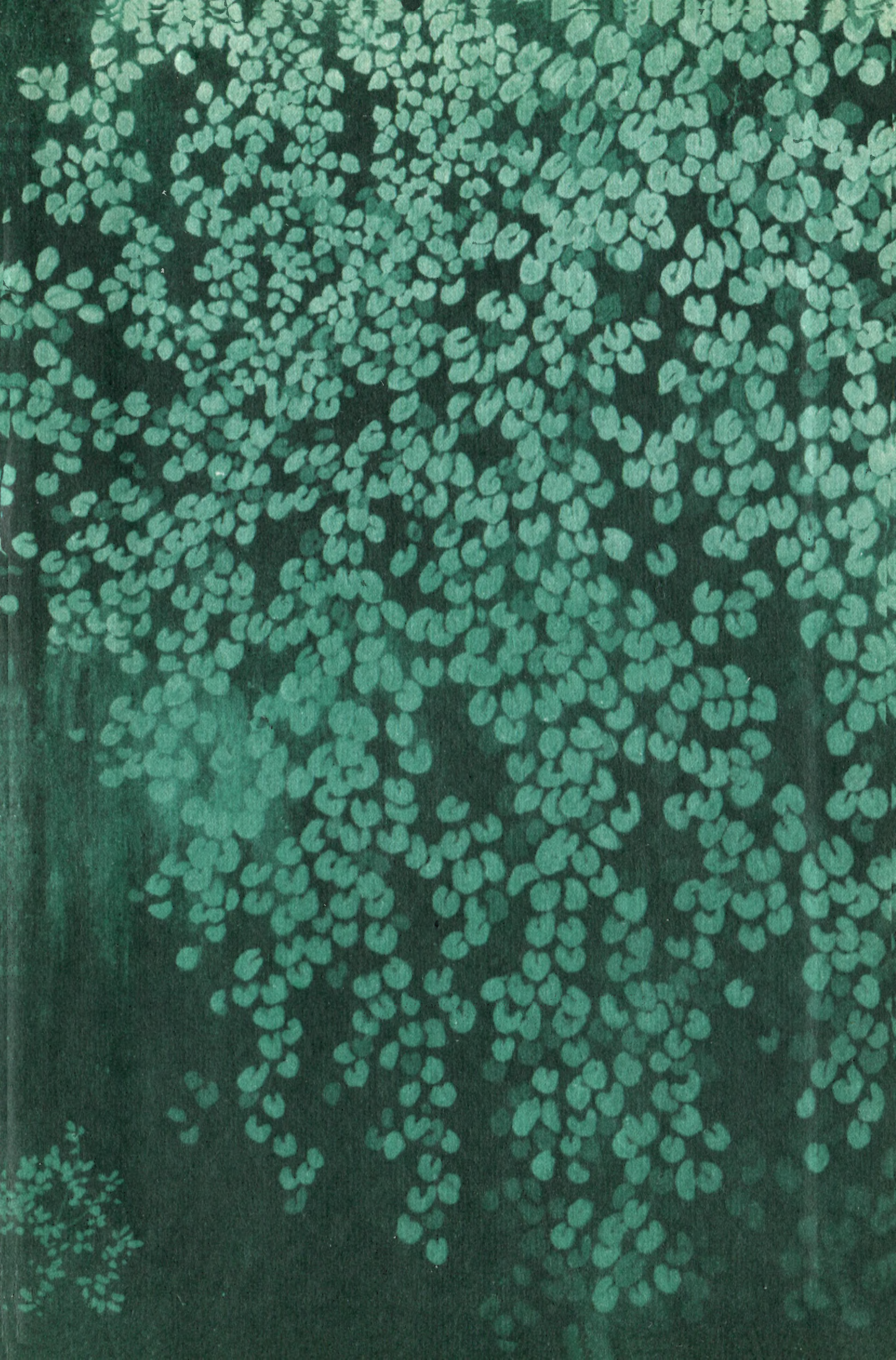
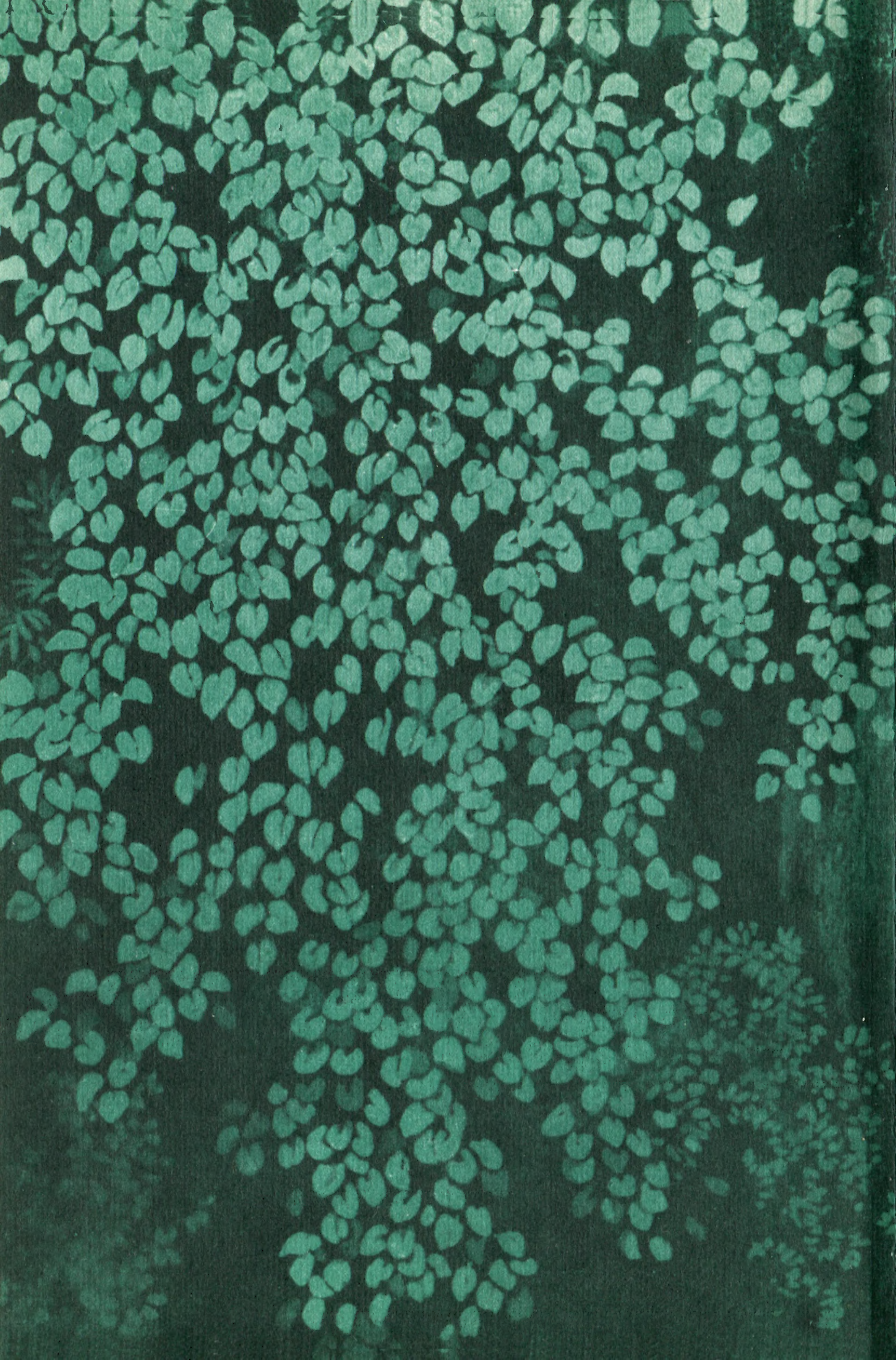
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С. Т. АКСАКОВ
Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ
К. М. СТАНЮКОВИЧ
Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

С. Т. АКСАКОВ
Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ
К. М. СТАНЮКОВИЧ
Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

1





БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

С. Т. АКСАКОВ

Детские годы Багрова-внука

Повесть

•

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Детство Темы

Повесть

•

К. М. СТАНЮКОВИЧ

Рассказы

•

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Рассказы

•

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

1983

Р1
А41

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Составление, предисловие и примечания
В. А. БОГДАНОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
Л. Т. КУЗНЕЦОВА

А $\frac{4803010101—410}{М101(03)83}$ Подп. изд.

© Предисловие. Примечания. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

«Жизнь человека в дитяти» — так С. Т. Аксаков, завершая работу над книгой «Детские годы Багрова-внука», сформулировал ее тему. А издавая книгу в 1858 году, он предпослал ей более развернутое определение темы и проблемы. Рассказы Багрова-внука, писал Аксаков, «представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся под влиянием ежедневных новых впечатлений». Эти слова удивительно емко и точно передают своеобразие и других произведений, собранных в этом томе. И Аксаков, и Гарин-Михайловский, и Станюкович, и Мамин-Сибиряк уделяют преимущественное внимание внутреннему миру своих героев, они пристально следят за возникновением и развитием душевных движений, воспроизводя даже самые незначительные из них.

Все эти произведения роднит и та плодоносная художественная нива, на которой они взошли,— гуманистические и реалистические устремления великой русской литературы. Вот почему, передавая историю роста и организации человеческого характера, писатели не замыкают своего героя в его возрастных границах. Он живет в сложных, иногда очень драматичных для него соприкосновениях с миром взрослых. Сопряжение, взаимовлияние этих двух миров — детского и взрослого — таит в себе возможность невосполнимых потерь: свершается подлинная драма, когда взрослые не хотят или не умеют увидеть восходящей рядом с ними новой человеческой жизни во всей ее уникальности и самоценности. Поступки и отношения старших под детским взглядом — чистым, непосредственным, естественно-человеческим — начинают выглядеть странными, зачастую достойными осуждения. С другой стороны, стремление проникнуть в эти поступки и отношения, жажда осмыслить и как-то согласовать их со своими представлениями о до́лжном, о добром изменяют, обогащают детские переживания. Чувства, мысли юного человека наполняются социальным смыслом, что и подготавливает его к равноправному участию в большой, настоящей жизни.

Даже аксаковский Сережа Багров, окруженный заботой самоотверженной матери, не может оставаться только созерцателем мира взрослых. Герои же Гарина-Михайловского и особенно Станюковича и Мамина-Сибиряка только в нем и живут, вынужденные самостоятельно принимать важные, совсем недетские решения. А Прошка, герой рассказа Мамина-Сибиряка «Вертел» (1897), уже в свои двенадцать лет выполняет работу, непосильную и для мужчины. Более того, среди произведений Станюковича и Мамина-Сибиряка (в основном 1880—90-х годов), помещенных в этом томе, есть и такие, где рассказывается только о взрослых людях. Станюкович знакомит в них читателя с нелегкой морской службой, а Мамин-Сибиряк и затерянное в снежных просторах зимовье изображает социальным «материком», где царит несправедливость и бесправие.

В своей совокупности произведения, собранные в этой книге, повествуют о становлении человека, о тех главных, важнейших испытаниях, которые предлагает ему жизнь. Взрослеющий, мужающий человек со своим особым событийным и духовным миром, беспрестанно и качественно меняющимся,— главный герой этой книги.

* * *

Замысел книги о детстве возник у Сергея Тимофеевича Аксакова в 1854 году. В шуточном стихотворении, написанном на день рождения внучки, он обещает ей прислать через год свою книжку «про весну младую, про цветы полей, про малюток пташек... про лесного Мишку». Но проходит время, и Сергей Тимофеевич сообщает Оле: «...дай бог, чтобы к будущему дню твоего рождения она была готова. Да и книжка выходит совсем не такая, какую я обещал тебе». Она явно перерастала первоначальный замысел: существенно изменились и содержание ее, и цель, и объем. «Я дописываю большую книгу,— читаем в письме Аксакова от 3 мая 1857 года.— Это должно быть (хорошо, если будет) художественным воспроизведением моих детских лет, начиная с третьего до девятого года моей жизни». Так появились «Детские годы Багрова-внука», вначале на страницах журнала, в отрывках, а через год, в 1858 году, отдельной книгой.

А за два года до этого Аксаков выпустил «Воспоминания», в которых он рассказал о своем отрочестве и юности, прошедших в Казани: там он учился в гимназии, откуда поступил в Казанский университет. «Воспоминания» были изданы совместно с «Семейной хроникой» из жизни старшего поколения Багровых. И теперь, когда появилась история детства Аксакова, биография главного героя всех трех книг обрела недостающее хронологическое звено, образовалась художественно-автобиографическая трило-

гия. В истории русской литературы она заняла место непосредственно рядом с «Детством», «Отрочеством» и «Юностью» Льва Николаевича Толстого.

Внутреннее единство всех трех книг Аксакова сразу почувствовали их первые критики и читатели, хотя от своего лица автор ведет рассказ только в «Воспоминаниях», а в двух других — от имени Багрова. Но внимательный читатель, писал Добролюбов, очень легко убедится «в тождестве Аксакова и Багрова» и найдет много примеров «сходства всего багровского с аксаковским». Добролюбов поэтому считал себя вправе назвать и «Детские годы» воспоминаниями Аксакова, несмотря на специальное «предуведомление» писателя своим читателям, в котором он категорически отрицал тождество между собой, автором, и Багровым-внуком, этим вымышленным рассказчиком.

Но почему же С. Т. Аксаков, повествуя о своем детстве, о жизни своих родных и близких, прибегнул к псевдониму?

Одна из причин, как считает сын писателя Иван Аксаков,—это желание прекратить неприятные для рода Аксаковых и Куроедовых «толки и пересуды», какие могли вызвать книги, прежде всего «Семейная хроника»: на многих ее страницах старшие представители этих семейств выглядят типичными крепостниками. Была еще и причина художественная. И осмысление ее приближает к пониманию широкого смысла сугубо, казалось бы, автобиографического повествования.

Автор, «прикрывшись» именем Багрова, стремился «удержать журнальную критику в пределах чистой литературной оценки выставленных им характеров и типов» (И. С. Аксаков). Он пошел по тому же пути, что и Лев Толстой, озаглавивший свою первую повесть «Детство» и очень недовольный тем, что редакция журнала произвольно изменила заглавие: «История моего детства» противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории м о е г о детства?» Ту же цель: придать с самого начала, уже в заглавии, обобщающий смысл своему сочинению — преследовал и Сергей Тимофеевич Аксаков.

К выявлению общезначимого, общеинтересного целеустремлено все повествование. Так, автора в детстве увлекали сказки, надолго овладевая его горячим воображением: «С какою жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования?» Эту тайну он видит «в страсти к чудесному, которая, более или менее, врождена в с е м д е т я м» (подчеркнуто нами.— *В. Б.*). Так, Сереже понравилось, что купленную его отцом деревушку назвали «Сергеевкой». Это так рано появившееся в нем чувство собственности автор объясняет, а заодно и извиняет также о б щ и м и свойствами детской психологии.

Но при всей своей целеустремленности к реалистическому обобщению сферой изображения для Аксакова остаются его личные переживания и чувства, «истории» и события из его собственной жизни, из жизни родных, близкого окружения. Один из исследователей (советский литературовед С. Машинский) назвал даже его «едва ли не самым автобиографическим писателем в истории мировой литературы». Это своеобразие Аксакова-писателя определялось особенностями его природного дарования. Сравнивая себя с теми писателями, которые обладают талантом «чистого» творчества, создают вымышленные персонажи, Аксаков считал: «Заменить... действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленные происшествия и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно... Я только передатчик и простой рассказчик: изобретения у меня на волос нет... Я ничего не могу выдумать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия».

Сознание своих творческих возможностей, заложенных в природе его таланта, пришло к Аксакову поздно. Но оно пришло, и писатель создает произведения, согласные с реалистическими традициями русской литературы. В «Семейной хронике» он воспроизводит крепостнический быт и нравы, и все журналы, отметил Добролюбов, «полны были восторженными похвалами художественному таланту г. Аксакова, обнаруженному им в «Семейной хронике». Авторитет С. Т. Аксакова установился с тех пор незыблемо.

Известность, как видим, приходит к Аксакову на склоне лет: в 1856 году, когда была издана «Семейная хроника», ему было около семидесяти! Правда, еще в 1847 году он опубликовал «Записки об уженье», а затем, в 1852-м и 1855 годах, еще две книги о разных охотах. Чуткое понимание русской природы, неподдельная любовь к ней, умение рассказать о ее разнообразнейших явлениях «настоящей русской речью» (Тургенев) нашли сочувственный отклик и у Гоголя, и особенно у автора «Записок охотника». Однако глубина, значимость реалистического творчества определяется изображением человека в его общественных отношениях. А социально-психологический реализм Аксакова обозначился только в «Семейной хронике».

Почему с таким «опозданием» становится он писателем-реалистом? Почему так поздно начинается его собственно творческая биография? Это тем более удивительно, что все: и положение семьи, и воспитание, и природные задатки — все обещало куда более ранний писательский дебют. Но это «опоздание», имевшее свои причины, оказалось удивительно благотворным для творческой судьбы Аксакова.

Сергей Тимофеевич родился в 1791 году в Уфе. Отец его слу-

жил прокурором, мать принадлежала к чиновной аристократии. Свои ранние годы он провел в степном имении деда, родовитого, хотя и не очень богатого дворянина. После его смерти это имение — Новое Аксаково — переходит к отцу будущего писателя.

В 1800-м году Сережу помещают в Казанскую гимназию, в которой учился когда-то Державин, а с осени 1804 года он — студент Казанского университета.

В детские годы на формирование будущего писателя исключительное влияние оказала его мать Мария Николаевна. Между ними установились дружеские, редкие по своей исповедальной доверительности отношения. Мать разделяет и горести, и радости своего сына, рассеивает его сомнения и недоумения, выступает его советчиком, укрепляя в решениях и предостерегая от опрометчивых поступков. Как вспоминает о себе писатель, он рос «болезненно развитым страстно любившей его матерью».

Дворянское происхождение, отмечает Добролюбов, освобождало от необходимости рано втягиваться в «практическую жизнь», и «живой, восприимчивый мальчик обратился исключительно к природе и своему внутреннему чувству и стал жить в этом мире». Переживанию природы Сережа отдается с такой силой и душевной самоотдачей, что это даже пугает мать. В свою любовь к природе мальчик вкладывает не только страсть, но и талант натуралиста, которым он несомненно обладал: он устанавливает приметы приближения весны, пытливо наблюдает, как вьют гнезда и выращивают потомство птицы. Так что предыстория известных книг С. Т. Аксакова об уженье, охоте берет начало в его детстве.

Рано входит во внутренний мир мальчика и народная поэзия. Завороженный, слушает он в долгие зимние вечера сказительницу Пелагею, ключницу из крепостных. В ее обширнейшем сказочном репертуаре были и все русские сказки, и множество восточных. Одну из них — «Аленький цветочек» — Сережа не только выучил наизусть, но и «сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи». Сережа «передразнивал» ее так хорошо, что все домашние хохотали. Но никто из них и не подозревал, что в мальчике таится поистине актерский талант.

Неизгладимое впечатление оставляют в душе и в памяти мальчика народные песни, святочные игры. А когда Сережа приохотился к чтению книг, он и ему отдается с исступленной страстью. Разжигая воображение, и без того у мальчика не по годам развитое, чтение устремляет его по новому руслу: он выдумывает приключения, сходные с вычитанными в книгах, и рассказывает их как доподлинные, будто бы с ним самим случившиеся. Более того, Сережа вступает даже в соревнование... с Шехерезадой, вставляя в ее сказки происшествия и эпизоды собственной фантазии. Когда Сережу уличали в выдумках, он, озадаченный, переживал и не-

доумевал. А эти «добавления» творило не обычное детское воображение, а просыпающаяся в нем творческая фантазия. Рано пробуждается в нем и «непреодолимое, безотчетное желание передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так, чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах», какое он сам имел о них. Это желание, столь важное, необходимое для будущего писателя, Сережа унаследовал, видимо, от матери, которая владела редким даром слова.

Литературные устремления юного Аксакова горячо поддерживает учитель словесности в Казанской гимназии, куда поместили Аксакова в 1800 году. Здесь он «начал потихоньку пописывать», а в 1805 году, вспоминает писатель, «виршами без рифм дебютировал... на литературной арене... гимназии». Когда же Аксакова переводят в студенты созданного в Казани университета, приходит и увлечение театром. Очень скоро его признают премьером студенческого театра.

И вот тут-то и выясняется со всею очевидностью, что и литературные произведения, которые представлялись Аксакову образцовыми, и манера актерской игры, которой он следовал, явно отстают от наметившегося в литературе и на сцене движения к реализму.

С. Т. Аксакову предстояло сделать выбор своего пути в искусстве.

В русской литературе возникает движение за ее обновление, за художественное освоение самобытной русской действительности, национальных характеров. Разгорается борьба против условных правил классицистической эстетики, требовавших подражания древним, греческим и римским, авторам,— Аксаков же увлекается «Рассуждениями о старом и новом слоге» А. С. Шишкова, нацеленными против всех жаждущих этого обновления. В драматургии, на сцене классицизм с его жесткими правилами начинает уступать место принципам жизненной достоверности и естественности. Аксаков же восхищается, увлекается предельно сентиментальными и мелодраматическими пьесами Августа Коцебу!

Позднее, в «Воспоминаниях», С. Т. Аксаков с раскаянием признает и свое «староверство в литературе», и правоту своего гимназического наставника Григория Ивановича Карташевского, который удерживал его от подражательных скороспелок, утверждая: «...я знаю, что он скоро начнет марать бумагу, но я буду держать его на вожжах как можно дольше: чем позже начнет сочинять мой Телемак (шуточное прозвище Аксакова-гимназиста.— *В. Б.*), тем лучше. Надобно, чтобы молодой человек набрался хороших примеров и образовал свой вкус...»

Но так складывается жизнь Аксакова, что, оставив университет (в 1807 году), он еще более удаляется от «хороших примеров». В Петербурге, куда он приезжает, чтобы служить, он

знакомится с Шишковым, посещает его дом. Здесь на его глазах возникает пресловутая «Беседа любителей русского слова», в которую вошли по преимуществу как раз литературные староверы. Общение с ними, и особенно с самим Шишковым, консерватором по своим литературным и откровенным реакционером по идейно-политическим взглядам, конечно же, серьезно препятствовало образованию «своего вкуса».

Переехав из Петербурга в Москву, Аксаков в 1816 году женится и решает поселиться навсегда в деревне, чтобы заняться сельским хозяйством. Но в отличие от своих деда и отца Сергей Тимофеевич хозяином оказался плохим, и в 1826 году он, с разросшейся семьей, вновь появляется в Москве и поступает на службу в Московский цензурный комитет.

В Москве Аксаков сближается с драматургами, приверженцами классицизма, которые в то же время наводняли сцену развлекательными водевилями, поддерживает их своими хвалебными рецензиями. А вместе с тем его покоряет реалистическая игра М. С. Щепкина. Обеспокоенный будущим русского театра, он призывает «создать новый театр, народный. Все рамки и условия к черту!» Когда же в журналах поднимается кампания против Пушкина, будто бы идущего к своему закату, Аксаков выступает в печати с «Открытым письмом», в котором защищает великого поэта от несправедливых упреков и нападок. Аксаков выделяет и подчеркивает «такого рода достоинство» его поэзии, какого не имел ни один из пушкинских предшественников,— «силу и точность в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой». Пушкин, вспоминает Аксаков, остался «очень доволен» его «письмом».

Решительный поворот в литературно-эстетическом развитии Аксакова происходит в 30-е годы.

Атмосферу в семье Аксаковых всегда отличала насыщенность духовными, интеллектуальными интересами. Теперь, когда выросли сыновья, дом Аксаковых посещают Н. В. Станкевич, В. Г. Белинский и другие товарищи Константина по Московскому университету, а весной 1832 года в доме Аксаковых впервые появляется Гоголь. Участвуя в обсуждениях и горячих спорах на исторические, философские, эстетические темы, Сергей Тимофеевич проникается и одушевляется теми интересами, которые увлекали сыновей и его друзей и которые во многом определили идейную жизнь русского общества на целые десятилетия.

Приходит полное и окончательное освобождение от «староверских» представлений и вкусов, и место былых авторитетов занимает Гоголь. Его могучий художественный талант реалиста Аксаков замечает и приветствует одним из первых. А в 1834 году появляется «Буран» Аксакова, свидетельствующий о том, что реализм возобладал и в его собственном творчестве. Правдивое,

«с натуры» описание снежного шквала предвосхищает описание бурана в «Капитанской дочке» Пушкина.

К реализму «звали» писателя и особенности его художественного таланта, которые он все с большей отчетливостью начинает осознавать: «Я ничего не могу выдумывать,— напишет он своему сыну,— к выдуманному у меня не лежит душа... и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность...»

В 30-е же годы у Аксакова появилась и возможность целиком отдаться литературному творчеству, к чему поощряли его, блестящего рассказчика невыдуманных историй и семейных преданий, многочисленные друзья. Когда, после смерти отца в 1837 году, к нему пришла обеспеченность, он покупает под Москвой имение Абрамцево, ставшее очень быстро одним из культурных и художественных центров России. Сюда приезжают Гоголь, Тургенев, Загоскин. Здесь, в Абрамцеве, Аксаков создает все известные свои произведения.

Герои первых из них несколько необычны — это звери, птицы, рыбы. А затем возникают «Семейная хроника» и собственно «Воспоминания» — воспоминания о гимназических и университетских годах Аксакова.

В 1856 году, когда появилась «Семейная хроника», русское общество живет ожиданием отмены крепостного права. Это установило строго определенный ракурс для восприятия «Семейной хроники» критикой и читателями. Тогда преимущественное внимание обратили на изображение в ней крепостнических нравов. Но Аксаков заявил о себе в «Семейной хронике» не только правдивым быто- и нравописателем, а в еще большей степени зрелым и тонким писателем-психологом.

Следуя за Пушкиным, Аксаков добивается точности в изображении и «видимых предметов», и «движений души человеческой». Правда, движения, а тем более диалектики души здесь еще мало. Но психологические портреты героев, коллизии, возникающие в их внутренней жизни, воспроизведены в хронике выразительно и рельефно. Так, в Степане Михайловиче Багрове привлекает ум, честность, «самая строгая справедливость». В то же время он бывает столь вспыльчив и гневен, что это сводит на нет все его достоинства. В конце концов характер Степана Михайловича ставит в тупик рассказчика: «Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки». Не говорить же об одном из главных героев двух книг трудно, невозможно. И Багров-внук ищет ему оправдания в том, что если и бывает он злым, то только в гневе, что сам он терпеть не мог «недобрых, злых и жестоких без гнева людей». А вот у Куролесова, мужа двоюродной сестры деда Багрова, «жестокость мало-помалу превратилась в неутолимую жажду мук и крови человеческой», «в лютость, в кровопийство». «Трудно

поверить,— недоумевает рассказчик,— чтоб могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет, но в истине рассказа нельзя сомневаться».

Когда Тургенев прослушал главу «Михаил Максимович Куролесов», он, сообщает в дневнике дочь Аксакова, «расходился, пришел в неистовство, нервы его раздражились». И конечно же, Добролюбов имел все основания толковать «Семейную хронику» как обличительное антикрепостническое произведение. Правда, у самого Аксакова вместо радищевского: «Страшись, помещик жестокосердный» всюду слышится: «Стыдись!».

Аксаков стремится к воссозданию характеров в их сложности и противоречивости. Даже «кровожадная натура» Куролесова — это «соединение инстинкта тигра с разумностью человека». И все же аксаковские психологические портреты еще статичны: выявляя во внутренней жизни противоречивые, даже взаимоисключающие начала, писатель передает скорее их равновесие, чем динамическое противостояние, разрешающееся движением.

Куда совершеннее, изощреннее психологическая живопись в «Детских годах Багрова-внука», где автор поднимается подчас до уровня, установленного его великим современником Львом Толстым.

Сосредоточив изображение на процессе формирования в ребенке Человека, Аксаков представляет этот процесс постепенным, сложным и многомерным. При этом писатель ведет повествование с такой неторопливой обстоятельностью, что возникает иллюзия течения самой жизни его героя.

Вначале ребенок осваивает мир предметов и внешних явлений. Готовый и устойчивый для взрослых, он, этот мир, является ребенку каждый раз новым, как бы на глазах его рождающимся, а потому ослепительно ярким и загадочным. О переправе через реку Белую он пишет: «Я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел». Потому-то даже те события и подробности, которые читателю могут показаться необязательными, для героя книги наполнены важным смыслом. С какой доскональностью рассказывает он о приготовлении миндального пирожного! А как же иначе?! Ведь пирожное приготовляет обожаемая мать, и Сережа ревниво следит за тем, какой эффект произведет оно среди гостей.

Сережа не только поражается, восхищается или возмущается, он и мыслит об этом мире: «Ах, какое дерево!» и тут же: «Как оно называется?» Он допытывается у взрослых, что такое молния, что такое межевание, постоянно пополняя свой «толковый словарь». А в нем и степь (это безлесная и волнообразная равнина), и стойло (это комната для лошадей), и белые избы (это те, что с трубами), и урема (пойменное место)... Позднее Багров с гор-

достью заявит читателю: «Не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял их по-своему».

Расширяются, углубляются знания о внешнем мире — и все чаще и чаще приходит желание практического его освоения. И пусть над Сережей не тяготела необходимость физического труда, пусть от него отвращала Сережу мать, с ее дворянскими предрассудками: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и борона — не твое дело». Потребность труда неотъемлема от человеческого естества, и она властно пробуждается и в нашем герое. Сережа любил внимательно и подолгу наблюдать за работой столяров и плотников, в восхищенье приводила его та «стройность и мерность», с какой молотили цепами гречиху. Наконец ему и самому разрешили попробовать свои силы: «Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся».

Сережа восхищался не только прелестями полевых работ. Он подмечал, какими невыносимо тяжелыми бывают они для крепостных крестьян. И, повзрослев, он не только сострадает: он убеждается в важности, святости труда, в том, что крестьяне гораздо искуснее дворян, что они умеют делать то, что не умеют дворяне, и собственный неудачный трудовой эксперимент отзывается в душе чувством социальной неполноценности.

Чем шире раздвигаются горизонты постигаемого мира, тем настойчивее вторгаются в него факты, нарушающие его гармонию. В сознании Сережи никак не укладывается, почему злой староста Мироныч, выгоняющий крестьян на барщину даже в праздник, считается самими же крестьянами человеком добрым, почему наказание учеников розгами не только дозволяется, но и узаконено должностью учителя. Более того: «самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем». Почему пасхальный кулич для Багровых был гораздо белее того, каким разговлялись дворовые? Любимая мать, чьим разумным судом привык Сережа поверять свои впечатления и мысли, нет-нет да и одернет его: «Это не твое дело». Другие же «почему» затрагивали такие отношения, которые дети с их врожденной справедливостью вообще не могли понять, а тем более оправдать: «Отчего они (крестьяне.— *В. Б.*) нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему... Что такое староста Мироныч — я хорошо понял, а что такое барщина — по моим летам понять мне было трудно».

Все это, вспомнит позднее Багров, приводило к «смешению понятий», производило «какой-то разлад в моей голове», возму-

щало «ясную тишину моей души». Но именно внешние впечатления и стали для созерцательного Сережи теми, по его выражению, уроками, которые оказали решающее влияние на формирование его характера. Поток впечатлений влился в открытую миру душу ребенка, наблюдательного, склонного к самоанализу и самокритике, и это слияние дало благотворные результаты.

«Голова моя была старше моих лет»,— сетует Багров. Сетует потому, что такая «голова» лишала его детской непосредственности, отгораживала его от сверстников. Эта обгоняющая возраст умственная зрелость выработала у Сережи привычку анализировать собственные чувства и мысли. Он не только живет впечатлениями. Он делает их предметом анализа, «останавливая» их, подыскивая соответствующие им толкования и понятия и закрепляя в своей памяти. Когда же ему, герою повествования, такая операция не удается, на помощь приходит Багров повзрослевший, вспоминающий. И на протяжении всей книги мы слышим два повествующих голоса.

Сережа, мы помним, был мальчиком очень правдивым. И в своих воспоминаниях Багров не утаивает от читателя даже того, что заведомо считается предосудительным. Он признается в своей трусости (во время верховой езды страх превозмог в нем даже самолюбие, столь сильное у детей); он, при всей своей любви к живому в природе, радуется, видя подстреленных куропаток. В Сереже пробуждается и крепнет критическое к себе отношение, и переживание дисгармонии внешнего мира обостряется сознанием своего собственного несовершенства; «ясная тишина» сменяется в душе драматическими, по-детски преувеличенными и драматизированными сомнениями, исканиями выхода.

Но внутренний мир самого «дитяти» не раскалывается, не распадается. Он качественно видоизменяется: он наполняется социально-психологическим содержанием, в него входят ситуации и коллизии, в преодолении которых и протекает становление человека. Сереже предстоит поступление в гимназию. Накануне этого важнейшего события в его жизни и прекращается повествование. Детство кончилось, на пороге — отрочество. И этот порог готовится переступить выросший на наших глазах духовно и нравственно, возмужавший человек!

* * *

Куда более сложным путем ведет к нравственной зрелости героя своей книги «Детство Темы» Н. Г. Гарин-Михайловский.

Как и Сережа Багров, Тема Карташев наделен благородными задатками: в нем живет и не затухает чувство справедливости, он предельно самоотвержен в своих стремлениях к добру и правде, он искренен в своем раскаянии, когда совершает какой-нибудь

проступок. Но почему же ему так трудно «выделаться», говоря словами Достоевского, в человека? Почему на его долю выпадает столько срывов и падений, иногда таких глубоких, что они и через многие годы не изгладятся из его воспоминаний? Быть может, потому, что Теме, как считает его мать, недостает «твердости и воли в минуты страха и опасности»?

Среди испытаний, предложенных юному герою, два наиболее ответственных Гарин-Михайловский сопоставляет и противопоставляет.

Тема спасает Жучку. На рассвете, тайком от взрослых Тема выбирается из дома в сад, находит в каретном сарае двое вожжей и длинную веревку и, рискуя жизнью, спускается на дно колодца. Преодолевая страх, Тема ободряет сам себя: «Не надо бояться, не надо бояться!.. Стыдно бояться! Трусы только боятся! Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама и папа за это похвалят». Тема выдерживает испытание: ему хватило и воли, и твердости.

А вот другое окончилось для него катастрофически: он выдает товарища. Когда директор гимназии впился в него горящими глазами, Тема «почувствовал, как он точно погружался куда-то... И вот... зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще... ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвелых губ... ах! более страшные, чем кладбище и черная шапка Еремея (так перепугавшие Тему во время спасения Жучки.— *В.Б.*), чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его...» Он возвращается в класс ябедой и доносчиком: «Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным... Что-то забытое, напомнившее Теме Жучку в колодце, мелькнуло в его голове...» И боль от содеянного была тем острее и невыносимее, что другой гимназист, кроткий, нашел в себе силы для достойного ответа директору: «Делайте со мной, что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать...»

Что же сломило Тему? Чего не хватает еще ему, чтобы сохранить себя чистым и незапятнанным? Что предстоит ему еще развить и укрепить в себе? Что же придает человеку нравственную стойкость и гражданское мужество?

Решение этих вопросов составляет важнейший этап в процессе нравственного самоопределения каждого человека. Поисками ответов на эти вопросы и определяется замысел повести «Детство Темы» (1892). Гарин-Михайловский говорил: «...в моей беллетристике выдуманных образов совсем нет: все взято прямо из жизни». Прямо из жизни, большею частью из жизни самого автора, «взята» и повесть.

Николай Георгиевич родился в 1852 году, в семье генерала в отставке, человека исключительно сурового, признававшего только один метод воспитания — строгость и наказания, вплоть до жестоких телесных. И от этих наказаний не могла защитить сына даже мать, нежно, беззаветно его любящая. Унизительной, оскорбительной для его самолюбия и гордости была и обстановка в Ришельевской гимназии в Одессе: царская гимназия подавляла в человеке личность, все ее свободные проявления, чтобы выработать из него надежного чиновника-исполнителя.

Чувство собственного достоинства, развиваемое и укрепляемое в будущем писателе его матерью, толкает его на протест и против тирании отца, и против рутинной системы воспитания и образования, царившей как в гимназии, так и в высших учебных заведениях. Именно этим объясняется его бегство с юридического факультета. Но с другой стороны, в этом протесте больше стихийной, эмоциональной, чем осознанной, идейной неудовлетворенности существующим положением. И хотя Николай Георгиевич хорошо был знаком с сочинениями Чернышевского, Добролюбова, Писарева, включая и запрещенные, общественные и нравственные идеалы демократической литературы не оказали на него заметного влияния.

«Полевение» Н. Г. Михайловского происходит во второй половине 80-х годов, чему способствовало прежде всего его приобщение к жизни трудовых низов. В 1878 году он окончил Институт путей сообщения и стал инженером-изыскателем. Михайловский принимал участие в строительстве крупнейших железных дорог, в том числе и Сибирской, сразу же завоевав репутацию инженера талантливого, а главное — честного и справедливого. Он видел в своей работе служение родине и народу. Профессия изыскателя — а он прошел пешком многие сотни верст по губерниям Казанской, Вятской, Костромской, Ярославской и другим — щедро питала будущего писателя впечатлениями и наблюдениями над жизнью русского общества, и особенно над жизнью крестьян.

В начале 80-х годов Гарин-Михайловский увлекается народническими учениями о русской деревне, в которой будто бы все еще существуют общинные — для народников они равнозначны социалистическим! — «устои» жизни. И он принимает участие в «хождении в народ», оседает на землю: покупает в самарской глуши имение Гундуровка, надеясь помочь крестьянам преодолеть засилие кулаков, наладить доходное земледелие. Крестьяне же не понимают и не принимают реформатора, а кулаки несколько раз поджигают его имение.

Народнические иллюзии Н. Г. Михайловского были разбиты при первом же столкновении с реальной русской деревней, в которой под хищническим напором кулаков рушились последние шаткие «устои». Написанные им на основе дневников очерки высоко

оценил Чехов: «Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону, и, пожалуй, искренности... Так верно, что хоть отбавляй... Я пропагандирую его «Несколько лет в деревне». И эта оценка не случайна: в очерках Н. Г. Михайловского Чехов услышал близкие ему «мотивы», которые он чуть позднее выразит в повестях «Мужики», «По делам службы», в рассказе «Новая дача».

Здесь же, в самарской глуши, Михайловский приступил к работе над повестью «Детство Темы». Первый, неоконченный ее вариант начинающий автор прочитал навестившему его Станюковичу, и тот горячо ее одобрил. В 1892 году она была опубликована в журнале под псевдонимом Гарин (от имени сына писателя Гари — Георгия).

К детству обращают писателя не одни воспоминания об этой счастливой и безмятежной поре человеческой жизни. К тому же у его автобиографического героя этой безмятежности нет и в детстве. Знаменательно и название первой главы — «Несчастный день» — и ее начало: «Маленький восьмилетний Тема стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения». Тема, нечаянно сломавший любимый цветок отца, представляет себе жестокое возмездие: у отца «нехорошее лицо», а в складке его синих штанов — «желтенький узенький ремешок». И «бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас...» А в довершение всего, заигравшись и расшалившись, Тема сломал и лозы отца, нагрубил своей бонне, украл для своего товарища по играм Иоськи сахар из сахарницы. Наступает тяжелая развязка: отец, не вдаваясь в причины проступков Темы, жестоко его наказывает. Когда мать врывается в кабинет, чтобы прекратить истязание сына, она видит, как с дивана «слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу».

Как резко отличается атмосфера в доме Карташевых от той, в которой рос Сережа Багров! Гарин-Михайловский, конечно же, преувеличивал силу и характер наказания, заострял переживания Темы. Но тем самым отчетливее и явственнее обозначалось авторское «задание»: Гарин-Михайловский стремится не только запечатлеть, но и переосмыслить свой богатый жизненный опыт, сделать его поучительным не только для одного себя лично.

В окружающей Тему среде опаснее всего — нетерпимое отношение к чувству человеческого достоинства, к поведению, руководимому понятиями чести и справедливости. Жестокость отца — это не вспышка гнева, это принцип усвоенной и отстаиваемой им с и с т е м ы. Той же системы придерживаются и в гимназии. Ее

директор отрицает за гимназистами право рассуждать о начальниках, отвергает «правила какого-то товарищества» и считает своей священной обязанностью «сплотить всю эту разрозненную массу (учащихся.— *В.Б.*) в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать». «С момента его поступления ребенок,— разъясняет директор Аглаиде Васильевне Карташевой,— должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем — это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру».

Такая система, показывает Гарин-Михайловский, губительна, а для слабых натур — гибельна. Но не менее, чем ее «прямое» давление, разрушительно для человеческой личности приспособление к системе, компромисс, а тем более примирение с господствующими принципами и правилами. Именно к подобным компромиссам часто склоняет Тему и его мать, как правило, невольно, бессознательно, из одной лишь горячей любви к сыну, из желания ему счастья, благополучия, какой бы высокой ценой они ни оплачивались.

Образ Аглаиды Васильевны противоречив, двойствен. Она — союзник автора, пока борется против насилия над личностью ребенка, пока обличает бездушную систему воспитания, убивающую в человеке волю, вытравливающую из человека его неповторимое «я». Но автор солидарен с ней только до строго определенной границы.

В повести есть такой эпизод. К дому Карташевых примыкал наемный двор, где ютилась «городская голытьба». «Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Темы, Аглаиде Васильевне. Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на эту ватагу вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль (!) за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Теме». И наконец она разрешает сыну посещать наемный двор, играть с «голытьбой» — но не больше! Как только Тему его более развитые товарищи по гимназии захотели приобщить к чтению передовой литературы, она бьет тревогу! Аглаида Васильевна категорически против новых увлечений Темы, так как глубоко убеждена, что учения Чернышевского, Добролюбова, Писарева ошибочны и вредны!

Вместе с писателем мы с интересом и горячим сочувствием следим за неравной борьбой маленького Темы против жестоких воспитательных принципов отца, против казенно-рутинной системы обучения и общепринятых и общепризнанных нравов, привычек окружающих. Правдивый, искренний, добрый Тема сопротивляется губительному воздействию насилия, равнодушия, лицемерной морали.

И все же Тема чаще падает, чем побеждает. Чего недостает

ему? И — шире — что придает человеку нравственную стойкость и мужество, которые помогают ему преодолеть влияние среды? Гарин-Михайловский, опубликовав повесть, продолжает биографию своего героя: он пишет повести «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (осталась незаконченной, опубликована посмертно в 1907 г.). Так возникает тетралогия, самое известное в творческом наследии писателя произведение.

Если в повести «Детство Темы» герой — жертва обстоятельств, то в последующих повестях тетралогии Артемий Карташев предстает человеком, не способным, а иногда и не желающим встать выше обстоятельств. И тональность повествования заметно изменяется: сочувствие уступает место критике.

Биографию и жизненную судьбу Артемия Карташева Гарин-Михайловский осмысляет исторически. Он выявляет в ней типичное для поколения, пережившего эпоху «безвременья» 80-х годов. Правительство на убийство народовольцами в 1881 году царя ответило казнями и репрессиями.

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

(А. Блок)

Правительству удалось сбить волну революционного демократического движения. Интеллигенцию в массе своей охватывают кризисные настроения, из которых некоторые ее «отряды» хотели найти выход в легальных, разрешенных правительством — поскольку они не угрожали существующему строю — формах общественной деятельности. Эта эпоха и породила героев, хорошо известных читателю по чеховским произведениям: это интеллигентные люди, либо не успевшие обрести, либо утерявшие «общую идею», этого «бога живого человека» (Чехов) и потому превратившиеся в обывателей. Одним из таких героев предстает в последних частях тетралогии Артемий Карташев.

Человека создает сопротивление косной среде, но не стихийное, не инстинктивное, а осознанное, основанное на прочных, передовых убеждениях. А такие убеждения вырабатываются упорным трудом, напряжением всех внутренних сил, активной работой мысли. Только тогда, проникая в самую сердцевину личности, они делают ее стойкой против разрушительных для нее влияний. Для Артемия Карташева такая работа оказалась непосильной. Гарин-Михайловский с грустной иронией пишет о том, как попытка Артемия Карташева приобщиться к передовой литературе оказалась не более как очередным, преходящим увлечением. Почитав с вечера Писарева, он уже утром чувствует себя «другим человеком»: будто он сменил одно платье на другое!

И неминуемо происходит то, что и должно было произойти: гимназиста, а потом студента Карташева берет в плен пошлость жизни. Он даже и на свою мать привыкает смотреть «как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей». А в итоге он оказывается в той «многочисленной партии» людей, которые «ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время скучали и томились».

Праздным, ленивым шалопаем остается он и в институте. «Корабль без якоря. Работа без устоев. Кучка возится, строит, а пришла волна мрака, и... и все к черту, колесо белки. Нет фундамента образования достаточного, чтобы противостоять напору этой волны» — так передает один из друзей Карташева драму их жизни.

Безыдейность делает Карташева пошлым обывателем, по-мещански эгоистичным. Правда, став инженером, он отдается с увлечением проектированию и строительству железных дорог, проявляя при этом и сочувствие к честным труженикам, и открытую неприязнь к нечистоплотным дельцам. Конечно же, Гарин-Михайловский рассказал в «Инженерах» о многих эпизодах из своей собственной жизни, связанной с его любимой профессией. К ней он и вернулся, когда крестьяне подожгли его имение, почти разорив владельца. В то же время образ инженера Артемия Николаевича Карташева особенно далек от автобиографичности.

После кратковременного увлечения народничеством Гарин-Михайловский убеждается в несостоятельности его доктрин и возлагает надежды на марксистское учение о путях и средствах преобразования жизни. Он участвует в организации первой в России марксистской газеты «Самарский вестник», сближается с революционерами. В 1901 году Гарин-Михайловский вместе с Горьким, Маминым-Сибиряком и другими писателями ставит свою подпись под протестом против избиения полицией студенческой демонстрации. Еще теснее его связь с революционным движением в годы первой русской революции. «Вся моя логика и все мои симпатии принадлежат социал-демократическому движению»,— заявляет он в одной из своих статей. «Я думаю,— писал о нем Горький, хорошо его знавший,— что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса... Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности».

В другом, можно сказать, прямо противоположном направлении развивается его литературный герой — Карташев. Он приезжает со своего участка железной дороги в Петербург женихом богатой невесты, дочери бывшего посланника. Попав в кружок

влиятельных и преуспевающих воротил, он завидует сделанной ими карьере. У него не вызывает никакого протеста наставление, какое дает ему одна из дам этого кружка: «Лучше быть таким, как Гартвинг, и вы, кажется, такой же: не задумываться и брать, что дает жизнь. И все будут вас любить, и вам будет легко, и с вами будет легко». В Карташеве во весь голос заговорили сословные предрассудки. Мальчику Теме могло казаться естественным, что его семью обслуживает дворня, что прислуга обращается к нему, восьмилетнему мальчику, на Вы, что бонна, которую он оскорбил, не смеет назвать его «глупым мальчиком»: он — сын генерала. Но Карташев остался верен на всю жизнь и такому завету отца-генерала: «Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...» И Артемий Карташев не стал человеком гражданского долга и высокого патриотического сознания, в чем он и сам признается в одной из финальных сцен.

Гарин-Михайловский, рассказывает Горький, умер «на ходу»: выступил на заседании с горячей речью, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван — «и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека». Последняя повесть тетралогии «Инженеры» осталась недописанной. Но Горький, подготавливая ее к печати, имел все основания завершить тетралогию такой сценой.

Карташев вернулся в Петербург вместе с Маней, своей сестрой. Маня доверительно сообщает брату, что она решила порвать с прежней жизнью, с семьей и вступить в партию народовольцев для революционной борьбы с царем и всем самодержавным режимом: «Она стояла чистая и светлая перед ним. Помимо его воли все существо его проникалось уважением к ней, каким-то особым уважением к существу высшему, чем он, способному на то, о чем он и подумать не мог бы. Через нее и ко всей ее партии было то же бессознательное чувство».

* * *

Константин Михайлович Станюкович, один из популярнейших авторов морских рассказов, вырос у моря. В море, на фрегатах и корветах, прошла его юность.

Станюкович родился в 1843 году в семье командира севастопольского порта и военного губернатора города. Одиннадцатилетним мальчиком он становится свидетелем героической обороны Севастополя и даже принимает в ней посильное участие: заготавливает корпию и доставляет ее на перевязочные пункты. В 1856 году его, «севастопольского мальчика», награждают бронзовой медалью в память той войны. Три года учится он в морском кадет-

ском корпусе, откуда в октябре 1860 года, за полгода до выпускных экзаменов, его отправляют по настоянию отца в кругосветное путешествие. Так отец, влиятельный адмирал, самовластно пресек попытку сына, увлеченного идеями Белинского и Добролюбова, перейти в университет. Об этом писатель расскажет впоследствии в повести «Грозный адмирал».

Во время плавания на корвете «Калевала» Станюкович побывал в Гамбурге, Лондоне, на острове Ява. Затем, произведенный в мичманы, он плавает на различных судах в китайских морях и Тихом океане. Долгое время он «состоит» при адмирале А. А. Попове, командующем Тихоокеанской флотилией, помогая ему в его письменных работах. Сестра просит брата быть «повнимательней» к адмиралу. Станюкович отвечает: «Где буду дальше и опять не знаю, но желал бы не с адмиралом. Как ты ни пиши, что в ы г о д н о или н е в ы г о д н о, я, по счастью, нахожусь в таких летах, когда благородство и независимость стоят по одним уже влечениям выше всяких выгод по службе». В 1863 году адмирал направляет Станюковича с ответственнейшим поручением в Петербург. Он возвращается в Россию через Китай и Сибирь. Его назначают в Петербургский флотский экипаж, но в 1864 году Станюкович увольняется с морской службы, чтобы стать профессиональным писателем.

Первые литературные результаты пятилетнего и практически беспрерывного плавания Станюковича по морям и океанам — это очерки морского быта, написанные им в 1863—64 годах. Они — «От Бреста до Мадеры», «Жизнь в тропиках», «В Индийском океане» и другие — составили первую книгу писателя.

Станюкович уже в первых своих «морских» произведениях предстал наблюдательным маринистом, улавливающим и «лицо» того или иного океана, и нрав морской стихии. Там же выказалось и его блестящее знание морской службы — и будничной, и парадной, но всегда привлекательной. И все же нужно было пройти еще двум десятилетиям, чтобы наблюдения и впечатления отстоялись и выкристаллизовались в творческой памяти, чтобы они высветились обобщающим, социальным и гуманным смыслом, чтобы пришло осознание своей темы, своего природного дарования и призвания и свершилось творческое самоопределение писателя. Все это время писатель жил интенсивной литературной и гражданской жизнью.

Оставив флотскую службу, Станюкович становится сотрудником петербургских газет. Но материальные затруднения (отец лишил его поддержки) вынуждают его служить — вначале в управлении железной дороги, затем в течение трех лет в Обществе взаимного поземельного кредита. С 1877 года Станюкович становится постоянным сотрудником прогрессивного журнала «Дело», затем его соредактором, а с 1883 года — издателем.

Публикуемые Станюковичем в «Деле» статьи и фельетоны, от которых веяло духом протеста, ставят писателя в ряд известных русских публицистов. Он привлекает к сотрудничеству в журнале даже эмигрантов-революционеров, с которыми встречался в Париже и Женеве во время своих выездов за границу. Так, например, он заказал перевод романа Джованьоли «Спартак» С. М. Степняку-Кравчинскому (тому самому, который в 1878 году убил шефа жандармов) и опубликовал его в «Деле» (1871). Цензуре предписывается проявлять к журналу «самого неблагонадежного направления» и «вредного характера» особое внимание и строгость, департамент полиции аттестует редактора «личностью противоправительственного направления», а в 1884 году следует распоряжение управляющего департаментом Плеве о его аресте. Станюковича заключают в Петропавловскую крепость и в мае 1885 года высылают на три года в Сибирь.

Литературной деятельности Станюкович не прекращает и в ссылке. В «Сибирской газете» регулярно появляются его фельетоны и очерки, составившие целый цикл «Сибнрские картинки». Здесь же он печатает сатирические стихи и роман «Не столь отдаленные места». Здесь же, в глухой Сибири, вспыхивает с новой силой и, не затухая уже, разгорается любовь к морю. И конечно же, только к влюбленному в морские просторы, в бороздящие их клипера и шхуны, могли прийти такие сочные краски, такие живописные картины, какие появляются в его повести 1886 года «Василий Иванович».

В 1888 году в Петербурге выходят в свет «Морские рассказы» Станюковича, к писателю приходит настоящий успех, хотя и до этого он не был безвестным автором. «За морские рассказы общие похвалы, печатные и личные»,— сообщает он жене с радостью и гордостью. Он пишет рассказы «Штормуем!», «В шторм», «Между своими». Рождаются новые замыслы: «У меня будет целый ряд маленьких рассказов, которые составят потом новую книжку». В 1891 году выходит сборник «Моряки», появляются повести «Маленькие моряки», «В море», «Беспокойный адмирал», рассказы «Вдали от берегов», «Пропавший матрос», «Куцый», «Нянька»...

Станюковича считают, и по праву, создателем своего рода энциклопедии жизни и службы на военных кораблях. Из его морских рассказов и повестей мы узнаем, каким бывает океан в шторм и после шторма, как выглядят корабли после схватки с разъяренной стихией, какие маневры совершают при встречном и попутном ветре, при входе на рейд и снимаясь с якоря. Станюкович знакомит читателя с распорядком морской службы, с «производственными» заботами и уставными обязанностями офицеров и моряков; он вводит его и в кают-компанию, и в каюту адмирала, и на капитанский мостик, и в матросский кубрик.

Доподлинное, незаемное знание службы и быта моряков писатель органически сплавляет с реалистическим изображением человеческих характеров — включая и характеры своих маленьких героев, которых жизнь сталкивает по тем или иным причинам с моряками. Повседневный быт, столь тягостный, когда корабль месяцами в открытом море, самые будничные заботы морской службы, нелегкой, а для бесправного матроса и принудительной,— все это составляет ту атмосферу, ту среду, в которой живут и действуют люди с такими же радостями и горестями, надеждами и сомнениями, какие переживаются и на суше. Психология этих людей, и сильных и не чуждых человеческих слабостей, составляет теперь для Станюковича главный предмет художественного исследования. А потому, каким бы развернутым ни было описание шторма или эпизода из будничной жизни, в эпицентре этого описания — внутреннее, душевное состояние его героев. Станюкович передает и страх всего экипажа перед смертельной угрозой, и бурную радость после того, как осталась позади опасность разбиться о рифы, и грусть расставания с родными и близкими перед уходом в кругосветное путешествие, и томительные волнения перед встречей с ними после возвращения. Дом манит этих «странников» и тем, что «там» не будет ни мокрых ночных вахт, ни штормов, наводящих трепет, ни отчаянных разносов капитана, ни внезапных окриков боцмана: «Пошел! Все наверх! Рифы брать!»

У Станюковича, автора морских рассказов, были в русской литературе предшественники. Но, как справедливо отмечал Леонид Соболев, в повестях Марлинского персонажи моряков слишком уж книжны, описания излишне красивы, романтически приподняты («Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями... фрегат — идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы... Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи» — «Фрегат «Надежда»), а из академически спокойного труда Гончарова «Фрегат «Паллада», продолжает Соболев, «очень мало можно было узнать о матросах и офицерах». Описания Станюковича точны и строги, а главное — он видит и показывает в моряке любого ранга человека. Его первооткрывательство «состоит в том, что он во всей жизненной правде показал то особое и удивительное человеческое существо, которое именуется р у с с к и м м о р я к о м — будь это матрос или адмирал».

Встречаются в произведениях Станюковича офицеры, которых влечет на капитанский мостик тщеславие, жажда власти («Блестящий капитан»). Есть среди них и карьеристы, искатели выгод. Но всех их заслоняет главный герой Станюковича, любимый и романтизируемый писателем. Для юных моряков, еще только при-

общающихся к морской службе, вырабатывающих «морской» характер, да и для читателей он предстает положительным, достойным подражания героем. Это «рыцарь долга», это человек, беззаветно преданный морю и морской службе, стойкий в опасности, верный в дружбе, честный, добрый и справедливый.

У одних, как, например, у капитана Матвея Ивановича, эти качества на виду. У других благородные свойства характера, составляя его сокровенную суть, сочетаются с куда менее привлекательной «видимостью», с чертами подчас отталкивающими. В изображении реалиста характеры моряков предстают во всей своей сложности и противоречивости, что и делает их живыми, достоверными. Вот капитан Вершинин, ленивый, беспечный, гурман и жуир, то и дело перекладывающий заботы о корабле на своего помощника. Но корабль попадает в «трепку», и в течение двух смертельно опасных суток на мостике — хладнокровный, решительный, мужественный и находчивый человек.

Особенно показателен и колоритен в своей выразительности «беспокойный адмирал», герой одноименной повести 1894 года. Прототипом этого образа, встречавшегося уже в рассказах «Непонятный сигнал» и «Ужасный день», был адмирал А. А. Попов. Страстно влюбленный в парусный флот, он возглавил строительство броненосного флота, проявив при этом свойственную ему энергию и талант. «Беспокойный адмирал» властен, крайне вспыльчив, необуздан и неукротим в своем гневе. В то же время он честен, добр, справедлив. Он проявляет неслыханное по тем временам мужество, когда просит извинения у мичмана, ответившего ему оскорблением на оскорбление. Он почти заискивает перед капитаном, которого обозвал «бабой», когда тот, во время шторма, показывает себя настоящим капитаном. Он ободряет мичмана, удрученного тем, что по его вине шквал порвал паруса. Требовательный и властный, он заботится не об одной только морской выучке. Преданный флоту, делу, он «осмыслил службу», внес в нее «дух жизни», и при нем Тихоокеанская эскадра «ожила, как оживляется добрый конь, почуявший опытного и смелого всадника».

Под стать «беспокойному адмиралу» в своей первостепенной сущности и старший офицер Василий Иванович, хотя, казалось бы, его, скромного, тихого, невзрачного, нельзя и рядом поставить с адмиралом. Тем более что он никогда никуда не просился и всегда старался быть «подалее от начальства, словно боясь, как бы его не заметили» («Василий Иванович»). Но именно этому незаметному, неброскому герою автор и доверяет сформулировать дорогой для него кодекс чести, столь же морской, сколь и общечеловеческий. Он так наставляет младшего офицера, совершившего неблаговидный поступок: «Имейте-с правила в жизни!.. Твердые правила, согласные с совестью... Без них можно, пожалуй, иметь

успех-с... выиграть по службе, что ли, но нельзя жить в душевном мире с собой!.. будьте правдивы и с собой и с людьми... Любите людей бескорыстно, если хотите, чтоб и вас любили!..»

С особой пристальностью всматривается Станюкович в характеры матросов.

Воспитанный на передовых идеях шестидесятых годов, идеях народности и гуманности, он с негодованием восстает против системы телесных наказаний. Унизительные для человеческого достоинства, они, показывает писатель, развращают и самих командиров, старших и младших. Эта система — та благоприятная почва, на которой произрастает жестокость. Жизнь матросов и без того невыносимо тяжела и полна опасностей. Но ни суровый распорядок военно-морской службы, ни каждодневная муштра, ни телесные наказания за малейшую провинность, ни постоянные зуботычины, иногда просто «для порядку»,— ничто не в состоянии убить в них духа справедливости, сочувствия к чужому горю, любви к родине и чувства воинского долга. Стоило заболеть матросу Ивану Артемьеву («Между своими»), как его окружают трогательной заботой. Даже в грубом, сиплом голосе ругателя-боцмана слышится непривычная нежность, а увлекательный рассказчик Рябкин, стараясь облегчить последние дни больного, присочиняет ко всем историям счастливые развязки. В простом матросе Федосе Чижике («Нянька»), некрасивом, рябоватом, таится столько душевной щедрости, такой педагогический талант, что Шурка привязывается к нему на всю свою жизнь. Старый матрос, никогда не знавший ласки, платит своему доброму воспитаннику горячей, самоотверженной любовью, и это покоряет даже придирчивую, капризную «барыню». Не меньше любви и привязанности к спасенному негритенку проявляет матрос Лучкин («Максимка»). Эти по сути отцовские заботы о мальчике облагораживают Лучкина, прекрасного марсового, но отчаянного пьяницу.

Матросы живут во власти предрассудков. Они не видят большого урона для своего человеческого достоинства и в зуботычинах, если они не «за здря». Они набожны, религиозны и свои надежды возлагают на «добрых» офицеров и на «тот свет», где господ настигнет возмездие за все причиняемые им, матросам, притеснения. Живет в них и стойкое, ничем не оправданное предубеждение против нравов и обычаев тех народов, с которыми они знакомятся во время плаваний. Так, они с осуждением отзываются о ванне: с их точки зрения, она зазнамо хуже русской бани. С иронической снисходительностью высказываются они о туземцах. А в то же время матросы сочувствуют борьбе против отмены рабства в Америке, их отличает веротерпимость, они чужды пренебрежения к иноверцам: «...только я полагаю, что у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется... А то как же? Господь на земле всех терпит. Небось не разбирает».

За матросами автор оставляет последнее решающее слово в оценке служебных, а главное — человеческих и нравственных достоинств того или иного персонажа. Мичману нужно было столкнуться с «беспокойным адмиралом» в остром конфликте, чтобы прозреть его внутреннее «я». Матросам оно видно и со стороны: «Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост,— видно, что не брезгует простым человеком». Боцман Никитин, при всей своей свирепой наружности, никогда не дрался, не обижал матросов, всегда выступая их «представителем и защитником», и они о нем говорят: «Правильный человек Егор Митрич» («Ужасный день»). А заботливого, доброго капитана они окрестили «голубем».

Последнее слово матросов всегда безошибочно, потому что основано оно на уважении к законам морской службы и морского товарищества, на глубоком проникновении в тайники человеческой души и психологии. Вот как, например, объясняет Чижик отказ «барыни», несправедливо его наказавшей, признать свою перед ним вину: «А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком». А вот характер «свирепых» офицеров и адмиралов и для них остается загадочной тайной: «Не разобрать евойной души... когда в ей зверь, когда человек... Видно, такой бог уродил».

Не скрывая своих демократических убеждений и симпатий, Станюкович утверждает человеческое достоинство простого матроса. Он одушевляет свои рассказы и повести мыслью о неисчерпаемых возможностях русского матроса, о его способности беззаветно любить родину и свершать ради чести и славы ее поистине героические деяния. Эта мысль и составляет пафос его повествований, воплощенный в лучших и любимых автором героях.

Но есть в произведениях Станюковича и страницы, пропитанные горечью. Он, будучи реалистом, должен был рассказать и о том, что на флот проникал «торгашеский взгляд на дело», «индифферентность» к высшим идеалам морской службы. Именно об этом его повесть «Два моряка». Писателя тревожило, что «торгашеский взгляд» убивал тот «истинно морской дух, то обычное у прежних моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без которых эти чудеса техники являются лишь бесполезными и дорогостоящими игрушками». Станюкович как бы предвидел тот позор, каким покроют себя царские адмиралы под Цусимой.

В 1895—1896 годах Станюкович создает роман «Вокруг света на «Коршуне», где продолжает разработку характеров, известных по прежним его произведениям: здесь и беспокойный адмирал, и капитан «голубь», и матрос, сбегающий с иностранного корабля, куда он попадает в пьяном виде, и спасенный в океане не-

гритенок, которого хочет усыновить один из матросов. Написанный специально для детей, роман представляет собой занимательный курс страноведения, не утративший интереса и для современного читателя. Совершая кругосветное путешествие, гардемарин Ашанин, в океане же произведенный в мичманы, наблюдает жизнь больших портовых городов, экзотических островов, знакомится с нравами европейских, американских, азиатских, африканских народов и племен.

Станюкович предполагал «дать описание кругосветного путешествия на военном корвете, обращая главнейшее внимание на бытовую сторону — на жизнь матросов на судне и на интересные типы моряков. Не рискуя утомлять юных читателей длинными описаниями разных портов, я рассчитываю познакомить их с прелестью плавания в тропиках и с трудностями его во время штормов и ураганов и вообще дать верное представление о морской жизни». Потому роман имеет подзаголовок «сцены из морской жизни». Вместе с тем все эти «сцены» сплочены в художественное целое сквозным сюжетом. Стержень, нерв этого сюжета — история формирования личности, характера Ашанина. Подчеркнем, что и все «страноведческие» описания, и типы моряков, и штормы, и ураганы, и судовой быт входят в роман как ви́дение Ашанина, даны с его точки зрения.

Ашанин, как и Станюкович, попадает в кругосветное плавание совершенно для себя неожиданно: его отправляет на корвет своей волей отец. Ашанин тяготится разлукой с любимыми матерью и сестрой. Долго не может он привыкнуть к суровому распорядку морской жизни, особенно к ночным вахтам на мостике. Ураганы и штормы внушают ему страх и ужас. Но постепенно в плавании, в каждодневном общении с «рыцарями долга» — офицерами и матросами — Ашанин крепнет, мужает, наступает нравственная зрелость. Он проникается чувством гражданского долга, перерастающим в чувство патриотическое: в службе он видит теперь служение — служение родине и народу. А исполнение долга приносит ему нравственное удовлетворение и душевное равновесие.

...В 1896 году литературная общественность широко отметила 35-летие литературной деятельности Станюковича. Его приветствуют и собратья по перу — Чехов, Короленко, В. И. Немирович-Данченко — и адмиралы. Юные читатели преподносят ему адрес. Во время юбилейных торжеств были собраны деньги для организации на родине писателя читальни его имени. Воодушевленный, Станюкович, несмотря на подступающую тяжелую болезнь, с новыми силами отдается творчеству. Он пишет повести и романы, выходят один за другим сборники морских рассказов. По-прежнему его преследует цензура: запрещены предпринятые Петербургским комитетом грамотности издания для народа рассказов «Куцый», «Нянька», «Человек за бортом», приостановле-

но издание собрания сочинений. Станюкович не смиряется, не надламывается и горячо протестует против всяких, и не только цензурных гонений.

В 1902 году Станюкович по совету врачей выехал на лечение в Италию, где в 1903 году он и скончался. В похоронах приняли участие все русские, проживающие в Неаполе. На гроб писателя возложили венок с надписью: «Станюковичу от русских».

Когда-то отец Станюковича, отправляя его в кругосветное плавание, хотел подавить «бунт» своевольного и свободолюбивого сына. Но руководила им еще и надежда, что сын привыкнет к морской жизни, полюбит ее и послужит русскому флоту, как служили ему прадед Константина Михайловича, его дед и отец. И ни отец, ни сын не могли и предположить тогда, как суждено будет сбыться этим надеждам. Сегодня не перечесть, скольких молодых людей увлек К. М. Станюкович своей страстной любовью к морю, к морской службе, сколько из них нашли в этой службе свое жизненное призвание!..

* * *

Среди произведений для детей, созданных Маминым-Сибиряком, самую широкую известность получили «Аленушкины сказки», переведенные на многие языки мира. Когда они вышли в 1896 году отдельной книгой, автор признался: «Это моя любимая книжка — ее писала сама любовь, и потому она переживет все остальное».

Эти сказки писатель сочинял для больной дочери, которую он растил и воспитывал один: его любимая жена в 1892 году умерла. Они близки к традициям народных сказок о животных: животные, птицы и даже насекомые говорят в них языком людей, рассуждают о жизни людей. Но, оберегая маленькую больную слушательницу, Мамин-Сибиряк исключает из описания жизни людей все, что могло бы ее огорчить и расстроить. Он придает «Аленушкиным сказкам» исключительно светлый, жизнерадостный колорит. Так, в зачине сказок у кроватки Аленушки появляется лохматый пес Постойко, а в конце книги его нет, хотя автор и повторяет: «Все теперь собрались около Аленушкиной кроватки». Это и понятно: история Постойко, описанная в одноименном рассказе 1893 года,— это история из другого, дисгармоничного мира, где узаконено и, более того, поощряется убийство беззащитных животных. В «Аленушкиных сказках» нет места приключениям, подобным тому, какое пережил Постойко, заарканенный на улице и доставленный в приют для бездомных собак. Вот что наблюдает там Постойко: «Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходи-

ли. Смотритель обходил все отделение и коротко говорил: «Повесьте очередных». Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете,— с таким удовольствием он выбирал своих жертв». Мир «Аленушкиных сказок» добрый, светлый, и завершает их мажорный аккорд: «Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Аленушку синяя морская волна...»

Другие краски, другие тона в детских рассказах Мамина-Сибиряка, связанных внутренне, проблемно, с его известными романами и повестями о горнозаводском Урале.

Дмитрий Наркисович Мамин родился в 1852 году, в заводском поселке близ Нижнего Тагила. Здесь он прожил почти безвыездно до четырнадцати лет. Огромное нравственное влияние испытал мальчик со стороны отца, служащего при заводе священником. Впоследствии Дмитрий Наркисович так писал о нем: «...Его образ всегда живым стоит пред моими глазами и навсегда останется лучшим примером для всех нас... папа так любил всех бедных, несчастных и обделенных судьбой; папа так хорошо, таким чистым сердцем любил науку и людей науки; папа так понимал человеческую душу даже в ее заблуждениях; наконец, папа так был чист и незлобив душой и совершенно чужд стяжательских интересов и привычек к ненужной роскоши...» Выделялся Наркис Матвеевич среди священнослужителей и любовью к литературе. «По вечерам в скромном поповском домике происходило чтение вслух,— это был отдых после дневных трудов. Любимой книгой, которую мать сама читала десятилетнему сыну, были «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, потом следовали путешествия, сочинения Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и т. д. Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения 50-х и начала 60-х годов» («О себе самом»).

В четырнадцать лет Мамина отправили в Екатеринбургское духовное училище, откуда его переводят затем в Пермскую духовную семинарию. Бурса, в которой Дмитрий Наркисович проучился шесть лет, ничем не отличалась от описанной Н. Г. Помяловским: такие же невежественные преподаватели, та же «долбня», та же дикость, те же буйные нравы бурсаков. И все-таки именно в бурсе приходит увлечение литературой: классные сочинения Мамина — лучшие в семинарии; пишет он и в рукописный журнал, тайный от преподавателей.

По окончании семинарии Мамин едет в Петербург и поступает в Медико-хирургическую академию. Живет и учится он в атмосфере, порожденной новым подъемом демократического движения в 70-е годы, «хождением в народ». Мамин хочет приобрести проч-

ные практические знания, чтоб принять потом самое непосредственное участие в просвещении народа: «Моя цель — самая честная: бросить искру света в окружающую тьму». Думается, мы не ошибемся, предположив, что Мамина в студенческие годы вдохновлял образ Базарова.

Родители не могли оказывать Мамину материальную поддержку. Он вынужден был взяться за работу в газетах и мелких журналах. Пишет он рассказы и повести и для «толстых» журналов, но они возвращались автору «за неудобностью». Однако неудачи не мешали начинающему писателю работать над большим романом «Приваловские миллионы»: с небольшими перерывами он писался около 10 лет.

Мамину так и не удалось закончить университет, куда он перевелся из Медико-хирургической академии: не хватило денег, чтобы уплатить за последний год занятий, к тому же он тяжело заболел — врачи подозревали даже туберкулез. А в 1878 году умирает отец, и на плечи Дмитрия Наркисовича ложатся заботы о семье.

Мамин возвращается из Петербурга в родные места: пытается служить в Нижнем Тагиле, переезжает в Екатеринбург, где существует в основном за счет репетиторских уроков. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, он продолжает упорно работать над романами и рассказами. И эти четыре нелегких года сыграли исключительно важное значение в становлении писателя Мамина-Сибиряка: «Все это время Д. Н. провел на Урале, где теперь перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом» («О себе самом»).

Писательский успех приходит к Мамину только в 1881 году: «Русские ведомости» опубликовали его путевые очерки «От Урала до Москвы». В следующем году его рассказы берут сразу в трех журналах. Под одним из них и появляется псевдоним «Д. Сибиряк». А в 1883 году журнал «Дело», который, как мы помним, редактировал тогда Станюкович, начинает печатать «Приваловские миллионы». В том же году «Отечественные записки», возглавляемые Салтыковым-Щедриным, знакомят своих читателей с очерками Мамина-Сибиряка. В этом же журнале, ведущем органе русской демократии, появляется и второй крупный роман писателя «Горное гнездо» (1884).

К этому же времени определились и эстетические убеждения Мамина-Сибиряка: в литературе выше других писателей ставит он Некрасова, Глеба Успенского, а приступив к изображению Урала во всех его географических и экономических подробностях, яркие, сильные характеры он ищет и находит в гуще народной

жизни. Его же «Уральские рассказы» (1888—1890) во многом продолжают «Записки охотника» Тургенева. Они также написаны от первого лица, «охотником», случайно встречающим во время своих странствований интересных людей. Но еще больше, чем жанровая близость, роднит Мамина-Сибиряка с Тургеневым горячее сочувствие простым людям, разнообразие характеров, открытых им в народной среде, поддержка народной тяги к справедливой жизни и протеста против социального гнета и зла.

Демократическими симпатиями — и не только сочувствием простому народу, но и поэтизацией его жизни — пронизаны и рассказы Мамина-Сибиряка для детей. А в последние годы своей жизни он работал преимущественно для детских журналов, считая эту работу «важнее всего остального» и уделяя ей «особенное внимание, потому что дети — самая строгая публика».

В рассказах «В глуши», «Вертел» демократические, гуманистические симпатии Мамина-Сибиряка воплощены в самой теме рассказов. Мальчику Пимке «казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас и сделается большим» («В глуши»). Но отец не торопит время: он-то на собственном опыте знает, как невыносима жизнь углежогов в лесу, куда они выезжают на все зимние месяцы: «Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные,— до того они выматывали себе руки и спину... А хуже всего было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большею частью — каша». И отец оберегает Пимку до поры до времени от уготованной ему участи: «Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок». Для мальчика из бедной трудовой семьи этот срок очень короток: «Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал: «Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть». Пимка отправляется в дорогу с радостью. И дорога его не обманула: красив зимний лес, загадочны следы зверей на свежем снегу. Рады Пимке углежоги, особенно дедушка Тит. Но сразу же наступают будни, наполненные тяжелым трудом: «Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу... Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех». Да, он не пытается искать у кого-нибудь сочувствия, даже у деда Тита, искренне любящего мальчика. А Тит непоколебимо убежден, что так уж заведено, что простому человеку на этом свете только и уготовано, что тяжелая черная работа. Он не допускает и мысли о какой-то другой «легкой жизни»: «грешно это все... Напьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду по чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?».

Еще горше доля у Прошки («Вертел»). Круглый сирота, мальчик с семи лет сам зарабатывает себе кусок хлеба: в гранильной мастерской он по 10—12 часов в сутки вертит большое колесо с наждачным камнем. Точно прикованный, Прошка работает, «как паук». Каторжная работа, голод убивают в нем ребенка: «Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться». Прошка надрывается и смертельно заболевает: «По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно вертелось такое деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь».

Те же мотивы звучат и в других рассказах писателя, даже в тех, где писатель, на первый взгляд, и не касается общественных противоречий. И Емеля («Емеля-охотник»), и Елеска («Зимовье на Студеной»), и Богач («Богач и Еремка») живут на «окраине» людской жизни, а то и вовсе уединенно. Их единственные собеседники — животные и птицы. С ними они делятся своими радостями, печалями и заботами, у них ищут поддержки. Особенно остро жаждут они общения с людьми, от которых отделены и «географически», и социально. И у Елески («Людей он только и видел один раз в году»), и у Богача она, эта жажда, настолько сильна, что Музгарко, Еремка заступают место человека. И все же в основании этих особых отношений к животным, проникнутых взаимной привязанностью и взаимопониманием, лежат причины прежде всего социальные.

Читателя, конечно же, и в рассказах Станюковича поразят внимание и забота, какими окружали матросы собак, кошек, обезьян, волею случая попадавших на корабль. Для матросов они — живое напоминание о прошлой крестьянской их жизни. Нелегкая, она отсюда, с палубы военного корабля, затерявшегося в опасных океанских просторах, кажется такой счастливой. Для героев Мамина-Сибиряка животные имеют еще более высокую цену: ведь все они обойдены обществом, лишены участливого отношения даже со стороны родных и близких. А у Елески и Богача их и нет: они бобыли. У Елески вся семья вымерла в холерный год, а когда пришла беда неминучая — рассвирепевший медведь чуть не насмерть обломал охотника,— купцы отправили его сторожем на далекое зимовье. Нелегко и семидесятилетнему Емеле: «Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некому». На попечении Емели шестилетний сирота Гришутка. И только природа, животные возвращают этим обездоленным людям то, чего лишило их общество: «Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем

любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его».

Как ни сурова северная природа («Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону»), она щедро одаривает обездоленных героев Мамина-Сибиряка. И они, чуждые потребительского духа, отвечают ей любовью, проникаются ее красотой («...чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться»), перенимают ее мудрые законы. Здесь, при «встрече» с природой, они показывают себя людьми самого высокого благородства. У Емели не поднимается рука на олененка, хотя он и вышел за ним на охоту, чтобы поднять на ноги больного Гришутку: «Старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье... Емеля быстро поднялся и свистнул,— маленькое животное скрылось в кустах с быстротою молнии...

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне».

Елеска радуется прилету птиц, как дорогим гостям: «Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь — перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволенье... Человеку так не состроить». Перестает трогать зайцев и Богач. И Тарас, как ни привязан он к лебедю-«приемышу», отказывается подрезать ему крылья: «А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице другое». Тяжело, грустно расставаться Тарасу с «приемышем», и все же он отпускает его в лебединую стаю: «Пристал мой приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали...» Как тут не вспомнить слова Горького об «алмазах духовной красоты», какие, подчеркивал он, «блестят» во многих героях Сибиряка из народа.

Мамин-Сибиряк вошел в историю литературы певцом уральской темы. «В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала»,— писал о нем Ленин. Его высоко ценил Че-

хов, восхищаясь и «сильными, цепкими, устойчивыми» героями, и подлинно народным языком писателя: «У нас народничают, да все больше понаслышке. Слова или выдуманные, или чужие... У Мамина слова настоящие, да он и сам ими говорит и других не знает». Короленко выдвигал Мамина-Сибиряка в почетные члены Академии наук. А когда в 1912 году литературная общественность торжественно отмечала 40-летие его писательской деятельности, из Италии пришло письмо от Горького, выразившее чувства многих и многих читателей: «Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык... Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом — это дает красоту и силу ему. Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали Вашими книгами, открыв целую область русской жизни, до Вас незнакомую нам. Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш».

В том же, 1912 году Мамин-Сибиряк скончался. Большевистская «Правда» откликнулась на эту утрату русской литературы и культуры большой статьей. Она отметила и ту особенность таланта писателя, которая особенно ярко сказалась в его детских рассказах: «Сердечный писатель».

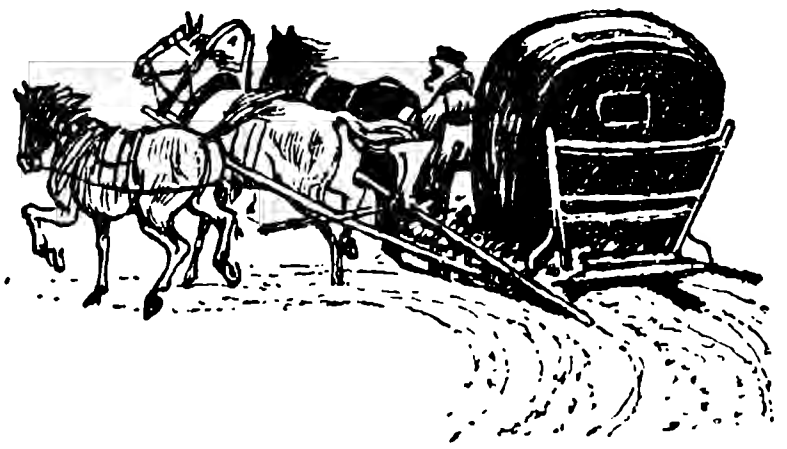
Детские рассказы Мамина-Сибиряка не стоят особняком в его творческом наследии. Они естественно вписываются в эпопею народной жизни, им созданную. Точнее других писателей, представленных в этом сборнике, удалось Мамину-Сибиряку определить значение, цели детской литературы. Это и закономерно: к тому времени, когда он с таким увлечением отдается творчеству для детей, русло этой литературы было уже и широким и глубоким. А потому и сказанное им о детской книге заключает в себе не только его личный авторский опыт, но и обобщающий вывод о главной ее цели: «...Это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ».

В. Богданов

С. Т. АКСАКОВ

Детские годы Багрова-внука

Повесть



Внучке моей
Ольге Григорьевне Аксаковой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений,— то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С. Аксаков

ВСТУПЛЕНИЕ

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятых годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти,— кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значенья и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица

моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованьем, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда,

один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длинною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которою курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после — ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу»,— которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращеньем от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю,— что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора — по несомненным медицинским признакам, а окружающие — по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надеж-

да спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николавна,— не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова,— перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все что может для моего спасенья,— и снова клала меня, бесчувственного, в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем — и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие,

или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров: но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой средине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показыванъем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое вниманье и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещенья гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *скучал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и заку-

тал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой; его назвали Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровленье мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титло моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло,— неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Вниманье и попеченье было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов — и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор — не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленому телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе — решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища — маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня, полные напряженного внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице — третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она, собственно, ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала и хотя мать строго запрещала

ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи; письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы — вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий

мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец, «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за Домашний лечебник Бухана, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастие!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть — и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все

происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращеньями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку — овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась — общая энергия упала и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь, бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услыхал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренне,

но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела как-то меня разуверить и успокоить, что было и не трудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтоб играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им: Сердце у меня опять замер-

ло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую — читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, наконец все было готово.

ДОРОГА ДО ПАРАШИНА

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного: напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолившись богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать; рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражен широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай бога на помочь», и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько

страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и, по мелкому месту, пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

Сначала дорога шла лесистой уремой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком; они срывали мне листья и ветки с раз-

ных дерев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Дёме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы; я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия! — Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; нтак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружкамн и лучиной — и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы

сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец — в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою; лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосою света... «Не пора ли спать тебе, Сережа?» — сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в каретý. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Дёме... Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на денное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдали; отец мой сказал, что там течет Дёма и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какою описывал

ее мне отец и какою я после сам узнал ее: по долочкам трава была скошена и сметана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиным окошком» и проч., я думал о другом и всего более о текущей там, вдалеке, Дёме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющею в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Дёмы!..» И добрые кони наши побежали крупной рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа,— сказал отец, выглянув в окно,— видишь, как прямо к Дёме идет тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам, это башкирские «кочи». Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Дёмы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось *Старицей*. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист; надобно было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы наконец на берегу Дёмы, у самого перевоза; карета своротила в сторону,

остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я — и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз да червячков приготовьте». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат, толщиною в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда знако́м, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для уженья, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше; немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червяков для уженья. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда»,— и повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей кра-

сотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюся, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне уженье. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец: ту же минуту наплавок привстал и погрузился в воду, Евсеич закричал: «Тащи, тащи...» — и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери; Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к уженью, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слезы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как уженье было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотиц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколь-

ко плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтоб они сварили себе уху.

Уженье просто свело меня с ума! Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий наплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему не хорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того чтоб весело смотреть в окошко, или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно и ласково, и я как будто почувствовал правду ее слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь, дорога сделалась грязна и тяжела; высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами; мне это было любопытно и весело, а лошадкам нашим накладно, и они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей *перегоним*, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом; мы поутру проехали сорок верст да после обеда надо было проехать сорок пять — это было уже слишком много, а потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание: завернуть в чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина пятнадцати верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц; избы были разбросаны в беспорядке; всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь

продолжался, и наступали ранние сумерки; мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотаньем визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскали выборного, как он ни прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена чувашка; она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горящей лучиной. Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин: они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок,— широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся «на́рами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом, и непротивно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чуваши сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемленной в него горящей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новою, обратил на себя мое особенное внимание; иные лучины горели как-то очень прихотливо: иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало; обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологами, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошел;

хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего пятнадцать верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово Парашино, я спросил, что это такое? и мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за восемь до села пошли парашинские поля, покрытые спелою, высокою и густою рожью, которую уже начали жать. Поля казались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца; воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы; человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степаныч! — заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал,— давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. Насилу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала: «Здравствуйте, мои друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуй, матушка Софья Николавна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» — продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Сережа, а дочка спит»,— отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч»,— сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал; слышал только, как ему отвечали, что, слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине (это был первый Спас, то есть первое августа), ему отвечали, что так приказал староста Мироныч; что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года четыре как начали работать; что все мужики постарше и бабы-ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов с сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками.

Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать: отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши; что его они знают потому, что он езжал в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч — я хорошо понял, а что такое барщина — по моим летам понять мне было трудно.

В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему: так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл,— совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все, и узнание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно.

После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья; рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.

ПАРАШИНО

С плоской возвышенности пошла дорога под изволок, и вот наконец открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне, так крестьяне! Сердце радуется!» Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвя-

ми и сопровождаемый огромною толпою народа, шел из церкви для совершения водосвящения на иордани. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище; мне же хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением.

После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесною толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве; многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково; между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степаныч и матушка Софья Николавна!» Мы вошли во флигель; там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушки Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем, и вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отей мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтоб некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал «слушаю-с», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то; что он и прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит; что он велел послать к себе таких стариков из багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Миронычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мою мать; но она решительно отка-

залась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься; отец охотно согласился. «Да, вот мы с Сережей,— сказал мой отец,— после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас, вместе с другими конюхами, главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился; он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение; на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, стояли старые большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот, на стене, висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правою рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу; но когда пускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить — я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у «Кошелги», а другой у «Каменного врага», и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле (мы завтра отслужим молебен и начнем сев), то не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые; а я не мог без восхищенья видеть даже бегущей по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались

пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах (бока оврага состояли все из дикого плитняка). В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам; между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки: эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились; я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами, что за зверь черт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям: отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок; овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина; посредине ее стояла мельничная амбарушка; в ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду, впрочем, не оттого, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а оттого, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень; вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на ней камень; амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках; долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было

расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу: противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор; кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки».— «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч,— отвечал Мироныч,— да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься,— сказал мой отец,— тоже будешь дармоедом и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаю-с; по приказанию вашему будет исполнено; а этого-то Василья Терентьева и не надо бы миловать: у него внук буян и намнясь чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого». Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степаныч, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, трясясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся — старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ: сейчас хотела призвать и разбранить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне... и отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь, теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтоб я не написал к тетушке, а если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет, да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что

такое злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится? Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди и что мой отец их боится.

Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям — к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами» (это слово я перенял у старика Аничкова). Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти.

После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы с отцом в поле; противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда; сидя в сложенной вчетверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко потому, что они должны были не опускать своих ног, а вытягивать и держать их на воздухе, чтоб не задевать за землю; я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох; отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислы, потому что не поспели; бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман; я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что «мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье и что их надо кинуть». Мне жаль было вдруг расстаться с ними, и я долго держал их в своей руке, но наконец принужден был бросить, сам не знаю, как и когда.

В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей; чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее, и, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать

блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе; вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с десять, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с роспусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне, постарше, поздоровались с отцом и со мной. На загорелых лицах была написана радость, некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил: сколько людей на десятине? не тяжело ли им? и, получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера...» — сказал: «Так жните с богом...» — и в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах, между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки; молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул, мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особенным усилием, чтобы догнать своих подруг, чтоб не отстать от других. Отец разговаривал с Мироныч ем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряженьем сил, на солнечном зное, обхватило мою душу, и, много раз потом бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление... С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним; останавливались, отец мой говорил: «Бог на помощь». Везде было одно и то же: те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова: «Благодарствуем, батюшка Алексей Степаныч». Останавливаться везде было невозможно, недостало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнитвом. «Вот она, страда-то, настоящая-то страда, батюшка Алексей Степанович,— говорил главный староста.— Ржи поспели поздно, яровые, почитай, поспевают, уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера бог дал такого дождика, что борозду пробил; теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять; так извольте

рассудить: с одними бабами не много нажнешь, а ржи-то осталось половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь также надо убираться, и что отнять у них день в такую страдную пору дело нехорошее, и что лучше сделать помочь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помочам не привычные; но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые привлекли мое вниманье. Отец приказал Миронычу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками; все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого показались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Мироныч; но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки, и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше *не отрыгнет*, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки — отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанные близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок всяких возрастов и матерей с жеребятками, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю.

Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или, всего вернее, не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и все отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей, но входить в распоряжения старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Мироныч, я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого то-то.

На такие речи староста обыкновенно отвечал: «Слушаю, будет исполнено»,— хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю, а говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тетушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян: одни тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе; видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадьей приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал между прочим, что староста — человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «един бог без греха и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе и он до нее ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласковее к ней — тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полдён. Мироныч и несколько стариков, с толпою крестьянских мальчиков и девочек, проводили нас до околицы. Нам надобно было проехать сорок пять верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Дёмы и очень рыбна; приятные надежды опять зашевелились в моей голове.

ДОРОГА ИЗ ПАРАШИНА В БАГРОВО

Дорога удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и надежды — в будущем; и все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанною толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове: Дёма, ночевка в Чувашах, родники, мельница, дряхлый старичок-засыпка и ржаное поле со жницами и жнецами, потом каждый предмет отделился и уяснился, явились темные, не понимаемые мной места или пятна в этих картинах; я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно пото-

му, что со мной говорили, как с ребенком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец я обратился к самому свежему предмету моих недоумений: отчего сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а простились с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле; они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михайлы Максимыча, но что как же быть? свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михайле Максимычу; что Мироныч хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерется без толку; что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промышляющих в башкирских лесах сидкою дегтя и покупкою у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота; что хотя хозяевам маленько и обидно, ну, да они богаты и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтоб Мироныча не трогать и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось еще много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей; добровольные уступки несовместны с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои ка́мешки и чертовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре.

Переезд опять был огромный, с лишком сорок верст. Сначала, верстах в десяти от Парашина, мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом тридцать верст не было никакого селения и дорога шла по ровному редколесью; кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо чувашско-мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармала, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик, в полуторе версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтоб послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночевку, назначенную на берегу

реки Ик. Солнце стояло еще очень высоко; было так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему также было это неприятно, но он отвечал: «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: «Вот где я желала бы остановиться». Препятствий никаких не было. Богатый чувашенин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и мы спокойно въехали на огромный, еще зеленый двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма или пригорка. Вид оттуда был очень хорош на всю живописную окрестность речки Кармалки и зеленую урему Ика, текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов! Все мои мечты поудить вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой реке, которая не хуже Дёмы, разлетелись как дым, и я стоял, точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. «Сережа,— сказал он,— я попрошу у хозяина лошадь и роспуски, и он довезет нас с тобой до Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери»,— прибавил он, смотря с улыбкою в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прочла все на моем лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастия и с досадой сказала отцу: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как на Дёме!» Тут я получил употребление языка и принялся горячо уверять, что буду совершенно спокоен; мать с большим неудовольствием сказала: «Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь». Так неохотно данное позволение облило меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу ехать, но язык не поворотился. Через несколько минут все было готово: лошадь, удочки и червяки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашел, что Ик ничем не хуже Дёмы; но тогда я не в состоянии был им восхищаться: мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться — совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты, но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно! Сажен за двести повыше Ик разделялся на два рукава, или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделенная вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях; один проток был глубже и тише, а другой — мельче и быстрее. Такая же чудесная урема, как и на Дёме, росла по берегам Ика. Протоки

устремлялись в глубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой и открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое владенье.

Отец мой выбрал место для уженья, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня; удочку оправили, закинули и дали мне держать удилище, но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал просить отца, чтобы он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой очень не любил и даже боялся слез, и потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе.

Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой,— вскрикнула она,— здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось удить. По нетвердому моему голосу, по глазам, полным слез, она прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилием, как и непозволенье ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой; мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я еще и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтоб хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком прибежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны из средины пригорка, бил родник; чувашенин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто, или выдолбленную колоду, для мытья белья, и в-третьих,в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это привело меня в восхищенье и обо всем я с жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадливость чувашенина, особенно выгодную потому, что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костер огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за темные Икские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не возвращался. Несколько раз мелькала у меня в голо-

ве мысль: что-то делается на берегу Ика? Как-то клюет там рыба? Но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря! Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урема Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Сережа, как там сыро,— хорошо, что мы не там ночуем». Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и тихо сказал: «Вы еще не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало, но отец выудил большого жереха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери — и крепкий сон овладел мною.

Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я впросонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жереха, довезенного в мокрой траве совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала и то по просьбе отца: она считала рыбу вредною для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел ее необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полдён, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего тридцать пять верст. Мы торопились, чтоб приехать поранее, потому что в Коровине, где все знали и моего дедушку, и отца, мы услыхали, что дедушка нездоров. В продолжение дороги мы два раза переехали через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурен, что мы должны были все выйти из кареты, даже лошадей уносных отло-

жили и на одной паре коренных, кое-как, перетащили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насягай был еще невелик, но когда, верст через десять, мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую; но все он был, по крайней мере, вдвое меньше Ика и урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, «дерева в два», как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить и отец пошел со мною пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрово, я заметил, что глаза ее наполнились слезами и на лице выразилась грусть; хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать, но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущеньем сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.

БАГРОВО

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гостьи.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание, вместе с недостаточно ласковым приемом, так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а

слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка»,— сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь,— продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою,— на кого похож Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чать, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постным, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка,— говорила бабушка,— что твои детки едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещенья одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет,— и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю, из какой материи, кажется, кисейный занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины — и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что

детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец, сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же постлали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не поможет»,— а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель...» — слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усильным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим; но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала: у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно — и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но те-

перь крендель не пошел мне в горло, и, чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой»,— и глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа! Дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа»,— и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты, никак, плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» — «Маменька больна»,— сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа? — громко и весело сказал он.— Он весь в дядю, Григорья Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное»,— и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги, но, увидав

мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее обстоятельное описание кресел. «Слава богу,— сказала мать,— я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и просила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас — а потому он и неласков.

Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже и не видывали. «Как я глупа»,— сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу привозят ее из Старого Багрова». Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду, между разросшимися, старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка — и мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой; мать позволила, приказав не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоящий из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частию померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где

только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли «копром», наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река, или речка, которая вдруг поворачивала налево, и таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад,— как прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадцатом, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя, а как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел не много пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней; но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал,— и я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николавна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить, но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге, брат, какой ты неженка». Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть: отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь дело случайное, что она скоро пройдет и что для поездки в Оренбург ей нужно не-

сколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться; но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет»,— поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою. Все это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами; но для матери моей не трудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впоследствии.

Через несколько дней мать встала с постели; ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас не благонадежна и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что же, хорошо; Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами: она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые

лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степановне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми.

Все это время, до отъезда матери, я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледною, худою и слабою, я желал только одного, чтоб она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался: книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтоб она не ездила или взяла нас с собою; но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желанье, чтоб она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней; но мать никогда не имела этого намерения и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом; это намеренье ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали; мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в исступленье, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу; Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу; она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь. О чем плачешь? мать воротится, не останется жить в Оренбурге». И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь. Много будет нам хлопот: дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и пове-

ла в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами; Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Дёме, об уженье и рыбках, но все было напрасно; только утомившись от слез и рыданья, я, наконец, сам не знаю как, заснул.

ПРЕБЫВАНИЕ В БАГРОВЕ БЕЗ ОТЦА И МАТЕРИ

И с лишком месяц прожили мы с сестрицей, без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь: как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке; с нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили, потом отсылали нас в нашу комнату; около двенадцати часов мы выходили в залу обедать; хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешана ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках; иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл козулькой; а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил; бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой; но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал; то же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, невесел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в шесть часов приносили нам чай; часов в восемь обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, вводили в залу и сажали против дедушки; сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здорованье и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам, под разными предлогами, горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас «поцеловать

ручку», к чему мы не были приучены и потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили; потом все совершенно нас оставили, и, кажется, по приказанью бабушки или тетушки, которая (я сам слышал) говорила, что «Софья Николавна не любит, чтоб лакеи и девки разговаривали с ее детьми». Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно; оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и теткой; ее и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка; он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому, что очень любил ее, и, во-вторых, потому, что у меня не было расположенья к дедушке и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки: я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами; я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо.

И так неприметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать «Детское чтение», читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение; тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы; самая любимая ее игра была игра «в гости»: мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами; тут было много разговоров и угощений, полное передразниванье больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках

или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка (то есть с двумя куклами, которых держал в руках); или что на меня напали разбойники и я всех их победил; наконец, что в багровском саду есть пещера, в которой живет Змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу и что мне иногда удавалось даже напугать ее; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то Змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна; она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен: шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать; это была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и чернослива, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтоб никто не видал; она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николавне, в каком виде нашла детей; мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня: приказанье есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; эта тетушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятною, но вышло совсем не так, и положение наше стало еще грустнее, по крайней мере, мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты:

они чуждались нас, но, как их научали и как им приказывали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме *свои:* вся девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален, по обеим сторонам, широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось; но у меня недоставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжение этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда «Детское чтение». Однажды я прочел ему «Повесть о несчастной семье, жившей под снегом»[1]. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой (так он звал меня всегда), все ли правда тут написано; а вот здесь в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал; поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох; показалось ему, что он не по той дороге едет, он и пошел отыскивать дорогу, снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке — так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шажком, да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали; увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старосте, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, зги не видать! поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина; ехал он с зверовой собакой, собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать; мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть; и видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет; вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло; он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от стужи и снегу ровно проснулся: тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой

---

[1] «Детское чтение», часть 1-я.

день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева»[1]. Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке чего-то просить. Арефья все называли дурачком, и в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было.

Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг. Из «Песенника», «Сонника» и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. «Песенника» почему-то она не рассудила дать мне, а «Сонник» и театральную пиесу отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что́ какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в «Соннике» были крайне нелепы, не имели даже никаких, самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров: «Ловить рыбу значит несчастие. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство». Театральная пиеска имела двойное название; первого не помню, а второе было: «Драматическая пустельга». И точно, это была пустельга... но как она мне понравилась! Начиналась она так: пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом:

Тига, тига, домой,
Тига, тига, за мной.

Помню еще два стишка из другого куплета:

Вот василек,
Милый цветок.

Больше ничего не помню; знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени

---

[1] Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжение трех дней под снегом, в жестокие зимние морозы, замерз лет через двадцать пять в сентябре месяце, при самом легком морозе, последовавшем после сильного дождя! Он точно так же ездил в лес за дровами, в тот же общий колок, так же потерял лошадь, которая пришла домой, и так же, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, иззяб и до того, как видно, выбился из сил, что, наконец, найдя дорогу, у самой околицы, упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинна, и потому неизвестно, когда он попал в овражек; но на другой день, часов в восемь утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уже мертвым и совершенно окоченевшим.

глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом.

Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтоб я лучше мог разобрать; эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода: в первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст, и от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писаного, хотя хорошо читал печатное.

Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и наконец такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув «Детское чтение», я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню (я слыхал о наказаниях такого рода) и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании мóлодых господ (так называли в доме моего отца и мать) начала долее оставаться с нами,— не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговариванья и утешенья не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что «верно, маменька больна или умирает»; а сестрица отвечала, что «ей жалко, когда братец плачет». Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день; но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: «Вы нарочно так говорите». Тетушка с досадою ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а глядя на тебя, и козулька плачет. Чтоб я не слыхал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более.

В подражание тетушкиным словам и Евсеич и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уж она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать...» Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня; тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг: часто она просила меня поиграть с ней, или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался; впрочем, слава богу, что так случилось: если б я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал; сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала, маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» — «Взаправду, взаправду, уж близко,— отвечала Феклуша,— Ефрем Евсеич побежал встречать»,— и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую; двери были растворены настежь, в сенях уже стояли бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери — и с этой минуты я ничего не помню... Я очнулся или очувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье!

Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться: испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел или, лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать,— весело сказал дедушка,— а я думал, что ты только по ней соскучился. Ну, Софья Николавна,— продолжал он,— сынок твой плакса, на

всех тоску нагнал, и козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся». Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее: когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал!» — а потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим; даже вскарабкалась на колени к дедушке.

Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись, по обыкновению, отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвесть мой рассказ над сердцем горячей матери; не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать перерывала мой рассказ; глаза ее блестели, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова; но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокоивал словами: «Побереги себя, ради бога, пожалей Сережу. Что он должен подумать?..» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть; но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешанную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор вполголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только вполовину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку и что мой отец за них заступается; из всего этого я вывел почему-то заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся.

Я, в свою очередь, расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольт не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее; что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях и доктор принужден был ее отпустить; что он дал ей лекарств на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла,

и печальное Багрово как будто повеселело. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца своего не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове «брезгует»; очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился; стал жив, даже резов; к дедушке стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину и сейчас попотчевал его чтением «Детского чтения», и все это дедушка принимал благосклонно; угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала и потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени; на вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» — она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати; видя, что он не обращает на них никакого вниманья, а занимается нами, генеральские дочки (как их называли), соскучась молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее.

Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи; мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бранила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, а в то же время она все говорила неправду; клялась и божилась, что от нас и денно и нощно не отходила и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплака-

ла навзрыд. Я стал втупик; мне приходило даже в голову: уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью; но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит.

Начали поспешно сбираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие и матушке и сестре; зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки.

Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить. Невестыньке с детьми было беспокойно жить; ну, да я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз; долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку.

Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили; у татар еще было лучше, потому что у них избы были *белые*, то есть с трубами, а в курных избах чуваш и мордвы кормежки были нестерпимы: мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи; надо было лежать на лавках, чтоб не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтоб мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом; у матери от дыму с непривычки заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.

ЗИМА В УФЕ

После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, Сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе — бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась: это были ее родные братья, Сергей Николаич и Александр Николаич; они служили в военной службе, в каком-то драгунском полку, и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей; оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые, особенно Александр Николаич: он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи; это была для меня совершенная новость: я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему дядя Сергей Николаич очень любил рисовать и хорошо рисовал; с ним был ящичек с соковыми красками и кисточками... одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисованье их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным: я смотрел на дядю Сергея Николаича как на высшее существо.

Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнею неделею нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дядей и от близких друзей моего отца и матери, увидел ласку и привет от всех наших знакомых. Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, тверже и бойчее. Все говорили, что я переменился, что я вырос и поумнел. Должно признаться, что, слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее.

Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую, или проходную, комнату в большую столярную; прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нем почти не знал; но мои дяди любили иногда заходить в столярную подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бранил их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже

казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы.

Здоровье моей матери видимо укреплялось, и я заметил, что к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде; впрочем, это могло мне показаться: прошлого года я был еще мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимания на все происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездило очень много, но я их мало знал. Мне хорошо известны и памятны только те, которые бывали у нас почти ежедневно и которые, как видно, очень любили моего отца и мать и нас с сестрицей. Это были: старушка Мертваго и двое ее сыновей Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертваго, Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали, так же как и мою мать, Софьей Николавной, и сестрица ее, девушка Пекарская; из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал граф Ланжерон и полковник Л. Н. Энгельгардт; полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день; доктор Авенариус — также: это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княжевичей и Мансуровых мы были дружны и часто вместе игрывали. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги; они не знали простуды и ели все, что им вздумается, а я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть без позволения матери; в сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому не удивительно, что меня берегли и нежили; но милая моя сестрица даром попала на такую же диету и береженье от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и боже мой! как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевшим свое дело. Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама, и смотреть на это приготовленье было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготовлялось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды; все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малино-

вым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтоб им полакомиться, сколько для того, чтоб порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что «ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николавны». Я торжествовал и не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе, а между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгардта: по своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала; это потому, что впоследствии я его боялся,— он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу».— «Как тебе не стыдно,— продолжал он,— ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак...» Я перепугался и убежал от него. Энгельгардт вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка! ты боишься военной службы, так вот я тебя насильно возьму...» С этих пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами. В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданной душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня.

После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат, которого все называли ветрeником, и рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дождаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и все смотрел ему в глаза; а если и это не помогало, то дергал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдемте рисовать». Наконец

он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан — и глаза мои уже не отрывались от его руки, и каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать; он весьма тщательно приготовил мне *оригиналы*, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратиках, заранее расчерченных, потом глазки, брови и проч. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе; но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтоб посмотреть, как рисует дядя; а когда он запретил мне сходить с места, то я таращил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы; он не ошибся: в короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя был в восторге и пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать того кружочка, который рисовал в ребячестве.

По книжной части библиотека моя, состоявшая из двенадцати частей «Детского чтения» и «Зеркала добродетели», была умножена двумя новыми книжками: «Детской библиотекой» Шишкова и «Историей о Младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч Греков, сочинения Ксенофонта». Книги эти подарил мне тот же добрый человек, С. И. Аничков; к ним прибавил он еще толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту книгу вместе с моей сестрицей и растолковывал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был все сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню! «Детская библиотека», сочинение г. Кампе, переведенная с немецкого А. С. Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение[1]: это и не мудрено, но

---

[1] Александр Семеныч Шишков, без сомнения, оказал великую услугу переводом этой книжки, которая, несмотря на устарелость языка и нравоучительных приемов, до сих пор остается лучшею детскою книгою. Она имела много изданий; кажется, первое было сделано в 1792 году. В изданиях, которые мне случалось видеть и сличать, текст оставался без поправки, без перемен. Некоторые стихотворения, как, например: «Дитя, рассуждающее здраво», «Детские забавы», «Фиалка и Терновый куст», «Бабочка», «Счастье благодетельства», «Николашина похвала зимним утехам» (лучше всех написанное), можно назвать истинными сокровищами для маленьких детей. Я имею теперь под руками три издания «Детской библиотеки»: 1806 (четвертое издание), 1820 и 1846 годов (вероятно, их было более деся-

удивительно, что Ксенофонт нравился мне не менее, а в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту книгу, как будто она не сходила с моего стола; даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Сражение младшего Кира с братом своим Артарксерксом, его смерть в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под враждебным наблюдением многочисленного персидского воинства, греческая фаланга, дорийские пляски, беспрестанные битвы с варварами и, наконец, море — путь возвращения в Грецию,— которое с таким восторгом увидело храброе воинство, восклицая: «Фалатта! фалатта!» — все это так сжилось со мною, что я и теперь помню все с совершенной ясностью.

ти); но, к удивлению моему, не нахожу в двух последних небольшой драматической пиески, в которой бедный крестьянский мальчик поет следующую песню, сложенную для его отца каким-то грамотеем. Вот она:

Не в неге я роднлся,
Не в роскоши я жил;
Работал, и трудился,
И хлад и зной сносил.
Терпя различны муки,
Боролся я с судьбой;
Мои суровы руки
Не зиали, что́ покой.

Я солнечиого всходу
Ни разу ие проспал,
В суровую погоду
Укрыться не искал.
Но, плугом раздирая
Утробу я земли,
То дрогнул, промокая,
То весь горел в пыли.

За разными трудами
Меня зрел солнца бег;
Здесь твердыми стенами
Одел я дикий брег;
Там каменные домы
Воздвигнул для других,
Чуть крышу из соломы
Имея для своих.

Земную жилу роя,
В пещерах погребен,
Я солнечного зноя
И света был лишен.
В количестве премногом
Я злато иаходил —
И в рубище убогом
Весь век мой проводил.

Однако ж в это время,
Быв молод и здоров,
Не чувствовал я бремя
Сих тягостных трудов;
Без всякого излишку
Довольно собирал,
Кормил свою семьишку,
Был сыт и сладко спал.

Но младость промелькнула,
Ее уж боле нет;
Скорбь лютая согнула
Упругий мой хребет...
Мой одр, где я, страдая,
Убог лежу и сир,
Злой смерти ожидая,—
Стал ныне весь мой мир.

Почему и кем была исключена драматическая пиеса и песня в изданиях 1820 и 1846 годов, не понимаю. Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий 1790 годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым?

А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, несмотря на неприличную для крестьянина книжность некоторых слов и выражений, хотя это извиняется тем, что песню написал какой-то грамотей! Как слышна горячая любовь Шишкова к простолюдину!

Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня: сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велёно брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать — и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех; общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бранили и заставляли просить извинения; а как я, по ребячеству, находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же; но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткою и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову; впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому и не так уже раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, к какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде неподлюбливал. Волков на другой день, чтоб поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй: я приходил в бешенство, бранился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я, по глупости моей, очень радовался и говорил: «Вот бог его нака-

зал за то, что он хочет увезти мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем: в какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков, от нечего делать, зашел в столярную к Михею и начал, по обыкновению, дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе; сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам; на целый месяц я был избавлен от несносного дразненья.

Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю, в настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Превосходная земля, с лишком семь тысяч десятин, в тридцати верстах от Уфы, по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиною около трех верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новою прекрасною землею! Вдобавок ко всему в судебном акте ей дали имя «Сергеевской пустоши», а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали «Сергеевкой». Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие (по крайней мере, так было со мной), а потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка — *моя;* без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтоб пить кумыс, предписанный ей Деобольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее, Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена. Вместо Параши мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, *княжну*,— так всегда ее называли без всякой причины, вероятно, в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожале-

нья; но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну и сначала была ею довольна; но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой: лукавая азиатская природа, льстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших и маленьких, а за глаза говорила совсем другое; моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать и чуть было не поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли; разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка, под именем княжны, прожила в нашем доме до глубокой старости.

Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку, потом принимался торговать ее у моего отца; разумеется, я сердился и говорил разные глупости; наконец, повторили прежнее средство, еще с большим успехом: вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор, или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать, с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей в вечное владение П. Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки; вместо же меня, за неуменьем грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку! Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры и Сергеевки; кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал; назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником, а Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить Суркой (дворовой собачонкой, известной читателям); а чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал, как исступленный, из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гос-

тиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова... Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками! По счастию, удар был незначителен; но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною: меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницею происшествия! Дело происходило поутру; до самого обеда я рвался и плакал; напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бранить дяденьку и драться с Петром Николаичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку? Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощенья — я был глух к его словам. Я наконец перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват; что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно за то наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощенья. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель; она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине. Долго говорила она; ее слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные, ее слезы о моем упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисованье, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то наработало мое воображение! Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество: вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости; начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать... Дверь не отворялась, никто не входил, только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в дру-

гой комнате; фантазии мои разлетались как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам: никто не пускает меня к себе в дом; на меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать; вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери; я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слова «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол,— в комнате никого не было; но мне приказано, чтоб я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить прощенья у Волкова — я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу — я отказался, говоря, что «если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу». Вскоре после Авенариуса пришла мать; я видел, что она очень встревожена; она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаичем, не раскаиваешься в своем поступке, не хочешь просить у него прощенья?» Я отвечал, что я перед Петром Николаичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощения просить буду. «Ты упрямишься,— сказала мать.— Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеича: тогда и я прощу тебя». Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной, сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым: голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались, наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как сползли мои ноги, я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс; он приказал отнести меня в детскую и положить в постель; у меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или, лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец все стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости, моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины: дядя Сергей Николаич сидел возле меня и плакал; Волков стоял за дверью, тоже почти

плакал и не смел войти, чтоб не раздражить больного; отец очень грустно смотрел на меня, а мать — довольно было взглянуть на ее лицо, чтоб понять, какую ночь она провела! Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает,— вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощенье и так примириться с ними, чтоб никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальной мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости (как она мне сказала), что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду».

Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали не умеющим грамоте и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой «рядной», или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею; но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтоб меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаич вызвался удовлетворить моему желанью. Он начал меня учить чистописанию, или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать «палочки», чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы; но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Делать нечего, я должен был повиноваться, но между тем потихоньку я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось; срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк, с твердым, однако, намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтоб я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильич (фамилии его я никогда не слыхивал); это был человек очень тихий и добрый; он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил дядя. Не видя конца палочкам с усами и без усов, кривым чертам и оникам, я скучал и ленился, а потому, чтоб мне было охотнее зани-

маться, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня у того же Матвея Васильича в народном училище. Это средство несколько помогло: мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня, а как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося два часа, подписывать на наших тетрадках какое-нибудь из следующих слов: «посредственно, не худо, изрядно, хорошо, похвально». Скоро стал я замечать, что Матвей Васильич поступает несправедливо и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил «не худо», а ему «посредственно», а если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло «очень хорошо» или «похвально», а у Андрюши «хорошо»; в тех же случаях, впрочем довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня — у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать: отчего так поступает наш добрый учитель? «Верно, он меня больше любит,— подумал я,— и, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпятился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу». В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильич был со мною ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильича вскоре произошла перемена: на тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова, у обоих или «не худо», или «изрядно», или «хорошо», и я понял, что отец мой, верно, что-нибудь говорил нашему учителю: но обращался Матвей Васильич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей.

Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище, вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и всего скорее М. Д. Княжевича, но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но, по ее недостаточному образованию, не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спосылать сына в народное училище,— мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятною и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было, только в один очень памятный для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях, под надзором Евсеича, в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении,— комнату, всю установленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал; перед первым столом стояла, утвержденная на каких-то

подставках, большая черная четвероугольная доска; у доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов; перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски; ученики были пребольшие, превысокие и очень маленькие, многие в одних рубашках, а многие одетые, как нищие. Матвей Васильич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от черной доски; все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом: «Не знаешь? На колени!» — и мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски, где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил и которые были очень веселы; когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим; это была в то же время перекличка: оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый нет — так розги!» Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя: «единицы, десятки, сотни». При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими; учитель хвалил их; но и самые похвалы сопровождались бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликав всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильич задал урок на следующий раз: дело шло тоже о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив ни мертв, пораженный всем, мною виденным. Задав урок, Матвей Васильич позвал сторожей; пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около меня суматоху; забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса и вместе с ними наказанные, так же весе-

лые и резвые, как и другие. Матвей Васильич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил «засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке». Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. «Что, понравилось ли вам училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил: — Никак, напугались? У нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильича. Мать ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы моего сердца такому жестокому потрясению. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности; в эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности мною виденное и слышанное, излив мое негодованье в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильича на все известные мне казни, я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной и для моего успокоения должна была коснуться многого, еще мне не известного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслию, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности; что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем; что Матвей Васильич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильича получил такое непреодолимое отвращение, что через месяц должны были ему отказать. Чистописанье продолжал я один, а иногда вместе с Андрюшей. Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность; всего больше они смотрели за тем, чтоб я писал как можно похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. Итак, все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь умнее с каждым днем, могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы.

Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо, а потому, чтоб нам можно было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду: купили несколько изб и амбаров; в продолжение вели́кого поста перевезли и поставили их на новом месте, которое выбирать ездил отец мой сам; сколько я ни просился, чтоб он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа, со всеми чудными ее красотами, не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений: жизнью в Багрове и жизнью в Уфе; но с наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе; мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы, так захотелось побегать с Суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность и я каждый день просыпался и засыпал с мыслию о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей: радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и проч. и проч. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уже обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще бо́льшим наслаждением, которое мне не часто дозволялось,— прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: «Когда же мы поедем в Сергеевку?» — обыкновенно отвечали: «А вот как река пройдет».

И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес — и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими.

Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: «Пойдем, соколик, в горницу; река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго, с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла Белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и, наконец, разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначилась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. Долго не сбывала полая вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава: я все думал, что нам мешает река и что мы оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках; давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою — а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннею водою, что грязно, топко и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу; но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету; я уже не мог ничем заниматься, скучал и приведничал. Можно было предвидеть и

должно было принять действительные меры, чтоб укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок.

Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг, о счастливый день! мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал ночь. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем. Но вот проснулись в доме, начался шум, беготня, укладыванье, заложили лошадей, подали карету, и, наконец, часов в десять утра мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему Сурка был с нами.

СЕРГЕЕВКА

Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойною радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне веселым праздником.

Мы, так же как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки, но я уже мало обратил на них внимания,— у меня впереди рисовалась Сергеевка, *моя* Сергеевка, с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец мы въехали в урему, в зеленую, цветущую и душистую урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны: сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшая от солнца, висели клочьями на зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно как будто обмазаны также высохшею тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода,— говорил мне отец,— смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса; видно, он почти весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я, в свою очередь, объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала

отца. Скоро, и не один раз, подтвердилась справедливость его опасений; даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали шибкою рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в урему, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами: это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько новых и старых недостроенных изб; налево виднелись длинная полоса воды, озеро Киишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых «мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб: новой и старой, соединенных сенями; недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая; остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей; вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой; в новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устроиваться: стулья, кровати и столы были привезены заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания; Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки; мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал: не шел, а бежал вприпрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно наконец мое давно желанное и жданное великолепное озеро, в самом деле великолепное! Озеро Киишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три; ширина его была очень неровная: иногда сажен семьдесят, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к во-

де пологим скатом; налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весною, в полую воду, заливалась в него река Белая; направо за изгибом не видно было конца озера, по которому, в полуверсте от нашей усадьбы, была поселена очень большая мещеряцкая деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Киишки. Разумеется, русские звали ее, и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки — и к озеру очень шло это названье, вполне обозначавшее его длинное, искривленное протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде как в зеркале и обросшее зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой, и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен *наш* берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега, не заселенная и потому ничем не загаженная; по берегу росло десятка два дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку: новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка и без мостков удить было бы невозможно; да и для мытья белья оказались они очень пригодны, лодка же назначалась для ловли рыбы сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько обхватов толщиною; возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба; из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли; таких зарубок на пне было только две, а на растущем дубу пять, а как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось двенадцать заметок, следовательно ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению.

Озеро было полно всякой рыбы и очень крупной; в половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая

металась и плавилась беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву: мне сказали, что это рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкою лесою, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше: ему хотелось поймать крупную рыбу; мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался ту ж минуту; беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскиванья рыбы и закидыванья удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удерживанья моих детских порывов, а потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего»,— сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна,— сказал он мне,— и станем насаживать червяков побольше, а я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился: наплавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде, червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок, на третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтвержденья слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба; он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» — и вытащил из воды пустую удочку; крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать»,— с досадою сказал он; снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Экой грех,— говорил он,— теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет!» Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилища в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы,— я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему; он исполнил мою просьбу; наплавок мой встал, и клев начался

немедленно; но свои удочки Евсеич не переправлял, и его наплавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более двадцати рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича; правду сказать, он только и делал что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок: своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на двадцать. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня; Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтоб он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу: поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище, вытащил очень большого окуня, не отцепляя положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие; крики и тревога Евсеича привели меня в волнение: я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движеньем подъезжавшей лодки: клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтоб не распугать, как видно, подходившую рыбу; держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подыматься туман, закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвести меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбною ловлею, что не смел попросить позволенья остаться и, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было и я скорее мешал ему,— весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев — я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности; настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание: как тронуло наплавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба; потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или, лучше сказать, на двух камнях, за-

менявших крыльцо для входа в наше новое, недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать, Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли,— в эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, а как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю; но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь и курились две-три головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит? Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары! У тебя все лицо распухло и в крови». В самом деле, я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил — так уже страстно полюбил я уженье. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде, во всю мою жизнь, не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще несноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиною множества комаров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, а как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. Отец воротился, когда уже стало темно; он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой,— подумал я,— когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и Суркой на берегу реки или озера?..» — потому что лодки я прибаивался.

На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли; с вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом; опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог.

Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное — устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем (так звали его

в глаза, а за глаза — Мавлюткой), который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце; отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Салям маликум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины; в нем было двенадцать вершков роста и двенадцать пуд веса, как я после узнал; он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары; на макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка; шеи у него не было; голова с подзобком плотно лежала на широких плечах; огромная саблища тащилась по земле — и я почувствовал невольный страх: мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тиссаферн, предводитель персидских войск, сражавшихся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери, и она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которой он с трудом уселся; ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность: она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде, на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание: из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межеванье, то все объявят спор и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян. «Землимир, землимир скоро тащи, бачка Алексей Степаныч,— говорил визгливым голосом Мавлютка,— землимир вся кончал; белым столбам надо; я сам гуляет на мижа». Мавлют Исеич ушел, отвязал свою лошадь, про которую между прочим сказал, что она «в целый табун одна его таскай», надел свой войлочный острый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей

страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом; тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение: она была заселена двумя деревнями припущенников, Киишками и Старым Тимкиным, которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие, казенные земли было очень трудно; всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы-башкирцы ссорились между собою и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии; тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть, и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся[1].

С каждым днем все более и более устроивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли и, за неимением косяков, приколотили их снаружи довольно плотно; но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне казалось нисколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую калмыцкую кибитку; боковые войлочные стенки можно было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтоб в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготовлялся отлично хорошо, и мать находила его уже не так противным, как прежде, но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере, уверял в том и себя и других, и хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ и все думали, что от него потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить; он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, чтоб его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для уженья. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной; я только из боязни, чтоб мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая

[1] Вся Сергеевская земля до сих пор находится в споре, и тридцать душ крестьян, на ней поселенных, имеют землю в общем владении с деревнями Киишки и Старым Тимкиным. Права настоящих вотчинников-башкирцев так спутаны, что разобрать их не только трудно,— даже невозможно.

минута промедления была для меня тяжким испытанием. Рыба клевала чудесно; неудач не было или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей Парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия, и комары скоро прогоняли ее домой.

Наконец стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли: добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, и Иван Николаич Булгаков, также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом; достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок; две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную, тихую, месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на тоню. Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шуму, осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой загон, или плесо, продолговатым полукругом вдавшееся в берег. Туда ночью на отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клячи[1] невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы; мы следовали на пароме за мотней[2] и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики; многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом; это были щуки и жерехи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клячевыми веревками по воде, чтоб заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтоб видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех; отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи! нижние подборы веди плотнее! смотри, чтоб мотня шла посередке!» Мансуров же не довольствовался одними словами: он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад; он представлял таким образом пресмешную фигуру; жена его, родная сестра Ивана Николаича Булгакова, и жена самого Булгакова, несмотря на

---

[1] К л я ч а м и называются боковые концы, или края, невода, пришитые к деревянным палкам.

[2] М о т н я — середина невода, имеющая фигуру длинного и к концу узкого мешка.

свое рыбачье увлеченье, принялись громко хохотать. Наконец выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода, показалась мотня, из длинной и узкой сделавшаяся широкою и круглою от множества попавшейся рыбы; наконец стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться, из опасения, чтоб не лопнула мотня; подняв высоко верхние подборы, чтоб рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею; облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой; по большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете; попалось также довольно крупной плотвы, язей и окуней; щуки, жерехи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицания Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас; мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клеву, как прежде; но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма-тьмущая рыбы, что озеро так велико, и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клев будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик»,— прибавил он, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок: крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженною рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех, несмотря на то, что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя, при дымном костре от комаров, за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах, она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платье сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю тоню, слыша сквозь дверь, завешанную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о зав-

трашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках! Проснувшись на другой день поутру ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу; отец также встал, а гости наши еще спали: женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич! Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик,— говорил Евсеич,— рыбы-то стало больше. Ее вечор напугали неводом, она и привалила сюда». Справедливо ли было заключение Евсеича или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли: «Да куда же нам деваться с этой рыбой, которой и вчера наловлено такое множество?» Впоследствии развилось во мне это чувство в бо́льших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного.

Гости прогостили у нас еще два дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия; в этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши, Федором, ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем также вместе с моим отцом; с ними было две легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники привезли несколько уток и десятка два разных куликов; все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы мне с Суркой не поохотиться? Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гостьи каждый вечер ходили удить со мной на озеро; удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало; к тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой; весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой.

Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаичу Булгакову в его деревню Алмантаево, верстах в двадцати от Сергеевки, где гостил Мансуров с женою и детьми. Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в

Алмантаево; а сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых: с девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома.

Во все время моего детства и в первые года отрочества заметно было во мне странное свойство: я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью; говорили, что я *боюсь* чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвиненья, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах; это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которою неразлучно отчужденье и уединенье, заставляющие сосредоточиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного, сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и общество однолетних со мною детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод.

Здоровье матери видимо укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно поутру и к вечеру, мать очень часто ездила в поле прокатываться, особенно в серенькие дни, вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья, да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса; отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки; точно то же было и вечером; но почти всякий день я находил время поудить.

В половине июня начались уже сильные жары; они составляли новое препятствие к моей охоте: мать боялась действия летних солнечных лучей, увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в десять часов утра я уже был дома. Как я просил у бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастие сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на Сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце! Но зато чтение, письмо и арифмети-

ка очень туго подвигались вперед, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность.

Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно по моему нежеланью туда ехать; но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположенье и дом на пустоплесье, без сада и тени, на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом, но и река мне не понравилась, во-первых, потому, что вся от берегов проросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому, что вода в ней была горька и не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество и которую находили все очень вкусною. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины около кауза и вешняка, особенно в глубокой яме, или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз целым обществом, разумеется около завтрака, то есть совсем не вовремя, и ловля была очень неудачна; но мельник уверял, что рано утром до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная и всего лучше в яме под вешняком.

Хозяин, Иван Николаич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом — и дамы и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь, и я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит; но, как нарочно, мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я скрепя сердце сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку; все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руки повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я превозмогал свой страх; но как скоро он выпустил узду — я совершенно растерялся; поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысью к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать; потеряв равновесие, я конечно бы упал, если б выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго и неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно памятно потому, что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать: зачем и они смеются надо мною? «Разве они не видят, как мне больно и стыдно? — думал я.— Отчего же сестрица не смеет-

ся, а жалеет обо мне и даже плачет?» Тут только я с горестью убедился в моей трусости, и эта мысль долго возмущала мое спокойствие. По счастию, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть два дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку!

Сергеевка понравилась мне еще более прежнего, хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь, я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик,— говорил он,— ну чего обробел? Лошадка пресмирная, а ты давай кричать. Ведь это ты не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну, какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь. Послушать тебя, так ты один на целый полк пойдешь!» Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал обещание себе: во-первых, не говорить с Евсеичем о «походе младшего Кира», о котором любил ему рассказывать, и во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: «Ну, куда еще тебе верхом ездить!» — и ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтоб он не говорил более об этом, и добрый Евсеич наконец перестал поминать про алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце! Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться, и хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно без всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор!.. Гости прожили у нас несколько дней. Без А. П. Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не клеились, хотя была и тоня, только днем, а не ночью и, разумеется, не так изобильная, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня, и с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей.

Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья: ему очень хотелось поймать стерлядей, и он даже говорил мне: «Что, Сережа, кабы попалась белорыбица или осетр?» Я уверял, что непременно попадет! Мы поехали после обеда с целым обозом: повезли две лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали; она понравилась мне более, чем под городом: песков было менее, русло сжатее, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собою ружье, и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток; отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление, и не страха, а чувства какого-то приятного волнения; когда же я увидал застреленную куропатку, особенно же когда, увлеченный примером окружающих, я бросился ловить другую подстреленную,— я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость: окровавленные, бьющиеся красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания.

Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещеряков: они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в Белой, потому что воды ее сняты рыбаками, отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещеряки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали.

Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которою позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило; все же окружающие меня, и мужчины и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собираньем ягод и потому садилась на дроги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала

за нами; сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтоб она брала меня с собою, и потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытисненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышня, опять набрала зеленухи!» — и потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова; у меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеичевой: это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами: в тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок, самые крупные отбирали на варенье, потом для кушанья, потом для сушки; из остальных делали русские и татарские пастилы; русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод; но наконец и они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь,— может быть, потому, что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большею частью отдавались нам с сестрицей; мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет вздуваться, пузыриться и покрываться беловатою пеленою.

Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась: когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разостланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. *Бить* в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить: на мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту.

Время для питья кумыса как лекарства проходило; травы

достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть; кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти; простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился — очень надолго.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УФУ К ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок,— все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылела. Я загорел, как арап, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нем; напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтоб погладить, приласкать Сурку и поиграть с ним; житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид Сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него; это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам, я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы; к чтению также меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое — уже по охоте. С. И. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести; это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились: «Древняя Вивлиофика», «Россиада» Хераскова и полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова. Заглянув в «Вивлиофику», я оставил ее в покое, а «Россиаду» и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером

одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме гораздо менее, чем в прошедшую зиму: дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух «Россиаду» и получать от нее разные объяснения на не понимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев: Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что я как будто видел и знал их давно; я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность; я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги, и прочая и прочая. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал: «Откуда это все у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского!

Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен;
Но твердому кремню являлся он подобен,
Который сильный огнь в то время издает,
Когда поверхность кто его железом бьет.

Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые

В уста вложив кинжал и в руки взяв мечи,
Которые у них сверкали, как лучи...
. . . . . .
. . . . . .
И войска нашего ударили в ограду,
Как стадо лебедей скрывается от граду,
Так войски по холмам от их мечей текли;
Злодеи скоро бы вломиться в стан могли,
Когда б не прекратил сию кроваву сечу
Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.

Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь

произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из «Россиады» пред моим покровителем С. И. Аничковым: он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова.

Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме, как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения божией матери, и лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви; всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь присягать новому императору!» Народ, шедший врассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известия от кого-то из бегущих мимо, что «государыня скончалась», как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими десятью приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать, тоже со слезами на глазах, перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не зная отчего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть; идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из Верхнего земского суда и сказал отцу, чтоб он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась богу, села на кресла и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть собственно со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов, даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствование соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто ж будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее Павел Петрович».— «А будет ли он такой же умный и добрый?» — «Как угодно богу,

и мы будем молиться о том»,— отвечала мать. Я возразил, что «бог, вероятно, захочет, чтоб Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую читать или играть с сестрицей, но я попросил ее, чтоб она растолковала мне, что значит присягать. Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть. «Детей не приводят к присяге,— сказала мать,— ступай к сестре». Я обиделся. Скоро приехал отец и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на В.**, нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира — хорошенько не знаю,— который публично показывал свою радость, что скончалась государыня, целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В.** должен быть недобрый человек; тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться: новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В.** еще больше: зачем он радуется, когда все огорчены. Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие, и потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас воротился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только В.**, двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель, С. И. Аничков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что «пора мужской руке взять скипетр власти...».

И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать не испытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину: мертвую императрицу, огромного роста, лежащую под черным балдахином, в черной церкви (я наслушался толков об этом), и подле нее, на коленях, нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за десять верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я сам все видел или читал об этом описание.

Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальной у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывала иногда из девичьей то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна-калмычка. В спальной и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно; о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним

дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно не понимаемое мною: «Теперь-то гатчинские пойдут в гору». В нашей детской говорили, или, лучше сказать, в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской, а толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили; я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других заходивших в нашу комнату в нелепости их рассказов, но — без всякого успеха! Мне отвечали, что я «еще маленький и ничего не смыслю». Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параше и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе.

Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столиц. Губернатор В.** скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку.

Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писанье прописей и занятия арифметикой, которую я понимал как-то тупо и которой учился неохотно,— все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени: гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до «Древней Вивлиофики».

Раз как-то вслушался я между слов, что дедушка нездоров; но, кажется, никто об его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили; когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово: дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней и подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой,— думал я,— ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем?» Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорчен-

ный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрово само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал как будто весело, что меня очень удивило: «Слава богу, все нашел! Возок дает нам С. И. Аничков, а кибитку — Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала: «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер начались у нас сборы, укладыванье и приготовленье кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собою только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери; иных она не могла уничтожить, над опасением же, что «мы замерзнем», рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в возке.

На другой день к обеду действительно все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по большой Казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

Эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила во мне самое тягостное и неприятное воспоминание. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного возка с маленькою дверью, в которую трудно было пролезть,— а в возке следовало поместиться мне с сестрицей, Параше и Аннушке. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный и мне строго приказали лезть в возок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже: ей делалось тошно и дурно; даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружи, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в возке сделалось тепло и надобно было развязать платок, которым я, сверх шубы и шапочки, был окутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал, неизвестное мне до сих пор, удовольствие скорой езды. В обеих дверях возка находилось по маленькому четвероугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него; ночь была месячная, светлая; толстые вехи, а иногда деревья быстро мелькали, но, увы! скоро и это удовольствие исчезло: стекла затуманились, разрисовались снежными узорами и, наконец, покрылись густым слоем непрони-

цаемого инея. Невеселая будущность представлялась мне впереди: печальный багровский дом, весь в сугробах, и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уже спала, а наконец и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день поутру, я подумал, что еще рано; в возке у нас был рассвет или сумерки, потому что стеклышки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала; она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В возке действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут мне объяснили, что, проехав две с половиной станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеселить меня. Она знала, до чего я был охотник, и сейчас стала просить, чтоб я почитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке; но я не стал даже и читать, так мне было грустно. Наконец доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовленную, чтоб напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо; она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокруженье: это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе, на широких нарах, лежала груда довольно сальных перин чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны ковром; остальная часть нар покрыта была белою кошмою. Мать, разостлав на ней свой дорожный салоп и положа свои же подушки, легла отдохнуть и скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без нее. Она проспала целый час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей, вышли, только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь: нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги; но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать; она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке (хотя были тепло обуты), потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее; когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворенной по

неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием.

Я не могу описать тревоги и волнения, которое я испытывал тогда. У меня было и предчувствие и убеждение, что с нами случится какое-нибудь несчастие, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в возке опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство: я разбудил Парашу, просил и молил ее постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка; но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторою грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь. Известно, зачем остановились». Если б она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем неосновательны: у нас точно замерз было чувашенин, ехавший форейтором в нашем возке. Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади; его оттерли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне, до сих пор сохраняемые мною, ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам: мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, возчики, не довольно тепло одетые для переезда и десяти верст в жестокую стужу... все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой, по дальности расстояний, и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни.

Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет божий, я несколько ободрился и успокоился; к тому же и мать почувствовала себя покрепче, попривыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота, ранее обыкновенного наступавшая в возке, опять нагнала страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу, и, к сожалению, опять недаром. Я говорю: к сожалению, потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более, чем от действительных несчастий, хотя в то время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Подъезжая к Багрову уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся. Я, сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на котором висела сумка, и, сверх того, едва не задохся,

потому что Параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо, и особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый возок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся; даже не заметил, что ушибся; но, к досаде моей, Параша, Аннушка и даже сестрица, которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть,— смеялись и моему страху, и моей радости. Слава богу, мать не знала, что мы опрокинулись.

БАГРОВО ЗИМОЙ

Наконец послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб; слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запушенные снегом,— и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем двенадцативерстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке: отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно; нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце: обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят,— съехались все тетушки с своими мужьями; в комнате Татьяны Степановны жила Ерлыкина с двумя дочерьми; Иван Петрович Каратаев и Ерлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тетушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери; нам с сестрицей постлали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем; тут пришла мать; она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать; заперли двери в залу, завесили ковром, устлали пол кошмами — и гостиная, в которой были две печки, скоро нагрелась и во все время нашего пребывания была очень тепла.

В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий; а сверх того, действительно у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз,

и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости и тошноты в продолжение всей дороги. Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель; разумеется, и нас сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданьем, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери; голова болела, глаз закрывался, я чувствовал жар и даже готовность бредить, и боялся, что захвораю... но все уступило благотворному, целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать: она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибленное место посинело. Видно, отец еще не приходил: постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или, лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка, верно, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской; а если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой... Но все эти мечтанья исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свиданье наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они *окоченеют*, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю... Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним, здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыханье останавливалось, холодный пот выступал на лице, я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки, даже стал было будить сестрицу, и если не закричал, то, вероятно, от того, что у меня не было голоса... В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо: перевязка давно свалилась и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я при-

бежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло; сестрица моя также проснулась и также сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря: «Можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает?» Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза; лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его; у изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащею рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам; мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали; все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать, и тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь и жалость к умирающему дедушке. В комнате были нестерпимый жар и духота; мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтоб рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково; мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале; кушаний было множество, и, кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только вполголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок; их одежда поразила меня: одни были одеты в полосущатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках; все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня совершенная новость, и я, остановясь, с

любопытством рассматривал, как пряхи, одною рукою подергивая льняные мочки, другою вертели веретена с намотанной на них пряжей; все это делалось очень проворно и красиво, а как все молчали, то жужжанье веретен и подергиванье мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач; я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела: пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как взлез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было *томиться*, но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет»,— прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах; часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтоб они не уходили! Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать. Дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтоб она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил: «Отчего дедушка не плачет и не кричит? Ведь ему больно умирать?» Параша со смехом отвечала: «Нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает; тут человек уж ничего и не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает; хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит...» Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Параши, не выпускал ее и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши: она

должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня так близко, чтоб можно было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя: «Парашенька, не спи». Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро,— скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, Параши также; свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык потухающей светильни, кидаясь во все стороны на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха! Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза — дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если б в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач; я подумал, что это мне почудилось... но плач перешел в вопль, стон, визг... я не в силах был более выдерживать, раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог, сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка; весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться — как вдруг вбежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую наконец разбудили общие вопли; по счастию, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в шесть часов утра и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал две ночи. В самом деле, скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки»,— и горько заплакал; заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту ж минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная, в окнах появилась белизна, я догадался, что начинает светать; это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою.

Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач и рыданье. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что, верно, молятся богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. «Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться богу»,— подумал я и стал терпеливо дожидаться чьего-нибудь прихода. Днем, при солнечном свете, я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут»,— начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев, чтенье, выходившее как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают? и она, обливая из рукомойника холодною водою мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел, разве он жив?» — «Какое жив,— отвечала Параша,— уж давно остамел; его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол; отслужили панихиду, попы уехали[1], а теперь старик Еким читает псалтырь. Не слушайте сестрицы; ну, чего дедушку глядеть: такой страшный, одним глазом смотрит...» Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестер; за мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон, и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробуя увести насильно, против чего я защищался и руками и ногами; но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки: бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетушкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в исступленье, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое

---

[1] Про священника с причтом иногда говорят в Оренбургской губернии во множественном числе.

время ни за что бы не приняла такого одолженья — теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни *вытья*. Выть по мертвому, или причитать, считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые и крестьянские, перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных», и проч. и проч. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро; я и не видел этого перетаскиванья, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные и в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга; оба дяди также были там; общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый»,— и еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степаныч сейчас придет», Но бабушка отвечала, что «Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать». Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестынька: по-нашему, не так, а всякий сверчок знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери, и вошел мой отец. Я его уже давно не видал, видел только мельком ночью; он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу, даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему, все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери и хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, *настоящую хозяйку в доме*, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно; она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что «никогда никакой власти на себя не возьмет и что будет всех уважать и лю-

бить, как и прежде». Сели за стол и принялись так кушать (за исключением моей матери), что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала налимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, икорки-то и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их...» — и я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное, утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась; кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная и одною своей стороною выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты теченья и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инеем, а вдали выпуклоутесистая Челяевская гора — вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту.

Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворотясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату, даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли, и, когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною и так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею. Горячею благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем, без сомнения, я стал бы и просить и в чем не отказали бы мне; но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом! Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в

трусости робкое сердце дитяти! Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила; Багрово в оба раза представилось мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе; все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец.

Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий; то есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя, что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хоронить в село Неклюдово, чего он именно не желал, потому что не любил всего неклюдовского. Почему было поступлено против его воли — я до сих пор не знаю, но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтоб поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь; я сам боялся их и никогда не видывал лет до двадцати. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления: вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение; но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня.

Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано; началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда мы пришли, ранее обыкновенного, пить чай в бабушкину горницу, то все тетушки и бабушки были уже одеты в дорожные платья; у крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу: не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим, как отец. Много лет спустя я слыхал, что соседняя мордва иначе не называла его, как «отца наша». Когда все было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому; я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы только трое остались в бабушкиной теплой

горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой: все это прошло мимо нас... и вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб; потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядей и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки; бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком; многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку.

Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движенья в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани; с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости; я думал, что все уехали в Неклюдово, за двадцать верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы; там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились, и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их; я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня.

Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками осталась ночевать в Неклюдове у родных своих племянниц; мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том ни просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке, вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его; мать положила бы меня спать с собою, а для нее это было беспокойно; к тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть; вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы

народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец после многих усилий я кое-как заснул, слава богу, и проснулся позже всех.

К обеду приехали бабушка, тетушка и дяди; накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до девяти дён. Чтение псалтыря продолжалось и день и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы; там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться; она по большей части сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других; но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через девять дней.

Как я ни был мал, но заметил, что моего отца все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтоб «матушке сестрице не было скучно», и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что «не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно и что все зависит от матушки», то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказанья бабушке: назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксиньи Степановны, по одному семейству из дворовых, а для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда двадцать пять душ крестьян, которых назвал поименно; сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. «Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать: *не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве*,— но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намеренье. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполненье дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается.

Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери; иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла, и вот что эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да, вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объяснения. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь батюшка-то ваш роздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим

тетушкам-то, а все понапрасну; они всклепали на покойника; они точно просили, да дедушка отвечал: что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Никанорка Танайченок все это своими ушами слышал, и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления; но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощенья, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет.

Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтоб я упросил маменьку простить ее!.. и я с жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но со всем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданую женщину и не позволила ей показываться на глаза, пока ее не позовут, а мне она строго подтвердила, чтоб я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им и что это все выдумки багровской дворни: разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтоб я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла багровскую дворню, понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ.

Обрадованный, что со мной и с сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы, и уверенный, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедий Сумарокова. Меня слушали с любопытством, и хвалили, и говорили, что я умник, грамотей и чтец.

Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату: она была пуста, все вещи куда-то вынесли, стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно который-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое: дряхлый старик Еким Мысеич и очень молодой, рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мысеич медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка; Еким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиленья. Вдруг мне

захотелось самому почитать псалтырь по дедушке: я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Екима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться богу, Мысеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волненье стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал; но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедши за мной, уже давно стоял и слушал, перервал меня: «Не будет ли, соколик? — сказал он.— А читать горазд». Я оглянулся: Мысеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтенье. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты.

Прошел и девятый день, день поминовенья по усопшем дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью, рано поутру, чтоб поспеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтоб еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице так же читал Мысеич и так же спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич; наконец так же сказал: «Не будет ли, соколик? Чай, ножки устали». Мысеич опять дремал, прислонясь к окошку; я опять помолился богу и даже поклонился в землю, опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать — и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне: «Вот это хорошо вышло! В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице», и я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью.

К обеду, о котором, как я заметил, заранее хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова; даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов: их кушали со слезами и даже с рыданьями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела и очень была печальна; я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она

«ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки». Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращенье к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться.

На другой день мы собирались и укладывались, а на третий, рано поутру, уехали. Прощанье было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством: мое дело вдовье и старушечье; я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Все ведь держалось покойником, а теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам; мы останемся одни, дело наше женское,— ну, что мы станем делать?» Отец обещал исполнить ее волю.

УФА

Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрово. Два раза я жил в нем, и оба раза невесело. В первый раз была дождливая осень и тяжелая жизнь в разлуке с матерью и отцом при явном недоброжелательстве родных-хозяев, или хозяек, лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима, скончался дедушка, и я испытал впечатления мучительного страха, о котором долго не мог забыть. Итак, не за что было полюбить Багрово. Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее: морозы стояли умеренные, окошечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался.

В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, Д. Б. Мертваго, который хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня — давно уже уехал в Петербург. Княжевичи с своими детьми переехали в Казань; Мансуровы также со всеми детьми куда-то уехали.

Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. С лишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренне огорчал. Сестрица моя выучивала три-четыре буквы в одно утро, вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда

экзамен; но на другой день поутру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку; но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому, что она, слава богу, здорова, а по-вторых, потому, что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинал сильно любить природу, охота удить также сильно начинала овладевать мною, и приближение весны волновало сердце мальчика (будущего страстного рыбака), легко поддающегося увлечениям.

С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещанье, данное им своей матери: выйти немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятия хозяйством он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что «без хозяина скоро портится порядок и что через несколько лет не узнаешь ни Старого, ни Нового Багрова». На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что «деревенская жизнь ей противна, Багрово особенно не нравится и вредно для ее здоровья, что ее не любят в семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия». Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню: письмо, полученное от Прасковьи Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что «нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из трехсот рублей жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что Старое Багрово всего пятьдесят верст от Чурасова, где она постоянно живет». В заключение письма она писала, что «хочет узнать в лицо Софью Николавну, с которою давно бы пора ее познакомить; да и наследников своих она желает видеть». Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна — какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Споры, однако, продолжались, отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил

К стр. 157

это намерение до совершенного выздоровления матери от *будущей болезни*, то есть до лета. *Будущую болезнь* объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали; заставляли и меня написать по линейкам, что «я очень люблю бабушку и желаю ее видеть». Я не мог любить, да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее, и, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил: «Для чего меня заставляют говорить неправду?» Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать.

В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх; но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно; особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть: государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя, с гербовыми пуговицами (сюртуки назывались *оберроками*), и кроме того — чтоб жены служащих чиновников носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки, с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышиванья и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера, или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал.

Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла Белая и опять широко разлились ее воды! Не увижу я Сергеевки и ее чудного озера, ее высоких дубов, не стану удить с мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу Сурка, растянувшись на солнышке! Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер, Ярцев, чтобы обмежевать нашу землю. Межеванье обещали покончить в две недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец. Проситься с отцом я не смел. Дороги были еще не проездные, Белая в полном разливе, и мой отец должен был

проехать на лодке десять верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтоб межеванье не задержало отца, и, чтоб ее успокоить, он дал ей слово, что если в две недели межеванье не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам, в Уфу. Мать не могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом, а я разревелся. Мне было грустно расстаться с ним, и страшно за него, и горько, что не увижу Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно Евсеич утешал меня тем, что теперь нельзя гулять, потому что грязно; нельзя удить, потому что вода в озере мутная,— я плохо ему верил: я уже не один раз замечал, что для моего успокоенья говорили неправду. Медленно тянулись эти две недели. Хотя я, живя в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно уезжал к должности, а вечером — в гости или сам принимал гостей, но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю, и я для дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межеванье, и не узнав от них почти ничего нового (они сами ничего не знали), составил себе, однако, кое-какое по́нятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межеванья: вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межеванье довольно близко подходило к действительности: впоследствии я убедился в этом на опыте; даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межеванья всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали колья через каждые десять сажен; настоящего же дела, то есть измерения земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие.

Отец сдержал свое слово: ровно через две недели он воротился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межеванье. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все десять верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал, весь с ног до головы забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был невесел; многие башкирцы и все припущенники, то есть жители Киишек и Тимкина, объявили спор и дачу обошли *черными* (спорными) *столбами:* обмежеванье *белыми столбами* означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец

прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе; напрасно мы поторопились перевести туда крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность, и я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком удобном случае: «Моя Сергеевка».

Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали; с нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич: он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери, через всю длину огромного дома, несмотря на уверения, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе не нужным; только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления.

В это время, кажется 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часу в десятом; мы ложились спать; прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца, и светлая заря, еще не закрытая черною приближающеюся тучею, из которой гремел по временам глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую; я стоял возле моей кровати и молился богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас; я бросился на свою кроватку и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться; опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет как из ведра и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич рассказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла *молонья*. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни; вдруг вошла княжна-калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас привели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой (как все ее называли), Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова; она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать; отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирался лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь; мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и

разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молонья, отчего она зажигает, отчего гремит гром? Евсеич отвечал, что «молонья — огненная громовая стрела и во что она ударит, то и загорится». Небо очистилось, замелькали звезды, становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке.

На другой день догадка моя подтвердилась: мать точно была больна; этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авенариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту; она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери: в комнате было почти темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом: он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтоб мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться богу и просить, чтоб он ее помиловал, что мать хоть не видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я поверил, молился богу и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьке, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто. Приносили из церкви большой местный образ Иверской божьей матери и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда; но мы видели и слышали, как с пеньем пронесли образ через залу, молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как луг; но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки,— я совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами: «Молись богу, соколик, чтоб маменька выздоровела». Мы воротились с печального гулянья, я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушку и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить; он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко

мне, весело говоря: «Маменьке получше»,— и Параша сказала то же. Евсеича не было с нами, но он скоро пришел, и Параша встретила его вопросом: «Ну что, ведь барыне получше?» — «Получше»,— отвечал Евсеич, но нетвердым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда. Сестрица не хотела без меня кушать, но теперь, вместе со мною, охотно села за стол, и мы кое-как пообедали. Я упросил Евсеича узнать об маменьке; он ходил и, поспешно воротясь, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте,— сказал он тихо,— мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, а за мной и сестрица. «Послушайте,— сказал отец,— если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже и она от того может умереть; а если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах, сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного отец взял нас за руки и привел в спальню. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог; нас подвели к кровати. Поставили на колени, мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника; он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами... Я потерял способность не только соображения, но и понимания; одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша и сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства. Пришло время ложиться спать. Евсеич раздел меня, велел мне молиться богу, и я молился и, по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег, Евсеич сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтоб я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса: «Слава богу, слава богу, бог дал вам братца, маменька теперь будет здорова». Это говорили Евсеич и Параша моей сестрице, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими

ручонками... Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный, и рыдал так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыданья, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа! Надо радоваться, а не плакать. Слава богу! Мать будет здорова, у тебя родился братец...» Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыданья и всхлипыванья, внутренняя и наружная дрожь. Наконец все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова,— и чувство невыразимого счастия наполнило мою душу! Это происходило 4 июня, на заре перед восходом солнца, следовательно очень рано. Я все спрашивал, отчего сестрица проснулась, отчего она прежде меня узнала радостное известие? Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала Параша, но я спорил и не верил. Я долго также спорил, утверждая, что я не засыпал; но, наконец, должен был согласиться, что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параши, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почивать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках; какой у нас братец? Наконец, нам запретили говорить, и мы сладко заснули.

Поздно последовало наше радостное пробужденье. Я сейчас стал проситься к маменьке, и просился так неотступно, что Евсеич ходил с моей просьбой к отцу; отец приказал мне сказать, чтоб я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня огорчило. Потом я стал просить поглядеть братца, и Параша сходила и выпросила позволенья у бабушки-повитушки, Алены Максимовны, прийти нам с сестрицей потихоньку, через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другою детскою комнатой, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца — и мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сыроп, нарядно одетая, была уже тут; она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными

надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца Сурки были приняты мною благосклонно, и я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он; когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил: «Отчего вчера нас не пустили сюда?» — Живая Параша, не подумав, отвечала: «Оттого, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услыхали бы их голос». Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней, и что они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать Евсеичу и никому, что она проболталась, и уверяла, что ее будут очень бранить; я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце.

До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параши я еще более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее; но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать,— навели на меня сомненье и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова; он только сказал мне, что ей лучше и что, бог милостив, она выздоровеет... Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверенья Авенариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое вниманье, любопытство и любовь на нового братца. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли; но сначала я смотрел на все без участья: я мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной.

Наконец не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели; зеленые гардинки были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтоб я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило: одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел; я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива...» Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу (меня особенно) и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна ваша любовь».

Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если б вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свиданье с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Подите к братцу: его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце; он, разумеется, плакал; мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. Видя приготовления к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому, неслыханному и невиданному мною, делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы, но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал, то есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх: я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку, а погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга... Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына — разумеется, его придерживала бабушка-повитушка,— и я долго оставался в приятном заблуждении, что братец мой крестный сын, и даже, прощаясь, всегда его крестил.

Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора, Чичаговых и К. А. Чепруновой, не принимала; я был с нею безотлучно. Я читал матери вслух разные книги для ее развлеченья, а иногда для ее усыпленья, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлеченья получала она из библиотеки С. И. Аничкова; для усыпленья же употреблялись мои детские книжки, а также Херасков и Сумароков. В числе первых особенно памятна мне «Жизнь английского философа Клевеланда», кажется, в пятнадцати томах, которую я читал с большим удовольствием. Кроме чтенья, я очень скоро привык ухаживать за больною матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты; в горничной своей она не имела уже частой надобности, я призывал ее тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствия и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна, я даже гордился тем. Часто и подолгу разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говаривала. Я это заметил потому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия. Нередко

детские мои вопросы изобличали мое непониманье, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: «Об этом мы поговорим после». Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной, как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такою внезапной переменой, а главное — мыслью матери, что меня так легко обмануть. Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо, и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин; главные состояли в том, что Багрово сыро и вредно ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет; что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чем ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши, без общества умных людей, ужасна, что мы сами там поглупеем. «Одна моя надежда,— говорила мать,— Чичаговы; по счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в тридцати верстах от нас. По крайней мере, хотя несколько раз в год можно будет с ними отвести душу». Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустное опасенье. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гощенье матери также не нравилось; она еще не знала Прасковьи Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца; но впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимаю отчего, очень грустила, расставаясь с Уфой.

Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку; в самое это время приехали из полка мои дяди Зубины; оба оставили службу и вышли в *чистую*, то есть отставку; старший с чином майора, а младший — капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах; оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергею Николаевичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал. Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был *маленький*, и прибавил, с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздразнить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощанье нарисовал мне бесподобную картину на стекле: она представляла болото, молодого охотника с ружьем и легавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картинка была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню.

Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. Вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит, решились ее не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжение которого должно было выйти увольнение от службы; дяди остались жить в нашем доме: им поручили продать его.

Мы выехали из Уфы около того же числа, как и два года тому назад. Только помещались уже не так: с матерью вместе сидела кормилица с нашим маленьким братцем, а мы с сестрицей и Парашей ехали в какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, так же удили на Дёме, так же пробыли в Парашине полторы суток и так же все осматривали. Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления; хотя они были не так уже новы и свежи и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно Парашино подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай; ржаные хлеба были редки, а яровые — низки и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу: «Невесело работать, Алексей Степаныч. Не глядел бы на такое поле: козлец да осот. Ходишь день-деньской по десятине, да собираешь по колосу». Отец возразил: «Как быть, воля божья...» — и суровый жнец ласково отвечал: «Вестимо так, батюшка!»

Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокоивают всякое волненье, усмиряют всякий человеческий ропот и под благодатною силою которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека, с верою сказавшего и с верою услыхавшего их.

Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем, и Мироныч между прочим сказал: «Это еще не беда, что хлеба мало господь уродил, у нас на селе старого довольно, а у кого недостанет, так господский-то сусек[1] на что? Вот беда крестьянину семьянному с малыми детьми, когда бог его скотинкой обидит, без молочка ребятам плохо, батюшка Алексей Степаныч. Вот у десятника Архипова было в дому восемь дойных коров, а теперича не осталось ни шерстинки, а ребят куча. Прогневали бога!» Богатое село Парашино часто подвергалось скотским падежам. Отец знал настоящую их причину и сказал Миронычу: «Надо построже смотреть за кожевниками: они покупают у башкирцев за бесценок

[1] Сусек — закром.

кожи с дохлых от чумы коров, и от этого у вас в Парашине так часты падежи». Мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал: «Коли от евтого, батюшка Алексей Степаныч, так уж за грехи наши господь посылает свое наслание»[1]. Отец не забыл спросить о хвором старичке Терентье, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что «он стал маненько позашибаться», то есть чаще стал напиваться пьян, но все еще другого начальника не желали.

Мы выехали из Парашина на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный Ик. Мы расположились у последнего моста, на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался этою великолепною и необыкновенно рыбною рекою. Мы кормили с лишком четыре часа и досыта наудились, даже раков наловили. Ночевали в Коровине, а на другой день, около полдён, увидели с горы Багрово. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету; но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать, в самом мрачном расположении духа, сидела в углу кареты; в другом углу сидел отец; он также казался огорченным, но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.

ПРИЕЗД НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЬЕ В БАГРОВО

Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Ну, слава богу! Приехали настоящие хозяева. Не чаяла дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазыньки проглядели, глядя на уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке: она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати; прислуга была женская: всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед. Началась беготня и хлопоты, чтоб накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей

---

[1] Снятие кож с чумной скотины воспрещено законом: но башкирцы — плохие законоведцы, а русские кожевники соблазняются дешевизной, и это зло до сих пор не вывелось в Оренбургской губернии.

встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно; она после обеда, по обыкновению, легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. *Новая горница* (так ее всегда звали) для молодой барыни была еще не совсем отделана: в ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где живала прежде тетушка; угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугуруслан, были закрыты пристройкою новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять, разумеется с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый и омутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину, и на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которая берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову.

На первых порах отец был очень озабочен своим вступленьем в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управленье домом и еще менее — в распоряжение оброками, пряжею и тканьем крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей и что берет на себя только одно дело: заказывать кушанья для стола нашему городскому повару Макею, и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье, по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положеньем. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорченья». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать.

В доме произошло много перемен, прежде чем отделали новую горницу; дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную; дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет

также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполняли с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников, не было угла спокойного, а как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору, и по саду, и по березовой роще, в которой уже поселились грачи и которая потом была прозвана «Грачовой рощей». Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий раз отпускала меня с Евсеичем удить: она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждый днем я более и более пристращался к уженью и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду и с плотины на мельнице удили мы окуней и плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как-то: язи, головли и лини уже не брали, или, лучше сказать (что, конечно, я узнал гораздо позднее), их не умели удить. Вообще уженье находилось тогда в самом первоначальном, младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там можно было удить и крупную и мелкую рыбу: в стари́це, тихой и довольно глубокой, брала крупная, а с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари; да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу, было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку: она была большая охотница удить.

Наконец кончилась стукотня топоров, строганье наструго́в и однообразное шипенье пил; это тоже были для меня любопытные предметы: я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопро-

сами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом: *мы*, я разумею мать, отца и себя. Сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан: из него виднелась даль уремы Бугуруслана, сходившаяся с уремою речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челяевской горы.

Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле; каждый день ходил на конный и скотный двор; каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему именьем по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощали пивом и вином; все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря: «Царство ему небесное». Я один был с отцом; меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец — сын, а я — внук Степана Михайлыча. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что «госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка», то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам; но отец сказал им, что молодая барыня нездорова. Все были недовольны, как мне показалось; вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть; в чем же они перед тобой виноваты?..» Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение и когда крестьяне поздравляли его шумными криками: «Здравствуй на многие лета, отец наш Алексей Степаныч!» — бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили.

«О чем плакали бабушка и тетушка?» — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка — я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки — и оттого стало грустно им».— «А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят».— «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее; к тому же я терпеть не могу... ну, да ты еще мал и понять меня не можешь». Сколько я ни просил, сколько ни приставал... мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову: чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят?..

Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна; в ней я никакой перемены не заметил: она была так

же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая; она сделалась не только ласкова и почтительна, но бросалась услуживать моей матери, точно Параша; мать, однако, держала себя с ней совсем неласково. Наконец, приехала и Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращенье на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них Катерина, была живого и веселого нрава; она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче; но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее, как близкую родню. Все они гостили в Багрове не подолгу.

Наконец приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне; я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее, как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иваныч, как Сережа нам обрадовался!» Петр Иваныч в первый раз обратил на меня свое особенное вниманье и приласкал меня; в Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертваго, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю.

В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся «садком», два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой — у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и,

по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле *ястребочком*, как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволенье ехать на охоту, с живейшим нетерпеньем ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке (потому что у обоих собаки гонялись за перепелками) и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, я любил все в охоте: как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле; как, по мере того как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается; как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левою рукою удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней; как вдруг собака, иногда искривясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте; как охотник кричит запальчиво «пиль, пиль» и, наконец, толкает собаку ногой; как, бог знает откуда, из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка — и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен, и опускается с добычею в траву или жниву,— на это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку; как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей; я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника; как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице,— обе говорили, что это жалко и противно.

Я и прежде сам замечал большую перемену в бабушке; но особенное вниманье мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки,— говорила моя мать,— она даже ростом стала как будто меньше; ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое; беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет; только и говорит: «Как угодно богу, так и

будет...» А отец со вздохом отвечал: «Да, уж совсем не та матушка! видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтоб ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидели множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы; она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну, что уж мне за пряжа, пора к Степану Михайловичу»,— и начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала и, посидев, уходили; но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или, лучше сказать, в огороде; тетушка ходила с нами туда, указала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и, сказав: «Знатные ягоды, эки крупные и какие спелые!» — кушала их с удовольствием; хотела и нас попотчевать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара; вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны; у бабушки называлось это место «золотой ямкой»; ее всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли, почти из земли, молоденьких шампиньонов полную тарелку и принесли бабушке; она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала: «Ну, уж какие вы». Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад; бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья,

схватила одной рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку... Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как прядет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух.

После двухнедельного ненастья, или, вернее сказать, сырой погоды, наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, и, проснувшись поутру, я видел, как все места, не освещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инеем. «Вон какой мороз лежит!» — говорил Евсеич, подавая мне одеваться. И точно, широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильно пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезала противная снежная белизна.

Не знаю отчего, еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили; бóльшую часть ржи уже перевезли в гумно; обмолотили горох, вытрясли мак — и я ничего этого не видал! Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы, и дружно принялись доканчивать возку, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился, сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже два года, я не бывал в хлебном поле и потому с большою радостью уселся возле отца на роспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой (что отец иногда делал), и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда: на грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки; стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что «уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них». Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле; голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее, сурчины как-то выше и краснее, потому что листья чилизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров; но сурков уже не было: они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так

называемые *сноповые* телеги. Это были короткие дроги с четырьмя столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укрепленные сверху *гнетом* и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых возах были только мальчики или девчонки, которые весело шли каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек крестьян длинными вилами накладывают воза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им: «Бог на помощь». Они поблагодарили; мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скирдах была тьма-тьмущая, да все разлетелись: так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что бóльшая часть крестьян работает теперь на гумне и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу (гречу)?» — спросил отец. Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут,— сказал, смеясь, Евсеич,— ровно наследство делят! Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения — и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав: «А, увидали, сороки!» На одной из десятин, был расчищен ток, гладко выметенный; на нем, высокою грядой, лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более тридцати цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту не виданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой, между тем как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым! Чтоб не перерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степаныч. И давеча была, почитай, чиста солома, да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернушка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «бог на помощь!» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом току двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи; ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие, легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю; другой крестьянин сметал метлою ухвостье и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молотьба не произвела на меня тяжелого

впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились, по дороге к дому, прямо на гумно. Я вслушался, что десятник вполголоса говорил Евсеичу: «Скажи старосте, что он? али заснул? — не шлет подвод за обмолоченной дикушей». На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничную кладь и только заложили другую, полбенную. На каждой клади стояло по четыре человека, они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока,— вскидывались по воздуху ловко и проворно; еще с большею ловкостью и проворством ловили снопы на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущенья и выговаривал старосте, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна; но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степаныч, на оржаные-то клади,— яровые такие не будут; оржаная солома-то длинная, а яровая — коротенькая, снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша. Когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями, Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать. Вот нашли какую невидаль! Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут...» — и захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуется маменьке,— однако ж не пожаловалась. Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли.

Уже весьма поздно осенью отправились мы в Старую Мертовщину к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки; отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово, к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях; даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мною уже не один раз. Но

на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка Мертваго сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело её слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о «пугачевщине», о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертваго я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иваныч Чичагов. Он был и живописец и архитектор: сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду близехонько от дома и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое *математический инструмент*, что такое палитра и масляные краски и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черченье, в чем Чичагов был искусен, и я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастием. Вдобавок ко всему Петр Иваныч дал мне почитать «Тысячу и одну ночь» — арабские сказки. Шехеразада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки, и добрый хозяин подарил мне два тома этих волшебных сказок: у него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение и что после волшебных сказок Шехеразады я стану бредить наяву; но Петр Иваныч как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства! Покуда мы жили в Мертовщине, я читал рассказы Шехеразады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, разверну Шехеразаду, так, чтоб только прочесть страничку,— и забудусь совершенно. Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскала меня, читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал и не видел ничего; только хохот Петра Иваныча заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательства и сказала: «Вот видите, Петр Иваныч, как он способен увлекаться; и вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иваныч только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно! Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову;

слава богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Мертовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался и в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с бóльшим вниманием слушал рассказы старушки Мертваго, еще с бóльшим любопытством расспрашивал Петра Иваныча, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать; в дополненье к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованьям, росло с каждым днем.

В Мертовщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом: это был сын Марьи Михайловны, Иван Борисыч, человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу; он жил в особом флигеле, с приставленным к нему слугою, ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два и по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисыч, небритый, нечесаный, очень странно одетый; бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь набок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посереди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собою играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата и что он играет мастерски; в доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иваныч охотно согласился, прибавя, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова. Иван Борисыч все делал с изумительною скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. Все говорили, что он никогда не ошибался. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и уменьем. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь»,— Петр Иваныч встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисычу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней, то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно; она слушала с вниманием и участием. Иван Борисыч так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова; но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец, она

сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович. Я теперь все знаю; подумаю хорошенько о твоем намеренье и дам тебе совет. Ступай с богом в свой флигель». Иван Борисыч сейчас повиновался, с почтеньем поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали; глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля господня! Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась; как он воображает, что влюблен в нее, любим ею и что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке». Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно, как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями, нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие? Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном: о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисыче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертваго; хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. «Из любви и уважения к ней,— продолжала моя мать,— не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит,— стоит только появиться Марье Михайловне и сказать несколько слов, чтоб беснующийся совершенно успокоился». Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разуменьем.

Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всем происходившем в Старой Мертовщине сначала милой моей сестрице, а потом и тетушке. По моей живости и непреодолимому, безотчетному желанью передавать другим свои впечатленья с точностью и ясностию очевидности, так, чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них,— я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисыча в его бормотанье, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу,

и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила: «Ах, какой проказник, Сережа! Точь-в-точь Иван Борисыч». Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеичем, Парашей и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое уменье передразнивать.

При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображеньем. Все сказки мне нравились; я не знал, которой отдать преимущество! Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Зобеида и потом со слезами обнимает и целует... сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди! С какою жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал, по обыкновению, с увлеченьем и с восторгом,— я потом рассказывал сестрице и тетушке читанное мной с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что, сам того не примечая, дополнял рассказы Шехеразады многими подробностями своего изобретенья и говорил обо всем, мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив вниманье и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанью, я стал перечитывать им вслух арабские сказки — и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун! тебе верить нельзя». Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи; а здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шехеразаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячался; в горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права.

Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная. Морозы без снегу доходили до двадцати градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только

без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ, и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты; в одном углу залы стояло домашнее, Акимовой работы, ольховое бюро; отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьич (по прозвищу, никогда не употребляемому, Мягков), знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле; но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как: Михайла Максимыч Куролесов, через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки, заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным; он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять, как поверенного, во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами: дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образованья к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым, Наталье Сергеевой, которая, по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева, не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то «судоговоренье» против известного тоже доки по тяжебным делам и сбив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьич, обедая в этот самый день у своего доверителя,— вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтенья рукописных бумаг, письма и бессонницы — и ничто уже не могло возвратить ему зрения. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово; но и слепой, он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в сенат, за что получал по-тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я как теперь гляжу на него: высокий ростом, благообразный лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными мед-

ными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтоб он не поцеловал моей руки. И память, и дар слова были у него удивительные: года, числа указов и самые законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке о двух горницах с кухнею, выстроенном им на свой *кошт*. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку; слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда потчеваньем его дочки и жены, которую обыкновенно звали «Сергеевна»; но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство, в соединении с потчеваньем, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьича.

Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтоб отец показал ей *всю свою* семью. Ее требование считалось законом — и мы отправлялись по первому зимнему пути, по *первозимью*, когда дорога бывает гладка как скатерть и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях: я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, Парашей и кормилицей — в возке, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги: она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние; скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными; особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михайла Максимыч (царство ему небесное!) изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенною охотою их до хороших, породи-

стых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивановны. Многие старики приходили с разными приносами: с сотовым медом, яйцами и живою птицею. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из Вишенок приехали мы в село Троицкое, Багрово тож, известное под именем Старого, или Симбирского, Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы (так называл их Евсеич) и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала: «Как это могли жить в такой мурье и где тут помещались?» В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе пять дочерей. Видно, небольшие были требования на удобства в жизни. «Это, Сережа, наше родовое именье,— говорил мне отец,— жалованное нам от царей; да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное, неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не знаю отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками: «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших!» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян — и заплакала; отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них «хлеб-соль». Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев.

Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил; мы легли рано спать, и поутру, за несколько часов до света, выехали в Чурасово, до которого оставалось пятьдесят верст.

ЧУРАСОВО

Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новая

и неосвященная, красные крыши господского огромного дома, флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками — бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целою толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны, по обыкновению, много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос: «Да где же они? давайте их сюда!» Двери из залы растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину, в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «Насилу я дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила нашу общую *благодетельницу* и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечною любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою, прослезившуюся от внутреннего чувства, мать; ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка!» — но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю,— проговорила она как-то резко,— успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену!» Наконец, она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим!» — и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее вниманья и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы,— продолжала она так же весело.— Я не охотница целовать ребятишек. Ну, да покажите их мне сюда к свету» (на дворе начинало уже смеркаться). Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович: Сережа похож на дядю Григорья Петровича, девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную; в дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обниманья и целованья. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка, но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием: стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди; на потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из

алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шехеразаде; к стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками; множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна, в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра! Отведи же Софью Николавну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитанье Прасковьей Ивановной; она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая — в спальню; спальню также отдали нам; в обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа: их занимали иногда почетные гости, обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина (его дочь, по словам Александры Ивановны), тогда как в окошко с железной решеткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие; на одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовою решеткою и бронзовыми полосами и с финифтяными бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальни перенесли большую двойную кровать, также красного дерева с бронзою и также великолепную; вместо кроватки для меня назначили диван, сестрицу же с Парашей и братца с кормилицей поместили в спальной, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распорядясь и поручив исполненье Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим, на полу стоящим, зеркалом, какого я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную; она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы очень ее полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно о Багрове, о бабушке и тетушках.

Я не поскупился на рассказы, и в тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей уфимской и деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах.

Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца: золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах — так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая,— смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся; но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит; я смутился, даже испугался и, завернувшись с головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею — она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу; он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключение равнодушно сказал: «Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня.

Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную, горничную или барскую барыню, спросила: «Можно ли видеть тетушку?» Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает вас всех видеть», и мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвища «замухрышки» и «чернушки», данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне с сестрицей дала поцеловать руку и сказала: «Это так, для первого раза я принимаю вас у себя в спальной. Я до ребят не охотница, особенно до грудных; крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах; я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать; маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николавна, живи у меня в доме, как в своем собственном: требуй, приказывай — все будет исполнено. Когда тебе захочется меня видеть — милости прошу; не захочется —

целый день сиди у себя: я за это в претензии не буду; я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя, как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала потчевать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволенья еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «А, ты охотник до картинок, так ступай с своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диванную: она лучше всех расписана; но руками ничего не трогать и меня бабушкой не звать, а просто Прасковьей Ивановной». Отчего не любила она называться бабушкой — не знаю; только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках; но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой комнаты, показавшейся мне в то же время как-то темною и невеселою, вероятно от кисейных и шелковых гардин на окнах. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синею материей! Какая огромная люстра висела посередине потолка! Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты! Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов! Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди! Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до полу с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, чурасовский дом должен был показаться мне, и показался, дворцом из Шехеразады. Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно; но зато она понравилась мне больше всех комнат: широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешанные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали

много света и придавали веселый вид комнате. Прасковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей.

Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня, всеми диковинками и сокровищами (как я думал тогда), украшавшими чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтоб передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской[1] сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что *тетушка* занята очень разговорами с моим отцом и матерью и выслала ее, прибавя: «Изволь отсюда убираться». Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и, чтоб утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала: «Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой, и я уже привыкла ее так звать. Я ей такая же родная, как и вы: только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники». Я ничего не понял; грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно; но ненадолго! Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне, и я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Экой ты дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрово. Я подумал: «Ну, что говорить о Багрове после Чурасова?» Но не так, видно, думала Александра Ивановна и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя: как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли; как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово и как живет она у ней вместо приемыша уже шестнадцать лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которой я еще не знал, и стала нас ласкать и целовать; ее называли Дарьей Васильевной; ее фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно: платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платья обыкновенно дарила ей Прасковья Ивановна *с своего плеча* и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась,

---

[1] Так стали называть бывшую некогда спальню Прасковьи Ивановны.

К стр. 160

да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась; но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и смешная женщина. Прасковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с Парашей и кормилицей. Александра Ивановна, шепнув мне тихо: «Пришла все выведывать у слуг»,— ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «экой ты дитя», принялся вновь рассказывать и описывать гостиную и диванную, украшая все, по своему обыкновенью. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которую она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Ивановне, об Александре Ивановне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно то же, что и я, и мы с ней всегда во всем были согласны.

Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности — занимать гостей, которых на этот раз было человек пятнадцать. Между прочим тут находились: Александр Михайлыч Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, г-н Петин с сестрою, какой-то помещик Бедрин, которого бранила и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, М. В. Ленивцев с женой и Павел Иваныч Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой; это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Прасковья Ивановна их очень любила: оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Миницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в двадцати пяти верстах от Чурасова, возле самого упраздненного городка Тагая, и потому езжали к Прасковье Ивановне каждую неделю, даже чаще. Миницкие в этот день, вместе с моим отцом, приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их, как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами и водила нас обоих с сестрицей в гостиную. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои Багровы, прошу любить да жаловать. А как Сережа похож на дядю Григория Петровича!» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Миницких, которых я уже знал, мне не очень понравились; особенно невзлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза. Прасковья Ивановна

беспрестанно ее бранила, а та смеялась. Все это показалось мне и странным и неприятным. Перед самым обедом нас отослали на *нашу* половину: это названье утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью, кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна, и то мы обедали не одни, а с дедушкой, бабушкой и тетушкой, и мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства; она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем,— прибавила она,— со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться десять человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались и почти дрались между собою; к ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме; на лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то наглядeлись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумленье и даже страх от наглого бесстыдства и своеволья окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это? Господи! куда мы попали? Хорош господский, богатый дом! Да это разбой денной!» Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорыч, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представленья и требованья, что «надобно же детям кушать», не обращали никакого вниманья, а казначей, человек смирный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю господа моего бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». Евсеич пришел в совершенное отчаянье, что дети останутся *не кушамши*; жаловаться было некому: все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего, он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел Параше запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из багровских, велел сварить для нас суп

и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтоб немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтоб донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно солгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь, хотя она вообще хорошо знала чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтоб могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле, рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась и что это давно известно Прасковье Ивановне, а Михайлушка, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большою важностью сказал, явно стараясь оправдать лакеев, что это ошибка поваров, что кушанье сейчас подадут и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощенья в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица, и что дети поедят после (она уже слышала, что нам готовят особое кушанье), и что тетушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увел нас из столовой, приказала, чтобы мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтоб чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица.

Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые; этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда выросту, буду принадлежать к числу господ и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого *просить* об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такою великою

госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней? Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай — все будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны; но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращенье. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях. Но все мои вопросы об Александре Ивановне, об ее положении в доме и об ее отношении к благодетельнице нашей Прасковье Ивановне мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем смирный буфетчик и Евсеич принесли нам обед; позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно, особенно потому, что маменька сидела с нами.

После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство, состоявшее в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и проч. Сверх того, у меня был удивительный ларчик, или шкафик, оклеенный резной костью, в котором находилось восемь ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камешками, всегда называемыми мною штуфами. Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с удилищ, также занимали один из ящиков. Все восемь ящиков запирались вдруг, очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь, неизвестно в который раз, все мои драгоценности.

Потом приходил к нам отец; мать сказала ему о нашем позднем обеде; он пожалел, что мы были долго голодны, и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет.

Вскоре после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленною и сейчас после нашего детского ужина легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине и порасспросить кое о чем, казавшемся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что все обнимала ее и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку.

Я не мог расслушать всех разговоров, но хорошо понял,

что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала, оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов.

Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжение прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне: хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые, речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить и в которой она видела только капризность и странности. Мать, в свою очередь, пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться; что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит; что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза; что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили; что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст; молится богу по капризу, когда ей захочется,— а не захочется, то и середи обедни из церкви уйдет; что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники; что первое ее удовольствие летом — сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты; что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается; что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтоб она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того чтоб она могла жениха найти, Прасковья Ивановна и слышать не хотела и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи

Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такою умною, ласковою и правдивою. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить, ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая; а это все пустяки, одни недогадки и кривое толкованье. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны.

Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина и что явление такой личности в *то* время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже двадцать лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственною чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой; она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала; этого мало,— она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения, она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михайла Максимова, но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука; он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю, но знаю и то, что он человек умный и незлой. Я хочу одного, чтоб мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб их слы-

шать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, но на мой век станет, да и наследникам моим останется». В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороною справки о них в соседних деревнях, через верных и преданных людей. Ее крестьяне действительно жили богато, это знали все; но многочисленная дворня, вследствие такой системы управления, дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты; не годится — *спустить в крестьяне*. Замечала ли нескромность поведения в женском поле, она опять приказывала Михайлушке: отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтоб могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую; а как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном. Прасковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме божием; знала наизусть весь церковный круг, сама певала со своими певчими, стоя у клироса; иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела; впрочем, это не мешало ей во время говенья по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она говаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик [1], чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в великий пост, а как ей вздумается, раза

---

[1] То есть *шестьдесят* или *девяносто*, как теперь выражаются технически игроки.

по два и по три в год, не затрудняясь употребленьем скоромной пищи, если была нездорова; терпеть не могла монахов и монахинь, и никогда черный клобук или черная камилавка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни; но, узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уваженья, помогала щедро, а как люди, достойные уваженья, встречаются не часто, то и вспоможенья ее были редки и Прасковью Ивановну вообще не считали доброю женщиною. Надобно сказать правду, что доброты, в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости — в ней было мало, или, лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, не много было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Миницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато: всем говорила «ты» и безо всякой пощады высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали, более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участия в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстие расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться; итак, это необыкновенное стечение гостей можно объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива: лгунов заставляла лгать, вестовщиков — рассказывать вести, сплетников — сплетни; что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме: Дарьей Васильевной и двоюродной внучкою-сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно — они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глухая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшее отношение, много испытывала огорчений, и только дружба Миницких и моих родителей облегчала тягость ее положения.

Я описывал Прасковью Ивановну такою, какою знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какою она

долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей.

Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы: гости сменялись одни другими, то убывали, то прибывали. Мать с каждым днем приобретала бóльшую благосклонность Прасковьи Ивановны, с каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Миницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иваныч Миницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил; страстно любя свою красавицу жену, так же любившую своего красавца мужа, он с удивительной настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами, ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николавна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гостья уже вполовину обедала с детьми, она посмеялась и перестала ее потчевать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поутру: Александра Ивановна или Миницкие, если не были заняты, приходили к нам в кабинет; дамы ложились на большую двуспальную кровать, Миницкий садился на диван — и начинались одушевленные и откровенные разговоры, так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девичьей с лакейской, в детскую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались; но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы; иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или сумароковских трагедий. Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются; это мне не нравилось и потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине, я отвечал, что мне досадно, когда поднимают на смех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами; он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или

призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об именье, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец ездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу, он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то — и не один раз.

Еще прежде отец съездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я расспросил его очень подробно, и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было.

Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека; я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и, с позволенья Прасковьи Ивановны, по выбору матери, брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад, халдейская повесть», не помню, чье сочинение, и «Нума, или Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна; они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом мне удалось заглянуть в «Алькивиада», в «Графа Вальмонта, или Заблуждение рассудка» и в «Достопамятную жизнь Клариссы Гарлов». Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать, и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец, тут же попались «Мои безделки» Карамзина и его же издание разных стихотворений разных сочинителей под названием «Аониды». Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст.

Чтение всех этих новых книг и слушанье разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться: для думанья же я имел довольно свободного времени.

Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать и о чем спрашиваю; он частехонько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охота узнавать:

отчего, да почему, да на что? Этого и старики не знают, а ты еще дитя. Так богу угодно — вот и все. Пойдем-ка лучше посмотрим картинки».

В этом роде жизнь, с мелкими изменениями, продолжалась с лишком два месяца, и, несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин и на которые я не переставал любоваться; несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна и которые я слушал всегда с наслаждением; несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением,— эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом; я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главною причиною скуки, ясно и тогда мною понимаемою, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце, привык поверять свои впечатления ее разумным судом, привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие и особенно Александра Ивановна; они даже отвлекали от меня внимание матери,— и много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения: это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее; ее дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Не сознаваемою мною тогда причиною скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет; мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал; верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал; хорошо, что маменька не послушалась. Итак, весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать, в этой мурье? — говорила она.— Свекровь по тебе не стоскуется, а золовки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила; но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из

Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молотьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить. Прасковья Ивановна отвечала, что все это «враки»,— и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николавна,— говорила она,— ты еще не видала моего Чурасова; его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хоть я до них и не охотница; а всего бы лучше чернушку, меньшого сынка, оставить у бабушки, пусть он ревет там вволю. Если не приедете — осержусь». Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания, бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармонии», «Нума, или Процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды» — и этим подарком много примирила меня с собой. Мы уехали на другой день рожденья моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять тою же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали с лишком восемь дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и — ежедневный буран; дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово к Кальпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через два я увидел с горы уже милое мне Багрово.

БАГРОВО ПОСЛЕ ЧУРАСОВА

Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окруженное тощей, голой уремой, а с четвертой — голою горою, заваленное сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб,— Багрово произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело;

вокруг них и на улице снег казался мелок: так все было уезжено и укатано; господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком; около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что к каждому надо было выкопать проезд; господский двор, по своей обширности, еще более смотрел какой-то пустыней; сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным... Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветным лаем; две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью; тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка — еще больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что «не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николавну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить». Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которою не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери, мы нашли целую половину дома холодною. Бог знает из какой экономии, бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего: мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.

Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни, вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том и о другом с своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали сбегать к Пантелею Григорьевичу и Сергеевне; но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу; но Пантелей Григорьич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мирволить тутошнему помещику

и что без правительствующего сената не обойдется; что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степаныч,— сказал в заключение Пантелей Григорьевич.— Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальною точностью.

Погода становилась мягче. Пришла масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху; но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной; с нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали.

Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие: Палагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой; она сама была претолстая и не очень старая женщина, сын же ее — урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещенья. Палагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Мать моя принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка; но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение: в назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей: комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны; деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья; тетушка разряжена в лучшее свое платье; даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которою она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним

словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила, отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичьей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть! Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась; потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданый Николай, а также Мазан и Танайченок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо; когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтоб видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара! Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказав: «Эк буря! посытее будет Мавлютки»,— повел нас в наши комнаты.

Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба — были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тетеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.

Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боял-

ся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что «Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не бессчастна будет его половина». Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он, того и гляди, повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты — и дальнейшего формального сватовства не было.

ПЕРВАЯ ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ

В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и *страстно любившие* природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи... Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые

струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая Грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню»,— вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, *дичь* — по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковных уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников... Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно

спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурная, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец, Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!». Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенье у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, поняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич.— Эки стаи! А кряковных-то! батюшки, видимо-невидимо!» — «А слышишь ли,— подхватывал мой отец,— ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно... туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!» Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслажденье!.. и все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать

сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.

Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затрудненья пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье, каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.

Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказами Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усып-

ления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Палагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных»,— села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве...» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек»[1]. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Палагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Палагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины страстной недели, Палагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали почевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень

---

[1] Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Палагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно, переводных выражений, с приемами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц — показались мне стоящими вниманья.

Примеч. молодого Багрова.

Чтоб не прерывать рассказ о детстве, эта сказка помещается в приложении. *С. А.*

трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» — и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале, в се́рпухе и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.

Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого роду одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу,

перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела, в шелковом платке и шушуне, на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья *петой* пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.

Отец с тетушками воротился еще до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей — только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами,— все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину.

Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и стари́цах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька-рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой — направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в стари́це будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в стари́це и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направленье и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого вниманья, а может быть, и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят... Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в стари́цу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою... Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег... но никто не показывался

на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушкина Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народа с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через стари́цу и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть,— прибавила Параша,— на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».

Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома; но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда,— произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка». Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и, как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные, люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодо́го Болтуненка: «Нашел!» — заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащил его труп. Оказалось, что утонув-

ший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой стари́цы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение — я сладко заснул.

Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою *земляною водою*, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волненье, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.

Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плеча, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми *сон*, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветов; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце,

которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал...

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыплят и как коршуны кружились, плавали над ними... О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал я не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидя в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Сережа,— сказал он мне,— теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»

Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Со-

ловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.

Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся,— сказала она мне, лаская и целуя меня в голову,— а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяние; я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал ей всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время, и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она — что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком... В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он встревоженным голосом. Мать молчала;

но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало...

Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, головли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принесть, по крайней мере, пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю».

Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теперь погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним.— Кивацкий

пруд пронесло, и его нескоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями — прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы,— что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить — и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком *азарте*! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадать-

ся и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру».— «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.

Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку). Они неравнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна — удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.

Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об уженье, называя его забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою, приличною только детскому возрасту, и мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь, друг мой?» — и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности, уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя,— эти слова возгордили меня, и я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать уженья на пруду: отец сказал мне, что через два дня его запрудят, или, как выражались тогда, *займут заимку*. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды

и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич — двух.

Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на пруд меня мать не пустила,— также представило мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вешняк и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб, мальчишек и девчонок; последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.

Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода еще была *жирна*, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнею глубокою, многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорченье. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила,— и получил в ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бранился, но что веселого крику и шуму было много... Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить.

Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усильной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье

лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье, я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы, или *кулиги*, дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота,— и он показался мне еще прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако, глубоко поразили меня.

Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед,— я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удов-

летворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду,— и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился; наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать — я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.

Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиною этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом — мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили; они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что «братец — все, а она — ничего»; но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры, и никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души.

Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка, или, лучше сказать, тетушка; мать заказывала только кушанья для себя и для нас; но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили (кроме Евсеича и Параши), хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать.

По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большею частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без

старушки Мертваго; разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной, даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове: эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.

Петр Иваныч Чичагов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье и собаку и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту; они принесли полные ягдташи дичи. Петр Иваныч все подсмеивался над моим отцом, говоря, что «Алексей Степаныч большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички — так это его дело: тут мясца побольше». Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять — не привык, и что Петр Иваныч, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится... Петр Иваныч громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иваныч и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа,— так начинал он свой разговор,— как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братией новых стихотворцев?» Это значило, чтоб я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иваныч над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно; к сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтенье, или декламация, как он называл, очень его забавляла. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаич особенно любил передразнивать московских трагических актеров — и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение! Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Иванычем Чичаговым. Этот не-

обыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманью тогдашних писателей.

Впоследствии, когдя я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатровым. Первого куплета помню только половину:

. . . . . .
Перлово-сизых облаков.
Иль дав толчок в Кавказ ногами
И вихро-бурными крылами
Рассекши воздух, прилети;
Хвостом сребро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.
Но вдруг картина пременилась,
Услышал стон я голубка;
У Лизы слезка покатилась
Из левого ее глазка.
Катилась по щеке, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в стары веки
На слезы скупы человеки,
Но люди были ли тогда?
Когда... девушке случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно ей о нем, казалось,
Ручьями слезы горьки лить.
Но нынче слезы дорогие
. . . . . .
Сравнятся ль древние, простые
С алмазной нынешней слезой?

Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой,— сказал он мне потом с живым и ясным взглядом,— ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума».

Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах.

Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки лошков, пескарей и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора; далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачовую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада; она служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых, через несколько лет, я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью, на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение; приносила иногда свой «Песенник», читала сама или заставляла меня читать, и как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братией, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова[1].

Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но, я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду; стук толчеи, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам

---

[1] Песня III. Она начинается так:

Не пастух в свирель играет,
Сидя при речных струях;
Не пастух овец сгоняет
На прекрасных сих лугах...
и проч.

затихавший, казался ей однообразным и скучным; сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев с час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни; унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа «Софья Николавна посетила остров».

Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали на неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому Потаенному колку, состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип,— колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновенье перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил: «Что это такое?» — «А вот увидишь!» — отвечал отец, улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его — чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точенья кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь!» — громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» — огласило поляну, отозвалось в овраге,— и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами! В этой работе было

что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах! Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!»[1] По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, неслось воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны... Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появленье и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованьем своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» — раздавались голоса косцов, прерываемые и заглушаемые иногда шар-

---

[1] Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком несжатом хлебе: как тут прошел медведь! Я думаю, что словом «медведь» выражалась *сила*, то есть плотнина, вышина и вообще добротность травы или хлеба.

каньем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.

Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верной моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюденьях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собиранье червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки «Детского чтения». Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах; иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, выживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками... Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись «Римская история Роллена» и Домашний лечебник Бухана; а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском (о фосфорическом блеске я знал также из «Детского чтения»), мы ловили их и держали в ящиках или бу-

мажных коробочках, положив туда разных трав и цветов; то же делали мы со всякими червяками, у которых было шестнадцать ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали, себя хвостиком к крышке или стенке ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя — и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида, а лежала всегда темного цвета, настоящая крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых, висячих, хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих,— ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращение хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая, куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка — но радость была необыкновенная!

Наконец поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бранилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.

В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погреба и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбереженья от моли разные платья мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися

от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти середи двора, перед ее окнами; ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо; около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и т. п. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины, фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками; в одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом; в другом — стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом; из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешенными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрену, которая ужасно испугалась, увидя меня выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали? — сказала она с сердцем.— Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволение все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать; но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала все, и, когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большою точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку; а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь все, что вы ни видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила! Сахар-то лед двадцать крадет да копит. Поди чай, у нее и чаю и кофею мешки висят?..» Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках, она принялась

плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николавна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал,— продолжала она, утирая слезы,— за сердце взяло: жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели... Ну, пропала я совсем!» — вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке, но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. «Вот моя умница,— сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу,— она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал «ей-богу» в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довесть до божбы, которую мать моя строго осуждала!

Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен, и в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет Матрешу». Слово «прибьет» меня смутило; я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если б не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, в чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко; к тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание: если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтоб она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параши, для того, чтоб она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать.

Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в

восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье; все удивлялись и спрашивали меня о причине,— я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перемок необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке *мост мостом*, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно *ломать* грузди.

В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была *запевалой*. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками и называла «умницей» и «милым барином». Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матреше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил: «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо: «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матреши заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду. Лес точно ожил: везде на-

чали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матреши были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями,— и вдруг закричала: — Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их,— они хрупки и ломки. Посмотри: точно пухом снизу-то обросли и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не заслышали издали фырканья и храпенья лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки; последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места на животном, не защищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясенье все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела

на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеича и Матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус: она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые, и, найдя в кузове Матреши пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде.

Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матреши и как всем было весело; но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений, точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил; но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаяньем, а потом успокоился и даже уверил себя, что маменька огорчилась бы словами Матреши и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснения, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее,— я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда.

Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный, семидесятинный чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна! Приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось! На меня, Алеша, не надейся,— я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану: больно речист».

Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания — было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда, вместо 1 августа ехать 10-го, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что по тяжебному делу с Богдановыми отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николавну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровом и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, а всего более — с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Куроедов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно пятнадцать лет) отложила совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью; клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтоб посмотреть — довольно ли корму у моих голубей и есть ли вода в корытце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркованье. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать сбиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращенья, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2 августа, после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечение маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же, знакомой читателям, аглицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.

ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА В ЧУРАСОВО

Ровно через три года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. Три года для восьмилетнего возраста значат очень много, и можно было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной, живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. Три года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, не виданные мною, предметы и явления в природе; самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные «Счастливые острова», которые открывал Васко де Гама в своем мореплавании, о которых читал я в «Детском чтении». В настоящую же минуту я оставлял Багрово, которое уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты — и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же две комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал; ни уженья, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется; вдобавок ко всему, я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости; слово «гости» начинало делаться мне противным... Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален; ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрово, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова: она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова,— и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам; что в Чурасове такой сад, что его в три дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками; что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и

с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова; мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось, и когда мать спросила меня: «Не правда ли, что в Чурасове будет лучше?» — я ту ж минуту отвечал, что люблю больше Багрово и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще мал и ничего, кроме Багрова, не видывал, а когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду то же говорить. «Ты еще глуп»,— возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием таких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога.

Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна. Во-первых, потому, что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь; во-вторых, потому, что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны четыре удочки с удилищами; мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа.

На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кондурче, которая была немного поменьше Сока, но так же красива, омутиста и рыбна. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать о Багрове. Мать, которой, без сомнения, наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас; сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов, так что шум воды, падающей с мельничных колес, и даже гуденье жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного. Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из Красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену: мы запаслись ими для уженья — и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вешняком, около свай и кауза. К прискорбию моему, я не мог участвовать в такого рода уженье: оно было мне еще не по летам, и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком, безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело воз-

вращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она (то есть Параша) по кустам мелкой уремы, растущей около живописной Кондурчи.

Мать чувствовала себя здоровою и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева, принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делались веселы; это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее; даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее.

На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозною плотиной, без чего летом не осталось бы и капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива, к тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб; кое-где торчали высокие коромысла колодцев, но вода в них была мутна и солодковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз, только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычанье коров и блеянье овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще бóльшая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, состоящей в иных местах из трехаршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Все у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много

и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг — ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник — и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе». Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание.

Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине так же лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе: картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши.

После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля; здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в Вишенках поспевает двумя неделями ранее, зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю, как принялись жать яровые: пшеницы и полбы. Поля были очень удалены, на каком-то наемном участке в «Орловской степи»[1]. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь.

На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, «где рыба так и хватает, даже берут стерляди», как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшею просьбою *откушать* у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно; прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой! Какой это был для меня удар, и вовсе неожиданный! Мелькнула было надежда, что нас с сестрицей не возьмут, но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не подойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее

---

[1] Название «Орловской степи» носила соседственная с Вишенками земля, отдаваемая внаймы от казны, но прежде принадлежавшая графу Орлову.

платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой, с форейтором и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись; мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такою нарядною, какою я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу! Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери!

Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по-тогдашнему новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору; бесконечный старый сад, с прудами и речкою, примыкал к нему с одного бока; главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, а потому был очень поражен и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов англинских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы: они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями и еще великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания, и я из дворца англинского лорда перелетел в очарованный замок Шехеразады. В зале встретил нас хозяин, самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную.

Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах — все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с никольским дворцом. При первых расспросах узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимный хозяин стал упрашивать мою мать послать за ней коляску; мать долго не соглашалась, но принуждена была уступить убедительным и настоятельным его просьбам. Между тем Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями; он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких

здесь не видывали; я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю». Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны!» Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям: диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней пристановки и что ранней — все давно сошли. Тут Параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а Параша проворно воротилась. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой... Это напомнило мне давнопрошедшие истории с Волковым; и хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким дитятей, и теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины, но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало мое ухо.

Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать: «Кто это?» — и она успела шепнуть мне, что это *главный официант*. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другую повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно: посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами; граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принесть для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которою заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стрелядей нет во всей России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке,

я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами и откуда вылетали чудные, восхитительные волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары... Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел... Трудно было мне вполне повиноваться! Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня.

Не много съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели (я отвечал им поклоном) и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло: слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матреша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам катанье на лодке с роговой музыкой по Черемшану, приговаривая, что «таких рогов ни у кого нет», но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долее удерживать; очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет.

Воротясь, мы поспешили переодеться и пуститься в дальнейший путь. Во всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца, и особенно мать, обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец, я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском. Я обратился к отцу и вполголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае и мои собственные замечания и догадки. Вполне не разрешенными вопросами остались: отчего вода из фонтана била вверх? отчего солнечные часы показывают время?

как они устроены? и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты? Когда же я спросил, кто такие эти красавицы барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пенью в Москве. Что же они такое пели и на каком языке — этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов, но, увидя, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу; что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи; что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку: «Ты точно был крестьянский мальчик, который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом». Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал и потому и был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил, для чего не надобно его показывать. «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя»,— сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится, и замолчал; мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр, в двенадцати верстах от Симбирска и в десяти от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтоб переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер.

Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло. Было очень прохладно, и даже в карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость от прудов или болот, всегда имеющая неприятный запах. Двухверстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и можно было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мартышек с криком вились над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтоб поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом, на высокой

горе, покрытой сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид; но я мало обращал на него вниманья. Около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться *благополучным временем.* Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтоб он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега. Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех девять лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали; привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно, и каждую пару держали за поводья наши кучера и люди: с нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться, и вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взводись выше, молодцы! — кричал с берега староста.— Надо убить прямо на перевоз». Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, то темнела, то светлела,— и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую косную лодку, шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно; мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла, сначала также вверх; но, проплыв сажен сто, хозяин громко сказал: «Шапки долой, призывай бога на помочь!» Все и он сам сняли шапки и перекрестились; лодка на минуту приостановилась. «С богом, на перебой, работайте, молодцы»,— проговорил кормщик, налегши обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла; опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною, но я боролся с ним и скрывал, сколько мог; когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на *стрежень* реки и страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку,

нашу косную лодочку,— я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить, подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало. Завозня с нашей каретой плыла еще посредине Волги; маханье веслами казалось издали ребячьей игрушкой и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около нас, по крутому скату, были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все *падаль;* кое-как, однако, нашла она с десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрезала его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке. Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычко стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом: меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки, но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок; живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволенне подержать их, по крайней мере, в руках. В ближайшей церкви раздался благовест, и колокольный звон, которого я давно не слыхал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец и наша завозня с каретой и лошадьми, которую, точно, несколько снесло, причалила к пристани; экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей; отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или, лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую, крутую и косогористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу; во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались неимоверные усилия; это был подвиг, даже небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас; чтобы остановиться как-нибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям, надобно было

подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись: без того карета стала бы катиться назад. Потом все взошли, пешком же, на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету. Мать устала и не могла более идти и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком. Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту исполинскую гору[1]. У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михайла Максимыч, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным; но после никольского дворца я нашел его не стоящим внимания.

Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись; выкормили только лошадей да поели стерляжьей ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил: до того ли мне было!.. Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово, и на другой день около полден туда приехали.

Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась; особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николавна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору; да, чай, и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок?» Мать с искреннею радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если б от нее зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александра Ивановна Ковригина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать Миницким, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих.

Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен: яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью; под многие

---

[1] Впоследствии этот въезд понемногу срывали, и он год от года становился положе и легче; но только недавно устроили его окончательно, то есть сделали вполне удобным, спокойным и безопасным.

ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок; она водила нас до самого обеда то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинною рогулькою лучшие спелые яблоки и потчевала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала потчевать, говоря: «Ты этак, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другою женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сиденьем в своих комнатах и стали иногда ходить и бегать везде; вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось то же. На другой день приехали из своей Подлесной Миницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью, как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Миницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада, осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи; но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница. Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе, а все добытое таким трудом, все искусственное ей не нравилось; она только *терпела* оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В чурасовском саду всего более нравились мне родники, в которых я находил, между камешками, множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины; у меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад — еще более, и я стал с грустью вспоминать о Багрове, где в это время отлично клевали окуни и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большею свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как-то: «Векфильдский священник», «Герберт, или Прощай богатство».

Особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска»: интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель.

Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась.

Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые; в ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты:

Пастухи бегут ко стаду,
Всяк с подружкою своей;
Мне твердят лишь то в досаду:
Нет, здесь нет твоих друзей.

На поля зефиры мчатся
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Нет, здесь нет твоих друзей.

Травка, былие, цветочек,
Желты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.

Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей:
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.

И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинства и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила.

С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью.

Чурасовская лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь, и услыхав или увидав кое-что новое и любопытное — захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова.

Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были: Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем; и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав имел он горячий и веселый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками. Один раз, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго

общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н. Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он «мертвого рассмешит». Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А. П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М. Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас выходили прежаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил кн. Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился[1], особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:

Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь.
Ты беден — следственно, терпи.

Блаженство даром достается
Таким, как ты,— на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден — следственно, терпи! и пр.

Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:

Я

Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает...

[1] Надобно признаться, что и теперь, не между детьми, а между взрослыми, заслуженными литераторами и дилетантами литературы, очень часто происходит точно то же.

Миницкая

Все так, да мне луна милей.

Я

Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Все вдруг цвести, рождаться станет...

Миницкая

Все так, да мне луна милей... и пр. и пр.

Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я — окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:

Вперед не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее
Любезной женщины слова.

Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довел свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голоском своим, не заботясь о мере:

Все так, да Долгорукой мне милей!

Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по *приказанию тетушки*. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего

не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах — напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения, противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам,— нисколько не успокоивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьич в Багрове.

Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое,— говорила она,— матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знаменью». Отец мой докладывал, что до знаменья, то есть до 27 ноября, еще с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».

Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более и более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П. И. Миницкий и А. И. Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтоб она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел покров. Проснувшись довольно рано поутру́, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень

больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не *дурной* и что «праздничный сон — до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их — совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба, священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились; но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго

было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все. Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» — встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К покрову отец обещал приехать, в покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов,— до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не бог ли посылает их? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались.

Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость божию. «Я надеюсь,— между прочим сказала она,— что господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою и что в день покрова божией матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне...»

Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний, мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.

ОСЕННЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шел мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы останови-

лись в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга... страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые около песчаных отмелей и черные посредине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли *беляки:* так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути — леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа, стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно конечно, доставить можно, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются». Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!». «Ну, посмотри на сестру,— продолжал он,— ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее: «Ты не боишься? хочешь ехать?» — она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец

все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж таперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у Гусиной Луки[1] и завтра навряд им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы — все было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать. Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.

Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездушка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!.. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мертв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом кверху, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли

---

[1] Гусиною Лукою назывался длинный залив позади песчаной косы.

только четверо, а двое гребцов выливали воду, один — каким-то длинным ковшом, а другой — шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник,— говорил мой отец,— как мог ты подать нам худую лодку! Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С успеньева дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердуйте, простите, заставьте за себя век бога молить...» — и он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут.

Завозни нашей с каретой еще у пристани не было: предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка; ее вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым; дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и наконец порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б недоглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня; она точно ночевала у Гусиной Луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени: надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели.

Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и

беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокаивать, что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них, потому что их посылает бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни... Но я не умел так рассказать, как она говорила. Наконец мало-помалу отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто верст и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпенье моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по пятидесяти верст в день; потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтоб выбраться поранее из грязного «Одного двора», мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло, мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей; но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал с лишком в полторы четверти; езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только тридцать верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда: мать захворала, и так сильно, что, отъехав двадцать пять верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице! Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешептывались вполголоса между собой и молились богу, чтоб он послал маменьке облегчение.

Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец

высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас И. Н. Кальпинский; отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что матушка?» — «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем»,— отвечал отец. «Приказала долго жить,— преспокойно сказал Кальпинский,— скончалась в самый покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом! Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В покров»,— побледнел, весь задрожал и конечно бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки; она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушке! на ее душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка; как понапрасну звала к себе своего сына; как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провезти тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в семи верстах от Багрова. «Вот бог-то все по-своему делает,— говорила Флена Ивановна Лупеневская,— покойный дядюшка Степан Михайлыч, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайлычем, а пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане, у отца Василья». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла вполголоса, как будто про себя: «Так уже сами не захотели. Все генеральша. И провезти было можно, и подождать было можно, снег-то всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех. Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши; уж так было угодно богу; а вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокоивали хозяйки огорченного сына! Наконец сестры за-

спорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрыми; они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакал о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас потчевали чаем и завтраком; хотели было потчевать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь, мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава богу, теперь Алексей Степаныч спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще часа два и даже пообедали; отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь, и я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца; хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век (ей было семьдесят четыре года); она после смерти Степана Михайлыча ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если б она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной,— с горячностью сказал мой отец.— Зачем она меня не пустила? Из каприза...» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастия. «Правда, правда,— сказал мой отец со вздохом,— видно, уж так угодно богу»,— снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом взъехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой! Как показался

он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу; мутное небо отражалось в них; камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — все пропало. Деревья, берега, мельница и крестьянские избы — все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор (легавая собака, которую я тоже очень любил); я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки; они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.

ЖИЗНЬ В БАГРОВЕ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ БАБУШКИ

Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обниманья и целованья! Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил; он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ерлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об этом говорила; когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши!» Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тетушке Аксинье Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтоб они не оставили Танюшу, и, сверх того, приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощенья. Все это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтоб заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка (царство ей небесное!) была

против меня в чем-нибудь несправедлива. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла испросить у ней прощенья. Но надеюсь, что она, по доброте своей, простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к покрову просила нас приехать и в покров скончалась, что отец мой именно в покров видел страшный и дурной сон и в покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие: в чем могла быть виновата бабушка перед моею матерью и в чем была виновата мать перед нею? Верование же мое в предчувствие и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.

На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степановной уехали в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтоб слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступленный, обнял руками сырую землю, «да так и замер». «Напугал меня братец,— продолжала она,— я подумала, что он умер, и начала кричать; прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое насилу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу; насилу-то он пришел в себя и начал плакать; потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца.

В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу: он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо; но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках — и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано: в нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такою нежною пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки *до нашего приезда* должно было сильно поразить.

В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром, все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер,

отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная; я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такою же, пустою и печальною, какою я видел ее после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы,— каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний; потом подали разных блинов и так же аппетитно все кушали (разумеется, кроме отца и матери), крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал; помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что «покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж,— она будет всегда хозяйкой у меня в доме». Помню также, что оба мои дяди, и даже Кальпинская с Лупеневской, много пили пива и наливок и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул — и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, желтая и худая, но какое счастие выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел! Какие радостные слезы потекли по ее щекам! Как она на меня смотрела, как целовала мои руки!.. Но я с удивлением принимал ее ласки; я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться... Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчеными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам горчичники... Может быть, все это было ненужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств перервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливанья после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит? Сердце сказало мне причину... Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя

на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтоб разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксинья и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались; одна только добрейшая моя крестная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой.

Выздоровление мое тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать; я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти; я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминание и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души, беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в дере́вне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидела мать своего первенца, любимца души своей... Понятен испытанный ею мучительный страх — понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во все остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух; иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое — известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал.

Между тем еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но

продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила или, лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощенья и просила его не сокрушаться, а покориться воле божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот,— писала она,— сама бы приехала к вам по первому снегу, чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная; посторонних ни души, не с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться и скучать бы не стала без Софьи Николавны»,— и проч. и проч. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тетушка! Целый век жить в дороге да в гостях; да эдак и от дому отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, совать-ся в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми». Согласно таким отзывам было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению.

Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать, потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьич (читал ученик его, Хорев), и, наконец, в свою очередь, читать Пантелею Григорьичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в сенат по богдановскому делу. Я слыхал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем, самым почтительным и скромным. Говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слыхал, как он, бывало, начнет приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения — и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: «Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович...» и т. д. Диктовал он очень скоро и го-

рячо, причем делал движения головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слыхал, и подолгу стоял там, прислонясь к печке: Пантелей Григорьич сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на трут и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Хорев (Большак по прозванью), давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов, им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза.

Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал и читал в ее отдельной горнице, где обыкновенно и спал,— там стояла моя кроватка и там был мой дом,— я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко,— и она неприметно уходила при первом удобном случае; а мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». Мне самому так казалось тогда, и я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я.

Поведение тетушки Татьяны Степановны, или, лучше сказать, держанье себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такою, какою была прежде. Из девушки довольно веселой и живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печальна, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степаныч, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтоб она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка,— возразил он,— я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней, при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь

поговорить с вами откровенно об теперешнем нашем положении; сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтобы у вас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтоб вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степановны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться; вы — также; но вам простительно: если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды; но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе; я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего брата; по своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевесть их на вашу землю, которая также хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж; а как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжение нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степаныча, покуда он не выполнит воли своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделаете это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтоб вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтоб вы держали себя со мной, как равная мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать «матушку сестрицу», а может быть, и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее «великие милости и благодеяния». Она прибавила, что «все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет представлено сестрице». Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови,

когда у ней осталась незамужняя родная дочь?.. Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно; я и видеть этого не хочу; это все ваше». Засим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степановны. Тогда только вполне объяснилось для меня положение матери, в котором жила она в семействе моего отца. Припомнив все, слышанное мною в разное время от Параши, и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. Можно себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать! Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более.

Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны, и, к общему удивлению, вдвое длиннее первого! Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтоб мы после шести недель переехали к ней в Чурасово, а великим постом воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель; что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали и, казалось, все были недовольны. Наконец отец мой прервал молчание и первый заговорил: «Как же тут быть, Софья Николавна? Как же нам не исполнить желания тетушки? Ведь настоящих причин к отказу нет? Ведь тетушка прогневается». Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет и что «не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки».— «Где же ты будешь жить? — продолжал мой отец.— Неужели останешься одна в Багрове?» Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись.

Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма

я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось: Евсеич выучил меня крыть лучком птичек, в нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю; Евсеич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородинный куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на точке. «Наклонись, соколик, и нишкни,— шепотом говорил Евсеич, присев на корточки.— Вот как налетят птички получше,— а теперь сидят всё бески да чечотки,— тогда ты возьми за веревочку да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять; через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку, дергай!» Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину точка; но все-таки несколько птичек билось под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич: он во всякой охоте горячился не меньше меня!.. Я скоро выучился крыть хорошо; а как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам, в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечотки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу; поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой — было для меня истинным наслаждением. Иногда, не довольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б мать не присылала за мною или Евсеич не уводил насильно в горницу.

На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно,

как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтоб все было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твердою в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрице будет там несвободно и скучно. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно: как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбара и не украли бы все ее добро, которое она «сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы». Она просила у моего отца лошадей, чтоб хоть кое-что получше заблаговременно перевезти в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки.

Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил обходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними; но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. Зато, чтоб утешить меня, он приказал Танайченку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтоб при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вон где лежит русак, Сережа!» — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут делать». Народу было с нами человек двадцать; одни зашли сзади, а другие с боков и, таким образом подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холудинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себе с сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу, я также кричал во всю мочь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерой русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине... я задыхался от восторга, сам не понимая его причины!..

И от всего этого надобно было уехать, чтоб жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней

противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших, уже опостылевших мне, комнатах; да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя собственно для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела.

Прошло сорок дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе «сорочинами». Несмотря на то что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в Мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом был обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз: гости пили, ели, плакали, поминали и — разъехались.

Вот уже выпал довольно глубокий снег и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец получили известие, что Волга стала и что чрез нее потянулись обозы. Назначили день отъезда; подвезли к крыльцу возок, в котором должны были поместиться: я, сестрица с Парашей и братец с своей бывшей кормилицей Матреной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери; настряпали в дорогу разного кушанья, уложились, и 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа. Я плакал, сидя в возке. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать с Александрой Степановной в Каратаевку.

Переезд из Багрова в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд,— бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтоб доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид никольского замка, или дворца, напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение... Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец

мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими; но в этот раз попался нам хозяин — необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было,— говорил хозяин,— чушка-то что ни лучшая сдохла. Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милосливый, до всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского; уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин; уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца, вода преотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одеты в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну всяк, кто ни едет, и конный и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали; говорят, что непригоже». Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде; многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня; я вывел заключение и сделал новое открытие: крестьянин насмехался над барином, а я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особенное внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли и они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя наши ручки?.. Я сообщил мое намерение матери. Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич служат нам очень усердно, а что они про нас думают — я и знать не хочу». Но мне было любопытно узнать, и я не оставил своего намерения.

На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, *наголо*, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого *сала*, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри[1]. Признаюсь, я не мог

---

[1] Редко бывает, чтоб большая река становилась без снега. Я один раз только видел Волгу в таком виде, в каком описывает ее молодой Багров.

смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья. Тут вода не мерзнет. Это Волга дышит, оттого и пар валит; а чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как ни любопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном: что мы, того и гляди, провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги.

В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен.

Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица! Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать; даже нас всех перецеловала, чего никогда не делывала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и чернушка здесь! — говорила она смеясь.— Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши? Милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет? Одичала и уперлась. Верно, уехала в Каратаевку? Ну, вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово. Ну, слава богу, насилу вас дождалась. Пойдемте прямо в гостиную». В зале и гостиной встретили нас неизменные гости.

Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнею жизнью. Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем употчевать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши, и он сказал мне: «Да, видно, надоели. Больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне

убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды.

Миницкие не замедлили приехать и привезти с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до вечера мы были неразлучны с сестрой, потому все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие.

Что касается до вредного влияния чурасовской лакейской и девичьей, то мать могла быть на этот счет совершенно спокойна: все как будто сговорились избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде, и Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше! Стали нас побаиваться!»

Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможною деревенскою пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться; некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь и наступил новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на две недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну, так сбирайся». Я обещал собраться в полчаса, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего две недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе: мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за нею ходить своей любимой гор-

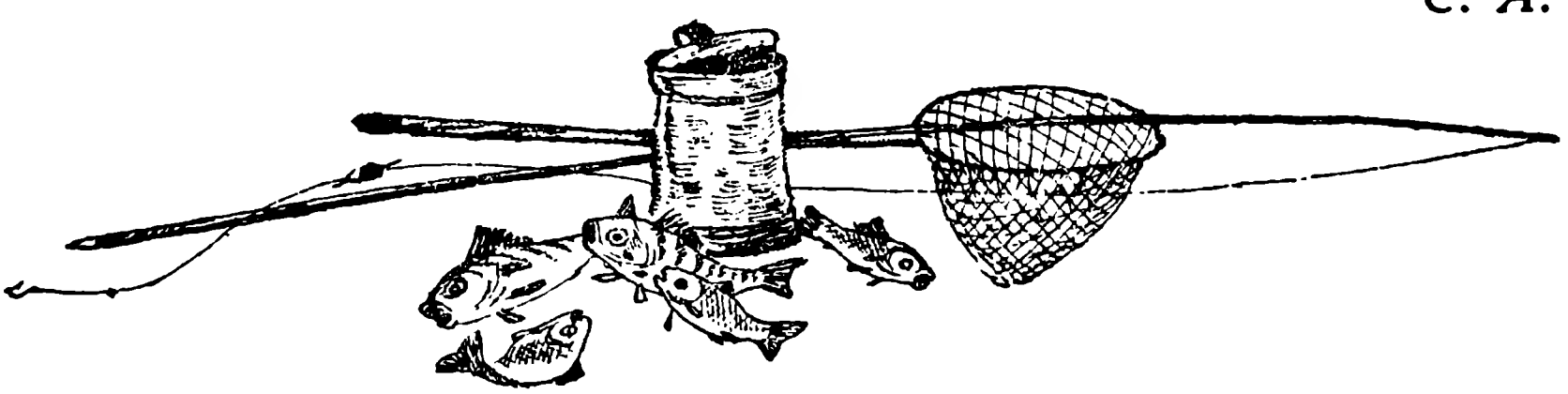
ничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной и заботливой.

Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам; что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться; что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов. Когда стало приближаться крещенье, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на шестое число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения,— прибавила мать,— а у вас будет куча гостей; принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных — это для меня наказанье божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николавна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам, ты не любишь дня своего рождения (я и сама не люблю моего) — чего же лучше? поезжай в Казань с Алексеем Степанычем. Вы больше двух недель не проездите: до Казани всего два девяноста». Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января, в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывается от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне, и я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и, против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди.

А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни...

Здесь прекращается повествование Багрова-внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству.

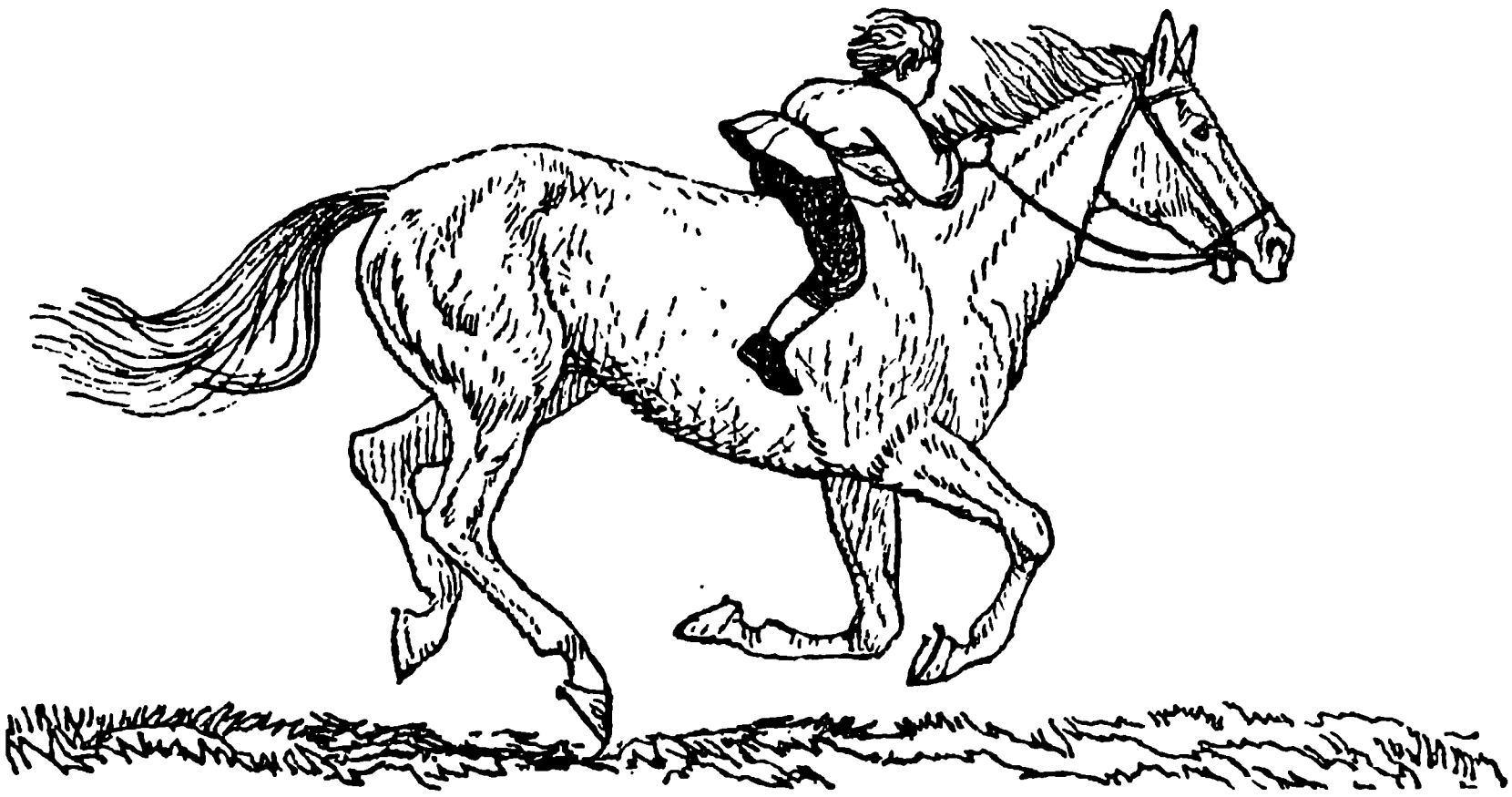
С. А.



Н.Г.ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Детство Темы

Повесть



I

НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом — добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было.

Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.

Вдруг... Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось... Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда гер Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло:

— Махровый расцвел!

Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своем военном вицмундире, сейчас же пройдет в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться: радуется ли папа?

Папа, наверное, сейчас же поедет к геру Готлибу, может, прикажет запрячь Гнедко, которого только что привели из деревни. Еремей (кучер, он же и дворник), высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, Еремей говорит, что Гнедко бегает так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедко. Гнедко побежит скоро-скоро! Все погонятся за ним — куда! Гнедка и след простыл.

А вдруг папа и Тёму возьмет с собой?! Какое счастие! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что все это счастие произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Тёме просыпается нежное чувство к цветку.

— Ми-и-ленький! — говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами.

Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и...

Все погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он немножко, вот сюда, уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда... Постойте!.. Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать, и уносит на своих крыльях — уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта.

Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!

Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному, ясному дню?

Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали... Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит

все так скверно и гадко?.. О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе... Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее! Всему виною его гадкие, скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему:

— Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват,— мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко.

Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать.

Но цветок по-прежнему лежит на земле... Время идет... Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет... Поведет, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним.

Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо... И зачем он молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстегивает свой мундир?! Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать... Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, теплые ляжки отца, в которых зажмется голова мальчика.

Маленький Тёма, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход, выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика решительно ступает на грядку, он хватает цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем отвра-

тить предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тёма; он опрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу,— террасу, где вдруг он может увидать грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело.

Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подальше от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для гигантских шагов, видит сестер, бонну-немку. Он делает вольт в сторону, незаметно пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и наконец благополучно достигает кухни.

Здесь он только свободно вздыхает.

В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещенной сверху маленькими окнами, все спокойно, все идет своим чередом.

Повар, в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших крепостных, Аким лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит, конфорки, фыркает, брюзжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять ставит на место...

На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще нечесаной косой, торопливо обгладывает какую-то вчерашнюю холодную кость, Еремей в углу молча возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья, толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках трясется при всяком ее движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры.

Ровесник Тёмы — произведение Настасьи и Еремея — толстопузый рябой Иоська сидит на кровати, болтает ногами и пристает к матери, чтобы та дала ему грошик.

— Не дам, не дам, сто чертив твоей мами! — кричит отчаянно Настасья и еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами.

— Г-е?! — тянет Иоська плаксивую монотонную ноту.— Дай грошик.

— Отчипысь, прокляте! Будь ты скажено! — кричит Настасья, точно ее режут.

Тёма с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит и бранится, а не боится ее Иоська. Если мать и побить его захочет,— а Иоська отлично знает, когда она этого захочет,— он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет подпрыгивать кверху: «Ходи сюда, бисова дытына!», то «бисова дытына» понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно этого и не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет, лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери; ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового стрекача.

Мать постоит, постоит, еще сто чертей посулит себе и уйдет в кухню. Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец возвратиться в кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар:

— Г-е?!

Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком.

— Только взойды, бодай тебе чертяка взяла! — несется из кухни.

— Г-е?! — настойчивее и смелее повторяет Иоська.

Кончается все это тем, что дверь с шумом растворяется, Иоська с быстротой ветра улепетывает подальше, на пороге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которое и летит вдогонку за блудным сыном.

Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с объедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.

Если по дороге он все-таки получал иной раз легкую затрещину — он за этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «у-у!», энергично принимался за еду.

— Иеремей, Буланку закладывай! — кричит сверху нянька.— В дрожки!

— Кто едет? — кричит снизу встрепенувшийся Тёма.

— Папа и мама в город.

Это целое событие.

— Скоро едут? — спрашивает Тёма.

— Одеваются.

Тёма соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом

в сад не пойдет, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит:

— Иоська, играться!

Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сестрам.

— Будем играться! — кричит он, подбегая.— В индейцев?!

И Тёма от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами.

Пока бонна и сестры, под предводительством старшей сестры Зины, обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас... Тёма выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся.

— Тёма! — и раздается дружный вопль.

Тёма замирает на мгновенье:

— Это папины лозы! Что ты сделал?!

Но Тёма уже все и без этого сообразил: у него вихрем мелькает сознание необходимости протянуть время до отъезда, и он небрежно кричит:

— Знаю, знаю, папа приказал их выбросить — они не годятся!

И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Иоськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но Тёма искусно играет свою роль, идет тихо, не спеша вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаянье охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Одно с мучительной ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.

Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на немытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что́ теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли, или уж так запрягать. Тёма волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь, и Еремей под таким энергичным давлением начинает наконец запрягать.

— Не так, панычику, не так,— громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь этой суетливой, бурной помощью.

Тёме кажется, что время идет невыносимо медленно.

Наконец, экипаж готов.

Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клеенчатую с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обяза-

тельно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает к крыльцу.

Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят отец с матерью.

Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает; мать в кринолине, черных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе с широкими черными лентами. Сестры бегут из сада. Мать наскоро крестит и целует их и спохватывается о Тёме; сестры ищут глазами, но Тёма с Иоськой притаились за углом, и сестры говорят матери, что Тёма в саду.

— Будьте с ним ласковы.

Тёма, благоразумно решивший было не показываться, стремительно выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он сейчас бы ей все рассказал. Но он только особенно горячо целует ее.

— Ну, довольно! — говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть Тёмы не совсем чиста.

Но мысль о забытых ключах отвлекает ее.

— Ключи, ключи! — говорит она, и все стремительно бросаются в комнаты за ключами.

Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную слюнявку. Он срывает свое раздражение на Еремее.

— Буланка опять закована на правую переднюю ногу? — говорит он.

Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную ногу Буланки.

Тёма озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит каким-то поперхнувшимся голосом:

— Мабуть, оступывся.

Ложь возмущает и бесит отца.

— Болван! — говорит он, точно выстреливает из ружья.

Еремей энергично откашливается, ерзает на козлах и молчит. Тёма не понимает, за что отец бранит Еремея, и тоскливое чувство охватывает его.

— Размазня, лентяй! Грязь развел такую, что сесть нельзя.

Тёма быстро окидывает взглядом экипаж.

Еремей невозмутимо молчит. Тёма видит, что Еремею нечего сказать, что отец прав, и, облегченно вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.

Ключи принесли, мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи, Настасья стоит у ворот.

— Трогай! — приказывает отец.

Мать крестит детей и говорит: «Тёма, не шали», и экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из

глаз, Тёма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все, все — и сестры, и бонна, и Настасья, и Иоська — так и ахнули. Он стоит, несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не может придумать, как, стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу какому-то несущемуся экипажу. Раздается общий отчаянный вопль:

— Тёма, Тёма, куда?!

— Тёма-а! — несется пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха матери.

Из облака пыли вдруг раздается голос матери, сразу все понявшей:

— Тёма, домой!

Тёма, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав возвращается назад.

— А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей?! — мелькает в голове Тёмы новая идея, о которой он обращается к Зине.

— Ну да! Тебя Гнедко сбросит! — говорит пренебрежительно Зина.

Этого совершенно достаточно, чтоб у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.

Препятствий нет.

В опустелой конюшне раздается ленивая, громкая еда Гнедка. Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется за тянущим его изо всей силы Тёмой.

— Но, но,— возбужденно понукает его Тёма, стараясь губами делать, как Еремей, когда тот выводит лошадь. Но от этого звука лошадь пугается, фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.

— Иоська, подгони ее сзади! — кричит Тёма.

Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тёма опять кричит ему:

— Возьми кнут!

Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается из рук Тёмы.

Тёма замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.

Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.

Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается благоразумие.

— Упадете, панычику! — нерешительно говорит он.

— Ничего,— отвечает Тёма с пересохшим от волнения горлом.— Ты только, как я сяду, крепко ударь ее, чтоб она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть!

Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.

— Дети, смотрите! — кричит он, захлебываясь от удовольствия.

— Ай, ай, смотрите! — в ужасе взвизгивают сестры, бросаясь к ограде.

— Бей! — командует, не помня себя от восторга, Тёма.

Иоська из всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь, как ужаленная, мгновенно подбирается и делает первый непроизвольный скачок к улице, куда мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвивается на дыбы, круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несется назад в конюшню.

Тёме, каким-то чудом удержавшемуся при этом маневре, некогда рассуждать. Пред ним ворота черного двора; он вовремя успевает наклонить голову, чтобы не разбить ее о перекладину, и вихрем влетает на черный двор.

Здесь ужас его положения обрисовывается ему неумолимою ясностью.

Он видит в десяти саженях перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесятеряет его силы, он натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает с маху на землю, а Тёма летит дальше и распластывается у самой стены, на мягкой, теплой куче навоза. Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тёма тоже вскакивает, запирает за нею дверь и оглядывается.

Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать, но он видит в воротах бонну, сестер и соображает по их вытянувшимся лицам, что они все видели. Он бодрится, но руки его дрожат; на нем лица нет, улыбка выходит какой-то жалкой, болезненной гримасой.

Град упреков сыплется на его голову, но в этих упреках он чувствует некоторое уважение к себе, удивление к его молодечеству и мирится с упреками. Непривычная мягкость, с какой Тёма принимает выговоры, успокаивает всех.

— Ты испугался? — пристает к нему Зина,— ты бледен, как стена, выпей воды, помочи голову.

Тёму торжественно ведут опять к бочке и мочат голову. Между ним, бонной и сестрой устанавливаются дружеские, миролюбивые отношения.

— Тёма,— говорит ласково Зина,— будь умным мальчиком,

не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер, ты видишь: стоит тебе разойтись, тогда уж ты не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом.

Зина говорит ласково, мягко,— просит.

Тёме это приятно, он сознает, что в словах сестры все — голая правда, и говорит:

— Хорошо, я не буду шалить.

Но маленькая Зина, хотя на год всего старше своего брата, уже понимает, как тяжело будет брату сдержать свое слово.

— Знаешь, Тёма,— говорит она как можно вкрадчивее,— ты лучше всего дай себе слово, что ты не будешь шалить. Скажи: любя папу и маму, я не буду шалить.

Тёма морщится.

— Тёма, тебе же лучше! — подъезжает Зина.— Ведь никогда еще папа и мама не приезжали без того, чтобы не наказать тебя. И вдруг приедут сегодня и узнают, что ты не шалил.

Просительная форма подкупает Тёму.

— Как люблю папу и маму, я не буду шалить.

— Ну, вот умница,— говорит Зина.— Смотри же, Тёма,— уже строгим голосом продолжает сестра,— грех тебе будет, если ты обманешь. И даже потихоньку нельзя шалить, потому что господь все видит, и если папа и мама не накажут, бог все равно накажет.

— Но играться можно?

— Все то можно, что фрейлейн скажет: можно, а что фрейлейн скажет: нельзя, то уже грех.

Тёма недоверчиво смотрит на бонну и насмешливо спрашивает:

— Значит, фрейлейн святая?

— Вот видишь, ты уж глупости говоришь! — замечает сестра.

— Ну, хорошо! будем играться в индейцев! — говорит Тёма.

— Нет, в индейцев опасно без мамы, ты разойдешься.

— А я хочу в индейцев! — настаивает Тёма, и в его голосе слышится капризное раздражение.

— Ну, хорошо! — спроси у фрейлейн, ведь ты обещал, как папу и маму любишь, слушаться фрейлейн?

Зина становится так, чтобы только фрейлейн видела ее лицо, а Тёма — нет.

— Фрейлейн, правда в индейцев играть не надо?

Тёма все же таки видит, как Зина делает невозможные гримасы фрейлейн; он смеется и кричит:

— Э, так нельзя!

Он бросается к фрейлейн, хватает ее за платье и старается повернуть от сестры. Фрейлейн смеется.

Зина энергично подбегает к брату, кричит: «Оставь фрей-

лейн», а сама в то же время старается стать так, чтобы фрейлейн видела ее лицо, а брат не видел. Тёма понимает маневр, хохочет, хватает за платье сестру и делает попытку поворотить ее лицо к себе.

— Пусти! — отчаянно кричит сестра и тянет свое платье.

Тёма еще больше хохочет и не выпускает сестриного платья, держась другой рукой за платье бонны. Зина вырывается изо всей силы. Вдруг юбка фрейлейн с шумом разрывается пополам, и взбешенная бонна кричит:

— Думмер кнабе!..[1]

Тёма считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его ругать. Озадаченный и сконфуженный неожиданным оборотом дела, но возмущенный, он, не задумываясь, отвечает:

— Ты сама!

— Ах! — взвизгивает фрейлейн.

— Тёма, что ты сказал?! — подлетает сестра.— Ты знаешь, как тебе за это достанется?! Проси сейчас прощения!!

Но требование — плохое оружие с Тёмой; он окончательно упирается и отказывается просить прощения. Доводы не действуют.

— Так ты не хочешь?! — угрожающим голосом спрашивает Зина.

Тёма трусит, но самолюбие берет верх.

— Так вот что, уйдем от него все, пусть он один остается.

Все, кроме Иоськи, уходят от Тёмы.

Сестра идет и беспрестанно оглядывается: не раскаялся ли Тёма. Но Тёма явного раскаяния не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тёму кошки скребут, но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Тёмы. Она чувствует, что еще капельку — и Тёма сдастся. Она быстро возвращается, хватает Иоську за рукав и говорит повелительно:

— Уходи и ты, пусть он совсем один останется.

Неудачный маневр.

Тёма кидается на нее, толкает так, что она летит на землю, и кричит:

— Убирайся к черту!

Зина испускает страшный вопль, поднимается на руки, некоторое время не может продолжать кричать от схвативших ее горловых спазм и только судорожно поводит глазами.

Тёма в ужасе пятится. Зина испускает наконец новый отчаянный крик, но на этот раз Тёме кажется, что крик не совсем естественный, и он говорит:

— Притворяйся, притворяйся!

Зину поднимают и уводят; она хромает. Тёма внимательно

---

[1] Глупый мальчик!.. (от *нем.* dummer Knabe).

следит и остается в мучительной неизвестности: действительно ли Зина хромает или только притворяется.

— Пойдем, Иоська! — говорит он, подавляя вздох.

Но Иоська говорит, что он боится и уйдет на кухню.

— Иоська,— говорит Тёма,— не бойся; я все сам расскажу маме.

Но кредит Тёмы в глазах Иоськи подорван. Он молчит, и Тёма чувствует, что Иоська ему не верит. Тёма не может остаться без поддержки друга в такую тяжелую для себя минуту.

— Иоська,— говорит он взволнованно,— если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару.

Это меняет положение вещей.

— Сколько кусков? — спрашивает нерешительно Иоська.

— Два, три,— обещает Тёма.

— А куда пойдем?

— За горку! — отвечает Тёма, выбирая самый дальний угол сада. Он понимает, что Иоська не желал бы теперь встретиться с барышнями.

Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке.

Тёма взволнован и переполнен всевозможными чувствами.

— Иоська,— говорит он,— какой ты счастливый, что у тебя нет сестер! Я хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если б они умерли все вдруг, я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь: я попросил бы, чтобы тебя сделали моим братом. Хорошо?!

Иоська молчит.

— Иоська,— продолжает Тёма,— я тебя ужасно люблю... так люблю, что, что хочешь со мной делай...

Тёма напряженно думает, чем доказать Иоське свою любовь.

— Хочешь, зарой меня в землю... или, хочешь, плюнь на меня.

Иоська озадаченно глядит на Тёму.

— Милый, голубчик, плюнь... Милый, дорогой...

Тёма бросается Иоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть.

После долгих колебаний Иоська осторожно плюет на кончик Тёминой рубахи.

Край рубахи с плевком Тёма поднимает к лицу и растирает по своей щеке.

Иоська пораженно и сконфуженно смотрит...

Тёма убежденно говорит:

— Вот... вот как я тебя люблю!

Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого, заброшенного кладбища.

— Иоська, ты боишься мертвецов? — спрашивает Тёма.

— Боюсь,— говорит Иоська.

Тёма предпочел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что его отец ничего не боится и что он хочет ничего не бояться, но в такую торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится.

— Кто ж их не боится? — разражается красноречивой тирадой Иоська.— Тут хоть самый первый генерал приди, как *они* ночью повылазят да рассядутся по стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя, да и ну колотить ногами, чтобы вез *его*, да еще перегнется, да зубы и оскалит; у другого половина лица выгнила, глаз нет. Тут забоишься! Хоть какой, и то...

— Артемий Николаевич, завтракать! — раздается по саду молодой, звонкий голос горничной Тани.

Из-за деревьев мелькает платье Тани.

— Пожалуйте завтракать,— говорит горничная, ласково и фамильярно обхватывая Тёму.

Таня любит Тёму. Она в чистом, светлом ситцевом платье; от нее несет свежестью, густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят весело и мягко.

Она дружелюбно ведет за плечи Тёму, наклоняется к его уху и веселым шепотом говорит:

— Немка плакала!

Немку, несмотря на ее полную безобидность, прислуга не любит.

Тёма вспоминает, что в его столкновении с бонной у него союзники вся дворня,— это ему приятно, он чувствует подъем духа.

— Она назвала меня дураком, разве она смеет?

— Конечно, не смеет. Папаша ваш генерал, а она что? Дрянь какая-то. Зазналась.

— Правда, когда я маме скажу все — меня не накажут?

Таня не хочет огорчать Тёму; она еще раз наклоняется и еще раз его целует, гладит его густые золотистые волосы.

За завтраком обычная история. Тёма почти ничего не ест. Перед ним лежит на тарелке котлетка, он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет на себя Таня.

— Артемий Николаевич, кушайте!

Тёма только сдвигает брови.

В Зине борется гнев к Тёме с желанием, чтобы он ел.

Она смотрит в окошко и, ни к кому особенно не обращаясь, говорит:

— Кажется, мама едет!

— Артемий Николаевич, скорей кушайте,— шепчет испуганно Таня.

Тёма в первое мгновение поддается на удочку и хватает вилку, но, убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол.

Зина снова смотрит в окно и замечает:

— После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое.

Тёме хочется сладкого, но не хочется котлеты.

Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского масла.

Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке.

Но ему именно так хочется, и, так как ему не дают судка с маслом, он сам лезет за ним. Зина не выдерживает: она не может переваривать его капризов, быстро вскакивает, хватает судок с маслом и держит его в руке под столом.

Тёма садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко следит и наконец ставит судок на стол, возле себя. Но Тёма улавливает подходящий момент, стремительно бросается к судку. Зина схватывает с другой стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги.

— Это ты! — кричит сестра.

— Нет, ты!

— Это тебя бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь.

— Неправда, я люблю! — кричит Тёма.

— Ласен зи инен[1],— говорит бонна и встает из-за стола.

За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит до Тёмы, бонна колеблется. Наконец она отламывает меньшую против других порцию и молча кладет перед Тёмой.

Тёма возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол.

— Очень мило,— говорит Зина.— Мама все будет знать!

Тёма молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует: отчего сегодня Тёма не убегает, по обыкновению, сейчас после завтрака. Сначала она думает, что Тёма хочет просить прощения у бонны, и уже вступает в свои права: она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще столько...

— Убирайся вон! — перебивает грубо Тёма.

— И это мама будет знать! — говорит Зина и окончательно становится в тупик: зачем он не уходит?

Тёма продолжает упорно ходить по комнате и наконец достигает своего: все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку...

Дверь отворяется. На пороге появляются бонна и Зина. Он бросает сахарницу и стремглав выскакивает на террасу.

---

[1] Оставьте его (от *нем.* lassen sie ihn).

Теперь все погибло! Такой поступок, как воровство, даже мать не простит!

К довершению несчастия собирается гроза. По небу полезли со всех сторон тяжелые грозовые тучи; солнце исчезло; как-то сразу потемнело; в воздухе запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой оглушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно притаилось, выжидая. Что-то зашумело — ближе, ближе, и первые тяжелые, большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была настоящая южная гроза.

Волей-неволей надо бежать в комнаты, и так как вход туда Иоське воспрещен, то Тёме приходится остаться одному, наедине со своими грустными мыслями.

Скучно. Время бесконечно тянется.

Тёма уселся на окне в детской и уныло следит, как потоки воды стекали по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как бульки и пузыри точно прыгали по мутной и грязной поверхности.

— Артемий Николаич, кушать хотите? — спросила, появляясь в дверях, Таня.

Тёме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться.

— Хорошо, только сюда принеси хлеба и масла.

— А котлетку?

Тёма отрицательно замотал головой.

В ожидании Тёма продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было скучно и он придумывал, чем бы ему еще развлечься, или, наконец, по общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей Жучке. Он вспомнил, что целый день не видал ее. Жучка никогда никуда не отлучалась.

Тёме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу. Он быстро слез с окна, пробежал в детскую, соседнюю комнату и стал спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого воспрещен Тёме (за исключением, когда бралась ванна), ввиду возможности падения, но теперь Тёме было не до того.

— Аким, где Жучка? — спросил Тёма, войдя в кухню.

— А я откуда знаю? — отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами.

— Ты не убивал ее?

— Ну вот, стану я руки марать об этакую дрянь.

— Ты говорил, что убьешь ее?

— Ну! А вы и поверили? так, шутил.

И, помолчав немного, Аким проговорил самым естественным голосом:

— Лежит где-нибудь, притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали сегодня?

— Нет, не видал.

— Не знаю. Польстился разве кто, украл?

Тёма было совсем поверил Акиму, но последнее предположение опять смутило его.

— Кто же ее украдет? Кому она нужна? — спросил он.

— Да никому, положим,— согласился Аким.— Дрянная собачонка.

— Побожись, что ты ее не убил! — И Тёма впился глазами в Акима.

— Да что вы, панычику? Да ей-богу же я ее не убивал! Что ж вы мне не верите?

Тёме стало неловко, и он проговорил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Куда ж она девалась?

И так как ответа никакого не последовало, то Тёма, оглянувши еще раз Акима и всех присутствовавших, причем заметил лукавый взгляд Иоськи, свесившегося с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, возвратился наверх.

Он опять уселся на окно в детской и все думал: куда могла деваться Жучка?

Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы:

— Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!

В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не отзывалась.

Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки, как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой бедой: лишиться Жучки.

Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:

— Жучка! Жучка!

Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться.

Но ответа не было.

Что делать?! Надо немедленно искать Жучку.

Вошедшая Таня принесла хлеб.

— Подожди, я сейчас приду.

Тёма опять спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор.

Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было. Последняя надежда! Он бросился к воротам заглянуть в будку цепной собаки. Но у самых ворот Тёма услышал шум колес подъехавшего экипажа и, прежде чем что-нибудь сообразить, столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тёма опрометью бросился к дому.

II

НАКАЗАНИЕ

Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки — вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты — воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.

Двери кабинета плотно затворяются.

Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:

— Милый папа, я придумал... я знаю, что я виноват... Я придумал: отруби мои руки!..

Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял пред сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:

— Или отдай меня разбойникам!

— Ладно,— говорит сурово отец, окончив необходимые приготовления и направляясь к сыну.— Расстегни штаны...

Это что-то новое?! Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется

в себе, что еще сказать, и наконец голосом, полным испуга и мольбы, быстро, несвязно и горячо говорит:

— Милый мой, дорогой, голубчик... Папа! Папа! Голубчик... Папа, милый папа, постой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..

Удары сыплются. Тёма извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку, страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его.

Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его.

— Противный, гадкий, я тебя не люблю! — кричит он с бессильной злобой.

— Полюбишь!

Тёма яростно впивается зубами в руку отца.

— Ах ты змееныш?!

И ловким поворотом Тёма на диване, голова его в подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тёму.

Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле.

С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу.

Ах! Зачем она опять дала себя убедить, зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать?

Но разве он смел так связать ее словом?! И, наконец, он сам увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика! Боже мой! Что это за хрип?!

Ужас наполняет душу матери.

— Довольно, довольно! — кричит она, врываясь в кабинет.— Довольно!!.

— Полюбуйся, каков твой звереныш! — сует ей отец прокушенный палец.

Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу:

— И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство — это воспитание?!

Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос в мужа.

— О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!

— Вон! — ревет отец.

— Да, я уйду,— говорит мать, останавливаясь в дверях,— но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика.

Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока наконец не останавливается возле окна, рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет:

— Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!

III

ПРОЩЕНИЕ

В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Тёмы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Тёмы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.

Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в ее голове.

Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе... Белье бы переменить... Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого — вот задача правильного воспитания.

Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня — огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки...

Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.

— Аню перекрестить...

— Давай! — И мать крестит девочку.

— Артемий Николаевич в комнате? — спрашивает она няню.

— Сидит у окошка.

— Свечка есть?

— Потушили. Так в темноте сидят.

— Заходила к нему?

— Заходила... Куды! Эх!..— Но няня удерживается, зная, что барыня не любит нытья.

— А больше никто не заходил?

— Таня еще... кушать носила.

— Ел?

— И-и! Боже упаси, и смотреть не стал... Целый день не емши. За завтраком маковой росинки не взял в рот.

Няня вздыхает и, понижая голос, говорит:

— Белье бы ему переменить да обмыть... Это ему, поди, теперь пуще всего зазорно...

— Ты говорила ему о белье?

— Нет... Куда!.. Как только наклонилась было, а он этак плечиками как саданет меня... Вот Таню разве послушает...

— Ничего не надо говорить... Никто ничего не замечайте... Прикажи, чтобы приготовили обе ванны поскорее для всех, кроме Ани... Позови бонну... Смотри, никакого внимания...

— Будьте спокойны,— говорит сочувствующим голосом няня.

Входит фрейлейн.

Она очень жалеет, что все так случилось, но с мальчиком ничего нельзя было сделать...

— Сегодня дети берут ванну,— сухо перебивает мать.— Двадцать два градуса.

— Зер гут[1], мадам,— говорит фрейлейн и делает книксен.

Она чувствует, что мадам недовольна, но ее совесть чиста. Она невиновата; фрейлейн Зина свидетельница, что с мальчиком нельзя было справиться. Мадам молчит; бонна знает, что́ это значит. Это значит, что ее оправдания не приняты.

Хотя она очень дорожит местом, но ее совесть спокойна. И, в сознании своей невинности, она скромно, но с чувством оскорбленного достоинства берется за ручку.

— Позовите Таню.

— Зер гут, мадам,— отвечает бонна и уже за дверями делает книксен.

В последней нотке мадам бонна услыхала что-то такое, что

---

[1]Очень хорошо (от *нем.* sehr gut).

возвращает ей надежду удержать за собой место, и она воскресшим голосом говорит:

— Таню, бариня идить!

Таня оправляется и входит в спальню.

Таня всегда купает Тёму. Летом, в те дни, когда детей не мылили, ему разрешалось самому купаться, без помощи Тани, и это доставляло Тёме всегда громадное удовольствие: он купался, как папа, один.

— Если Артемий Николаевич пожелает купаться один, пусть купается. Перед тем как вести его в ванную, положи на стол кусок хлеба — не отрезанный, а так, отломанный, как будто нечаянно его забыли. Понимаешь?

Таня давно все поняла и весело и ласково отвечает:

— Понимаю, сударыня!

— Купаться будут все; сначала барышни, а потом Артемий Николаевич. Ванну на двадцать два градуса. Ступай!

Но тотчас же мать снова позвала Таню и прибавила:

— Таня, перед тем как поведешь Артемия Николаевича, убавь в ванной свет в лампе так, чтобы был полумрак. И поведешь его не через детскую, а прямо через девичью... И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. В девичьей тоже убавь свет.

— Слушаю-с.

Купанье — всегда событие и всегда приятное. Но на этот раз в детской оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата, а главное — нет поджигателя обычного возбуждения, Тёмы. Дети идут как-то лениво, купанье какое-то неудачное, поспешное, и через двадцать минут они уже, в белых чепчиках, гуськом возвращаются назад в детскую.

Под дыханием мягкой южной ночи мать Тёмы возбужденно ходит по комнате.

По свойству своей оптимистической натуры она не хочет больше думать о настоящем: оно будет исправлено, ошибка не повторится, и довольно.

Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом.

Она видит в окно возвращающееся из ванной шествие и останавливается.

Вот впереди идет Зина — требовательный к себе и другим, суровый, жгучий исполнитель воли. Девочка загадочно, непреклонно смотрит своими черными, как ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одной ведомый мир.

Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки, которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким сладкою песнью любви и страданий.

Вот Маня — ясное майское утро, готовая всех согреть, осветить своими блестящими глазками.

Сережик — «глубокий философ», маленький Сережик, только что начинающий настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким, протяжным отзвучьям,— невольно манит к себе.

— Эт-та что? — медленно, певуче тянет он и так же медленно подымает свой маленький пальчик.

— Синее небо, мой милый.

— Эт-та что?

— Небо, мой крошка, небо, малютка, недосягаемое синее небо, куда вечно люди смотрят, но вечно ходят по земле.

Вот и Аня поднялась с своей кроватки навстречу идущим — крошечная Аня, маленький вопросительный знак, с теплыми веселыми глазками.

А вот промелькнула в девичьей фигура ее набедокурившего баловня — живого, как огонь, подвижного, как ртуть, неуравновешенного, вечно взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в этой сутолоке чувств сидит горячее сердце.

Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной.

Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик, с откинутыми ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках.

— А папа Тёму би-й,— говорит он, вспоминая почему-то о наказании брата.

— Тс! — подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать.

Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому снова начинает:

— А папа...

— Молчи! — зажимает ему рот Зина. Сережик уже собирает в хорошо ему знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тёма. Сережик долго недоверчиво смотрит, не решаясь распроститься с сделанной гримасой и извлечь из нее готовый уже вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на компромисс и соглашается смотреть картинки зоологического атласа.

— Артемий Николаевич, пожалуйте! — говорит веселым голосом Таня, отворяя дверь маленькой комнаты со стороны девичьей.

Тёма молча встает и стесненно проходит мимо Тани.

— Одни или со мной? — беспечно спрашивает она вдогонку.

— Один,— отвечает быстро, уклончиво Тёма и спешит пройти девичью.

Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает, берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело; пусть лучше будет мокрое. Кончив свою стирку, Тёма скомкивает в узел белье и ищет глазами, куда бы его сунуть; он засовывает наконец свой узел за старый, запыленный комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок, очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так как целый день ничего не ел. Годы берут свое: он сидит на скамейке, болтает ножонками и с наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно отходит от окна. Она гонит от себя впечатления этой сцены, потому что чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать.

Кончив есть, Тёма встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице, ведущей в комнаты, остановился на мгновенье, подумал, прошел мимо по коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Он подождал, послушал, вдохнул в себя аромат масличного дерева, потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду.

Страшно! Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный весь каким-то болезненным утомлением.

Ночь после бури.

Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно пробегают в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит на горке. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в беседку и смотрят оттуда на Тёму? Как-то таинственно страшно молчат дорожки. Деревья шумят, точно шепчут друг другу: «Как страшно в саду». Вот что-то черное беззвучно будто мелькнуло в кустах: на Жучку похоже! А может быть, Жучки давно и нет?! Как жутко вдруг стало. А там что белеет?! Кто-то идет по террасе.

— Артемий Николаич,— говорит, отворяя калитку и подходя к нему, Таня,— спать пора.

Тёма точно просыпается.

Он не прочь, он устал, но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно крепко руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом.

— Артемий Николаич, Тёмочка, милый мой барин,— говорит Таня и целует руки Тёмы,— идите к мамаше! Идите, мой милый, дорогой,— говорит она, мягко отрывая и увлекая его за собой, осыпая на ходу поцелуями...

Он в спальне у матери.

Только лампадка льет из киота свой неровный, трепетный свет, слабо освещая предметы.

Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему. Тёма точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его уха. Зато на маленькую Зину, подслушивающую у двери, речь матери бесконечно сильно действует своею убедительностью. Она не выдерживает больше и, когда до нее долетают вдруг слова матери: «а если тебе не жаль, значит, ты не любишь маму и папу», врывается в спальню и начинает горячо:

— Я говорила ему...

— Как ты смела, скверная девчонка, подслушивать?!

И «скверная девчонка», подхваченная за руку, исчезает мгновенно за дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тёму. Он опять живет всеми нервами своего организма. Все горе дня встает перед ним. Он весь проникается сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его никто не хочет выслушать, что к нему несправедливы, охватывает его.

— Все только слушают Зину... Все целый день на меня нападают, меня никто не-е любит и никто не-е хо-очет вы-ы-слу-у...

И Тёма горько плачет, закрывая руками лицо.

Долго плачет Тёма, но горечь уже вылита.

Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. Его глаза распухли от слез; он нервно вздрагивает и нет-нет всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его густые волосы и говорит ему:

— Ну, будет, будет... мама не сердится больше... мама любит своего мальчика... мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, когда поймет только одну маленькую, очень простую вещь. И Тёма может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось, а как ты думаешь отчего? А я тебе скажу: оттого, что ты еще маленький трус...

Тёма, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и задет этим неожиданным выводом.

— Да, трус! Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты ее боялся, все беды твои и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же. Если б даже тебя и наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правды, наказанья не избег. Тогда как, если бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы. Папа строгий, но папа сам может упасть, и всякий может. Наконец, если ты боялся папы, отчего ты не пришел ко мне?

— Я хотел сказать, когда вы садились в дрожки...

Мать вспомнила и пожалела, что не дала хода охватившему ее тогда подозрению.

— Отчего ты не сказал?

— Я боялся папы...

— Сам же говоришь, что боялся, значит — трус. А трусить, бояться правды — стыдно. Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правды не боятся и согласны не только чтобы их наказывали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду.

Мать встала, подошла к киоту, вынула оттуда распятие и села опять возле сына.

— Кто это?

— Бог.

— Да, бог, который принял вид человека и сошел с неба на землю. Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду. Ты видишь, у него на руках, на ногах и вот здесь кровь?

— Вижу.

— Эта кровь оттого, что его распяли, то есть повесили на кресте; пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого. Ты знаешь, что бог все может, ты знаешь, что он пальцем вот так пошевелит — и все, все мы сейчас умрем и ничего не будет: ни нашего дома, ни сада, ни земли, ни неба. Как ты думаешь теперь, отчего он позволил себя распять, когда мог бы взглядом уничтожить этих дурных людей, которые его умертвили? Отчего?

Мать замолкла на мгновение и, выразительно, мягко заглядывая в широко раскрытые глаза своего любимца-сына, проговорила:

— Оттого, что он не боялся правды, оттого, что правда была ему дороже жизни, оттого, что он хотел показать всем, что за правду не страшно умереть. И когда он умирал, он сказал: кто любит меня, кто хочет быть со мной, тот должен не бояться правды. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, тогда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее, тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты сядешь на сумасшедшую лошадь, ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик, а вовсе не то, что ты храбрый, потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает. Папа был на войне: он знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно: поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик.

Тёма молча обнял мать и спрятал голову на ее груди.

IV

СТАРЫЙ КОЛОДЕЗЬ

Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массой мелкого колючего песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Тёмы, волна обдает его каким-то удушливым жаром, тяжело наваливается и душит... Волна опять отливает, ему опять легко и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.

— Няня, где Жучка?— спрашивает Тёма.

— И-и,— отвечает няня,— Жучку в старый колодезь бросил какой-то ирод.— И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьем... Весь день, говорят, визжала, сердечная...

Тёме живо представляется старый заброшенный колодезь в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользящее, жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу.

— Кто бросил? — спрашивает Тёма.

— Да ведь кто? Разве скажет!

Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал Жучку какой-то длинной петлей. Но Жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз; он уж добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатления падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться. В голове у него мелькнуло опасение, как бы опять эта затея не затянула его на путь вчерашних бедствий, но, решив, что ничего худого пока не делает, он, успокоенный, подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел чрез детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок — на столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно клочьями повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери, забытый на скамейке, одиноко валялся, живо напомнив Тёме вчерашний вечер со всеми его перипетиями и с сладким примирительным концом.

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с опрокинутой ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.

Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки.

Проходя мимо злополучного места, с которого начинались его вчерашние страдания, Тёма увидел цветок, лежавший опрокинутым на земле. Его, очевидно, смыло вчерашним ливнем.

«Вот ведь все можно было бы свалить на вчерашний дождь»,— сообразил Тёма и пожалел, что теперь уж это бесполезно. Но пожалел как-то безучастно, равнодушно. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в голове, общую слабость, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движения. Ноги его дрожали, иногда он вздрагивал, потому что ему все казалось, что он куда-то падает. Иногда вдруг воскре-

сала перед ним какая-нибудь мелочь из прошлого, которую он давно забыл, и стояла с болезненной ясностью. Тёма вспомнил, что года два тому назад дядя Гриша обещал подарить ему такую лошадку, которая сама, как живая, будет бегать.

Он долго мечтал об этой лошадке и все ждал, когда дядя Гриша привезет ее ему, окидывая пытливым взглядом дядю при каждом его приезде и не решаясь напомнить о забытом обещании. Потом он сам забыл об этом, а теперь вдруг вспомнил.

В первое мгновение он встрепенулся от мысли, что вдруг дядя вспомнит и привезет ему обещанную лошадку, но потом подумал, что теперь ему все равно, ему уж не интересна больше эта лошадка. «Я маленький тогда был»,— подумал Тёма.

Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодезь фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку — обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке — перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. С этого места он опять почувствовал слабость и уже шагом пробирался глухой заросшей дорожкой, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену.

Он знал, что неправда то, что говорил Иоська, но все-таки было страшно.

Тёма шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше он старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее.

Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внима-

тельно следят за ним. Тёма чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине, как что-то страшное лезло на плечи, как чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку подымала сзади волосы. Тёма не выдержал и, издавши какой-то вопль, принялся было бежать, но звук собственного голоса успокоил его.

Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колодца, среди глухой, поросшей только высокой травой местности, близость цели, Жучка — отвлекли его от мертвецов. Он снова оживился и, подбежав к отверстию колодца, вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Тёма замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый, громкий оклик.

— Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тёму до слез тронуло, что Жучка его узнала.

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу,— кричал он ей, точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания.

— Сейчас, Жучка, сейчас,— ответил ей Тёма и принялся, с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой, выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трехсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула пред Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся, страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у

Жучки силы держаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тёма во все время приготовления кричал:

— Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец все было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладинкой внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодезь.

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей все.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасение, и поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было еще спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодезь.

Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающей перекладину, и лезет в колодезь. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды.

Его обдает вонью и смрадом. На мгновенье в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.

Это спокойствие и твердая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он накло-

няется, гладит ее, она лижет его пальцы, и — так как опыт заставляет ее быть благоразумной — она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать и уже, забывшись, судорожно начинает втягивать носом воздух, необходимый для первого непроизвольного всхлипывания, но зловоние отрезвляет и возвращает его к действительности.

Не теряя времени он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознания гибели закрадывается в его душу. Он ясно видит, хотя инстинктивно не хочет смотреть, хочет забыть, что́ под его ногами. Его уже тянет туда, вниз, по этой гладкой скользящей стене, туда, где отчаянно визжит Жучка, где блестящее вонючее дно ждет равнодушно свою, едва обрисовывающуюся во мраке, обессилевшую жертву.

Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению — бросить вожжи, но сознание падения на мгновение отрезвляет его.

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса голосом.— Стыдно бояться! Трусы только боятся! Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама и папа за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будет удивляться, как я ее вытащил.

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже, и, наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тёма улыбается и снова спокойно ждет прилива сил.

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность,— она кидается еще и еще. Она приходит в какое-то безумное неистовство!

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью — не испачкать об Жучку лицо,— Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная, страшная голова.

Напряженные нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища,— ежедневная дань с покойников в пользу двух барских коров,— увидев Тёму, довольно быстро на этот раз сообразил, что надо спешить к нему на помощь.

Через час Тёма, лежа на своей кроватке, с ледяными компрессами на голове, пришел в себя.

Но уж связь событий потерялась в его воспаленном мозгу; предметы, мысли проходили перед ним вопросами: отчего все так встревоженно толпятся вокруг него? Вот мама...

— Мама!

Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать? Что говорит ему мама? Отчего так вдруг хорошо ему стало? Но зачем же уходит от него мама, зачем уходят все и оставляют его одного? Отчего так темно сделалось? Как страшно вдруг стало! Что это лезет из-под кровати?!

— Это папа... милый папа!!

«Ах, нет, нет,— тоскливо мечется мальчик,— это не папа, это что-то страшное лезет».

— Иди, иди, иди себе! — с диким страхом кричит Тёма.— Иди! — и крик его переходит в какой-то низкий, полный ужаса и тоски рев.

— Иди! — несется по дому. И с напряженной болью прислушиваются все к этому тяжелому горячечному бреду.

Всем жаль маленького Тёму. Холодное дыхание смерти ярко

колеблет вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки. Быстро тает воск, быстро тает оболочка тела, и уже стоит перед всеми горячая, любящая душа Тёмы, стоит обнаженная и тянет к себе.

V

НАЕМНЫЙ ДВОР

Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый организм ребенка взял верх.

Когда в первый раз Тёма показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко остриженными волосами,— на дворе уже стояла теплая осень.

Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.

Ничего не переменилось со времени его болезни! Точно он только часа на два уезжал куда-нибудь в город.

Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, рассохшаяся, с еле державшимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не понимают.

Все то же, но все радует своим однообразием и будто говорит Тёме, что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одною общею жизнью.

Ему даже казалось, что вся его болезнь была каким-то сном... Только лето прошло...

До его слуха долетели из отворенного окна кабинета голоса матери и отца и заставили его еще раз почувствовать прелесть выздоровления.

Речь между отцом и матерью шла о нем.

Разговора в подробностях он не понял, но суть его уловил. Она заключалась в том, что ему, Тёме, разрешат бегать и играть на наемном дворе.

Наемный двор — громадное пустопорожнее место, принадлежащее отцу Тёмы, примыкало к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной. Место было грязное, покрытое навозом, сорными кучами, и только там и сям ютились отдельные землянки и низкие, крытые черепицей флигельки. Отец

Тёмы, Николай Семенович Карташев, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейба, в свою очередь, сдавал по частям: двор — под заезд, лавку — еврею Абрумке, в кабаке сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал внаем всякой городской голытьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети — оборванные, грязные, но здоровые и веселые — целый день бегали по двору.

Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Тёмы, Аглаиде Васильевне.

Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на эту ватагу вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Тёме.

Нередко и Тёма, прильнув к щелке ворот, разделявших оба двора, с завистью следил из своей сравнительно золотой темницы за резвой толпой. Иногда он заикался о разрешении побегать на наемном дворе; мать слушала и нерешительно отклоняла его просьбу.

Но болезнь Тёмы, упрек мужа относительно того, что Тёма не воспитывается как мальчик, положили конец ее колебаниям.

Как натура непосредственная и впечатлительная, Аглаида Васильевна мыслила и решала вопросы так, как мыслят и решают только такие натуры. С виду ее решения часто бывали для окружающих чем-то неожиданным; в действительности же тот процесс мышления, результатом которого получалось такое с виду неожиданное решение, несомненно существовал, но происходил, так сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты накоплялись, и когда их собиралось достаточно для данного вывода,— довольно было ничтожного толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с готовыми уже выводами.

Так было и теперь. Упрек мужа был этим толчком, и Аглаида Васильевна пошла в кабинет к нему поговорить о пришедшей ей в голову идее. Результатом разговора было разрешение Тёме посещать наемный двор.

Через две недели Тёма уже носился с ребятишками наемного двора. Он весь отдался ощущениям совершенно иной жизни своих новых приятелей — жизни, ни в чем не схожей с его прежней, своим контрастом, неизгладимыми образами отпечатлевшейся в его памяти.

Наемный двор, как уже было сказано, представлял собой сплошной пустырь, заваленный всевозможными кучами.

Для всех эти кучи были грязным сором, выбрасываемым раз в неделю, по субботам, из всех этих нищенских лачуг, но для оборванных мальчишек они представляли собою неисчерпаемые источники богатств и наслаждений. Один вид их — серый, пыльный, блестящий от кусочков битого стекла, сиявших на солнце

всеми переливами радуги,— уже радовал их сердца. В этих кучах были зарыты целые клади: костяшки для игры в пуговки, бабки, нитки. С каким наслаждением, бывало, в субботу, когда выбрасывался свежий сор, накидывалась на него ватага жадных ребятишек, и в числе их — Тёма с Иоськой.

Вот дрожащими от волнения руками тянется кусочек серой нитки и пробуется ее крепость. Она годится для пускания змея,— ничего, что коротка, она будет связана с другими такими же нитками; ничего, что в ней запутались какие-то волосы и что-то прилипло, что она вся сбита в один запутанный комок,— тем больше наслаждения будет, когда, собравши свою добычу, ватага перелезет через кладбищенскую стену и, усевшись где-нибудь на старом памятнике, станет приводить в порядок свое богатство.

Тёма сидит, весь поглощенный своей трудной работой. Глаза его машинально блуждают по старым покосившимся памятникам, и он думает: какой он глупый был, когда испугался головы Еремея.

Гераська, главный атаман ватаги, рассказывает о ночных похождениях тех, которых зарывают без отпевания.

— Прикинет тебе дорогу и ведет... ведет, ведет... Вот будто, вот сейчас домой... Так и дотянет до петухов... Как кочета закричат, ну и будет,— глядишь, а ты на том же месте стоишь. Верно! Накажи меня бог! — крестится в подтверждение своих слов Гераська.

— Что ж? Это ни капельки не страшно,— пренебрежительно замечает Тёма.

— Не страшно? — воспламеняется Гераська.— А попади-ка к ним под сочельник, они тебе покажут, как не страшно! Погляжу я на тебя, когда Пульчиха...

Пульчиха, старая, восьмидесятилетняя, высокая, толстая одинокая баба, занимала одну из лачуг наемного двора. Она всегда отличалась угрюмым, сосредоточенным, несообщительным нравом и всегда нагоняла на детей какой-то инстинктивный ужас своим низким, грубым голосом, когда гоняла, бывало, их подальше от своих дверей.

Однажды дверь обыкновенно аккуратной Пульчихи оказалась затворенной, несмотря на то, что все давно уже встали. Гераська сейчас же, заметив эту ненормальность, заглянул осторожно в окошечко лачуги и с ужасом отскочил назад: выпученные глаза Пульчихи страшно смотрели на него со своего вздутого, посинелого лица.

Преодолев ужас, Гераська опять заглянул и разглядел тонкую бечевку, тянувшуюся с потолка к ее шее. Пульчиха, казалось, стояла на коленях, но не касаясь пола, а как-то на воздухе. Подняли тревогу, выломали дверь, вытащили старуху из петли, но уж

все было кончено — Пульчиха умерла. Ее отнесли к «висельникам», а лачуга так и оставалась пустой, не привлекая к себе новых квартирантов.

Эта неожиданная, страшная смерть Пульчихи произвела на ватагу сильное, потрясающее впечатление.

— Ты думаешь,— продолжал Гераська, воодушевляясь, и мурашки забегали по спинам ватаги,— ты думаешь, она подохла? держи карман! Вот пусть-ка снимет кто ее хату?! А-га! Вот тогда и узнает, где эта самая Пульчиха, как она, подлая, ночью притащится на четвереньках под окно и станет смотреть, что там делают. Рожа страшная, си-и-и-няя, вздутая, зубами ляскает, а глазищи так и ворочаются, так и ворочаются... Накажи меня бог! Она и сейчас каждую ночь шляется, сволочь, и пока ей в брюхо не забьют осиновый кол, она так и будет лазить. А забьют, ну и шабаш!

Рассказ производит потрясающее впечатление. Тёма давно сорван со своих скептических подмостков и с напряженным лицом следит за каждым движением Гераськи.

Напряженнее всех всегда слушает Колька, у которого даже жилы надуваются на лбу, а рот остается открытым и тогда, когда все остальные уже давно пришли в себя.

— У-у! — ткнет ему, бывало, Яшка пальцем в открытый рот.

Поднимется хохот. Колька вспыхнет и наметит обидчику прямо в ухо. Но Яшка увернется и со смехом отбежит в сторону. Колька пустится за ним, Яшка от него. Смех и общее веселье.

Солнце окончательно исчезает за деревьями; доносятся крикливые голоса матерей всех этих Герасек, Колек, Яшек; ватага шумно карабкается по стене, с размаху прыгает во двор и расходится. Тёма некоторое время наблюдает, как родители встречают запоздалых друзей шлепками, и нехотя возвращается со своим оруженосцем Иоськой домой. Все ему так нравится, все внутри так живет у него, что он жалеет в эту минуту только о том, что не может вечно оставаться на наемном дворе, вечно играть со своими новыми друзьями.

Вечером за чайным столом сидит вся семья, сидит Тёма, и образы двора толпятся перед ним. Он как-то смутно вслушивается в разговор и оживляется лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба пришедшего арендатора на то, что номер Пульчихи по-прежнему не занят.

— Он и не будет никогда занят,— авторитетно заявляет Тёма.

На вопрос «почему?» Тёма сообщает причину. Заметив, что рассказ производит впечатление, Тёма продолжает, стараясь подражать во всем Гераське:

— Как кто наймет, она, подлая, полезет к окну, морда си-иняя, зубами ляскает, сама вздутая, подлая...

Тёма все силы напрягает на последнем слове.

— Боже мой! что это?! — восклицает мать.

Тёма немного озадачен, но доканчивает:

— А вот если ей в брюхо кол осиновый загнать, она, сволочь, перестанет ходить.

На другой день Тёму на наемный двор не пускают, и весь день посвящается чистке от нравственного сора, накопившегося в душе Тёмы.

Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не обнаруживает, хотя одна не совсем красивая история как-то сама собой выплывает на свет божий.

В числе игр, развлекавших ребятишек, были и такие, в которых сорные кучи были ни при чем, а именно: «дзига» — вид волчка, свайка, мяч и орехи. Последняя игра требовала уже денег, так как орехов Абрумка даром не давал. Был, конечно, способ достать орехов в саду. Но орехи сада не годились: они были слишком крупны, шероховаты, а для игры требовались маленькие орехи, круглые и легкие. Ничего, что внутри их все давно сгнило, зато они хорошо катились в ямку. В случае крайности за три садовых ореха Тёме давали один Абрумкин. Эти садовые орехи тоже нелегко давались. Тёма должен был рвать их с риском попасться; иногда ломались ветви под его ногами, что тоже мог заметить зоркий глаз отца. Тёма придумал выход более простой. Он пришел раз к Абрумке и сказал:

— Абрумка, скоро будет мое рождение, и мне подарят двадцать копеек. Дай мне теперь орехов, а в рождение я тебе отдам деньги.

Абрумка дал. Таким образом, набралось на двадцать копеек. Тёма некоторое время не ходил к Абрумке, но нужда заставила, и, придя к нему, он сказал:

— Абрумка, дай мне еще орехов.

Но Абрумка напомнил Тёме, что в рождение ему подарят только двадцать копеек.

Тогда Тёма сказал Абрумке:

— Я забыл, Абрумка, мне Таня обещала еще десять копеек подарить.

Абрумка подозрительно покосился на Тёму. Тёма покраснел и почувствовал к Абрумке что-то враждебное и злое. Он уже хотел убежать от гадкого Абрумки и отказаться от своего намерения взять у него еще орехов, но так как Абрумка пошел в лавку, то и Тёма передумал и направился за ним. Абрумка копался за темным, грязным прилавком, отыскивая между загаженными мухами полками грязную банку с гнилыми орехами, а Тёма ждал, пугливо косясь на соседнюю, тоже темную, комнату, где в полумраке

на кровати обрисовывалась фигура больной жены Абрумки. Она уже давным-давно не вставала и лежала на своей кровати, казалось, засунутая в пуховую перину,— вечно больная, бледная, изможденная, с горевшими черными глазами, с всклокоченными волосами,— и изредка тихо, мучительно стонала.

Получив орехи, Тёма опрометью бросился из лавки, подальше от страшной жены Абрумки, у которой Гераська как-то умудрился заметить хвостик и сам своими глазами видел, как она однажды верхом на метле, ночью под шабаш, вылетела в трубу. Так как Гераська при этом снял шапку, перекрестился и сказал: «Накажи меня бог!» — то сомнения быть не могло в справедливости его слов.

Получив орехи и проиграв их, Тёма больше уже не решался идти к Абрумке. Он чувствовал, что надул его, и это его мучило. Ему казалось, что и Абрум это понял. Тёма чувствовал свою вину перед ним и без щемящего чувства не мог смотреть на угнетенную фигуру вечно торчавшего у своих дверей Абрумки.

Иногда вдруг, среди веселой игры, мелькнет перед Тёмой образ Абрумки, вспомнится близость дня рождения, безвыходность положения, и тоскливо замрет сердце. Только одно утешение и было, что день рождения еще не так близок. Но беда пришла раньше, чем ждал Тёма. Однажды Абрумка, никогда не отходивший ни на шаг от своей лавочки, вдруг, заметив Тёму во дворе, пошел к нему.

Тёма при его приближении вильнул было, как будто играя, в кирпичный сарай, но Абрумка вошел и в сарай и потребовал от Тёмы денег, мотивируя нужду в деньгах неожиданной смертью жены.

Тёма уже с утра слышал от своих товарищей, что жена Абрумки умерла; слышал даже подробный рассказ, как Абрумка сам задушил ее ночью, наложив ей на голову подушку, и, усевшись, сидел на этой подушке до тех пор, пока его жена не перестала хрипеть; затем он слез и лег спать, а утром пошел и сказал всем, что его жена умерла.

— Ты сам видел? — спросил с широко открывшимися глазами Тёма.

— Накажи меня бог, видел! — проговорил Гераська и в доказательство снял шапку и перекрестился.

Теперь этот Абрумка, как будто он никогда не душил своей жены, стоял перед Тёмой в темном сарае и требовал денег.

Тёме стало страшно: а вдруг и его злой Абрумка сейчас задушит и пойдет скажет всем, что Тёма взял и сам умер.

— У меня нет денег,— ответил Тёма коснеющим языком.

— Ну, так я лучше папеньке скажу,— просительно проговорил Абрумка,— очень нужно, нечем хоронить мою бедную Химку...

И Абрум вытер скатившуюся слезу.

— Нет, не говори, я сам скажу,— быстро проговорил Тёма,— я сейчас же принесу тебе.

У Тёмы пропал всякий страх к Абрумке. Искреннее, неподдельное горе, звучавшее в его словах, повернуло к нему сердце Тёмы. Он решил немедленно идти к матери и сознаться ей во всем.

Он застал мать за чтением.

Тёма горячо обнял мать.

— Мама, дай мне тридцать копеек.

— Зачем тебе?

Тёма замялся и сконфуженно проговорил:

— Мне жалко Абрумки, ему нечем похоронить Химку, я обещал ему.

— Это хорошо, что тебе жаль его, но все-таки обещать ему ты не имел никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно располагать.

Тёма напряженно, сконфуженно слушал, и когда Аглаида Васильевна вынесла ему деньги, он обнял ее и горячо ответил ей, мучимый раскаянием за свою ложь:

— Милая моя мама, я никогда больше не буду.

— Ну, иди, иди,— ласково отвечала мать, целуя его.

Тёма бежал к Абрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное блаженства, когда он увидит принесенные ему Тёмой деньги.

Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя себя хорошо и смело, как до того времени, когда он еще не сделался должником, проговорил восторженно:

— Вот, Абрумка!

Абрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно-уныло взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тёму, Абрумка инстинктивно понял, что Тёме нет дела до его горя, что Тёма поглощен собой и требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Абрумка вынул одну конфетку из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил рассеянно:

— Хороший панич.

Тёме не по душе была фамильярность Абрумки, не по душе было равнодушие, с каким последний принял от него деньги, и восторженное чувство сменилось разочарованием. То, что-то близкое, что он за мгновение до этого чувствовал к обездоленному, тихому Абрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным, брезгливым. Тёма уже хотел оттолкнуть конфетку и убежать, хотел сказать Абрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он — Абрумка, а он Тёма — генеральский сын, но что-то удержало его. Он на мгновение почувствовал унизитель-

ное бессилие от своей неспособности обрезать так, как, наверно, обрезала бы Зина, и, скрывая брезгливость, разочарование, раздражение и сознание бессилия, молча взял конфетку и, не глядя на Абрумку, уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тёма увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо доканчивала печальный обряд. Тёма увидел что-то белое, спеленатое и догадался, что это что-то было тело жены Абрумки. В комнате, обыкновенно темной, было теперь светло от отворенных окон; кровать, на которой лежала больная, была пуста и прибрана. «И никогда уж больше не будет лежать на ней жена Абрумки»,— подумал Тёма. Ее сейчас понесут на кладбище, зароют, и останется она там одна с червями, тогда как он, Тёма, сейчас выбежит из лавочки, и счастливый, полный радости жизни, будет играть, смотреть на веселое солнце, дышать воздухом. А она не может дышать. Ах, как хорошо дышать! И Тёма вздохнул всей грудью. Как хорошо бегать, смеяться, жить!.. А она не может жить, она никогда не откроет глаз и никогда, никогда не ляжет больше на эту кровать. Как пусто, тяжело стало на душе Тёмы. Какой мрак и тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти. Да, это все пройдет. Не будет ни Абрумки, ни всех, ни его, Тёмы, ни этой лавочки,— все, все когда-нибудь исчезнет. И все равно когда-нибудь смерть придет, и никуда нельзя от нее уйти, никуда... Вот жена Абрумки... А если б она спряталась под кровать?! Нет, нельзя,— смерть и там нашла бы ее. И его найдет... И от этой мысли у Тёмы захватило дыхание, и он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух.

Скучно стало Тёме. Точно все — все умерли вдруг, и никого, кроме него, не осталось, и все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тёма прибежал к игравшей в пуговки ватаге, озабоченно и взволнованно следившей за движениями Гераськи, в третий раз победоносно собиравшегося бить кон, Тёма облегченно вздохнул, но по-прежнему безучастный, присел на пыльную землю, прижавшись к стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно следил за тем, как мелькали по воздуху отскакивавшие от стены медные пуговки, как, сверкнув в лучах яркого солнца, они падали на пыльную, мягкую землю, мгновенно покрываясь серым слоем, следил за напряженными, возбужденными лицами, и невольная параллель контрастов — того, что было у Абрумки и что происходило здесь,— смутно давила его. Тут радуются, а там смерть, им нет дела до Абрумки, а Абрумке — до них, и нельзя так сделать, чтобы и Абрумка радовался. Если его позвать играть с ними? Он не пойдет. Это им, детям, весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить — ничего они не любят: ни бабок, ни пуговиц, ни мяча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить — скучно будет. Нет, он будет

любить! Он условится вот с Яшкой, Гераськой, Колькой, чтобы всегда любить играть, и будет им всегда весело... Нет, не будет — он тоже разлюбит... Нет, не разлюбит, ни за что не разлюбит! И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично закричал:

— Мой кон!

И вдруг в тот момент, когда Тёма так живо почувствовал желание играть, жить,— у него неприятно ёкнуло сердце при мысли, что он обманул мать.

«Ничего! Когда я просил у мамы прощения, я думал, что прошу за то, что обманул ее, я когда-нибудь расскажу ей все».

Успокоив себя, Тёма забыл и думать обо всем этом. И вдруг все открылось как-то так, что он и оглянуться не успел, как сам же спутал себя.

К удивлению Тёмы, Аглаида Васильевна отнеслась к этой истории очень мягко и только взяла с Тёмы слово, что на будущее время он будет говорить ей всегда правду,— иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся...

...Прошел год. Тёма вырос, окреп и развернулся. В жизни ватаги произошла некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще приятнее было убегать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких прогулках было столько заманчивого!.. Тёма забывал, что он еще маленький мальчик. Он стоял на берегу моря; нежный, мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще не изведанного. Он следил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувством, полный зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых челноках, были в глазах Тёмы и всей ватаги какими-то полубогами. С каким уважением он и ватага смотрели на их загорелые лица; с каким благоговейным напряжением выбивались они из сил, помогая такому собиравшемуся в путь рыбаку стащить в море с гравелистого берега лодку!

— Дяденька, пояс! — кричал какой-нибудь счастливчик, заметив забытый рыбаком на берегу пояс.

Какой завистью горели глазенки остальных, какой удовлетворенной гордостью блистали глаза счастливца, на долю которого досталось оказать последнюю услугу отважному, неразговорчивому рыбаку! Напрасно глаза жадно ищут еще чего-нибудь, забытого на песке!

— Мальчик! Поднеси-ка корзинку! Вон, вон на песке,— кричит с выступающего камня другой рыболов, поймавший на удочку рыбу.

Новая работа: ребятишки вперегонку пускаются за корзинкой и какой-нибудь счастливец уже несется с ней.

— О-го! Здоровый! — разрешает он себе замечание, принимая в корзину пойманную рыбу.

Рыболов снова погружается в безмолвное созерцание неподвижного поплавка, корзинка относится на место, и мальчишки ищут новых занятий. Они собирают по берегу плоские камешки и с размаху пускают их по воде. «Раз, два, три, четыре» — скользя, полетел камень по гладкой поверхности.

— Чебурых! — презрительно говорит кто-нибудь, когда камень, пущенный неумелой рукой, с места зарезывается в воду, вместо того чтобы лететь касательно.

А то, засучив по колена штаны, ватага лезет в воду и ловит под камнями рачков, разных ракушек. Поймает, полюбуется и съест. Ест и Тёма и испытывает бесконечное наслаждение.

Однажды ватага забрела на бойню. Тёма, увлекшись, не заметил, как очутился в самом дворе, как раз в тот момент, когда рассвирепевший бык, оторвавшись от привязи, бросился на присутствовавших, а в том числе и на Тёму. Тёму едва спасли. Мясник, выручивший его, на прощанье надрал ему уши. Тёма был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши. Он стоял сконфуженный, избегая любопытных взглядов ватаги, и обдумывал план мести. Между тем мясники, кончив свою работу, нагрузили телеги и поехали в город. Тёма знал, что их путь лежит мимо дома его отца, и потому отправился за ними. Увидев у калитки дома Еремея, Тёма обогнал обоз и стал у калитки с камнем в руках. Когда выдравший его за ухо мясник поравнялся с ним, Тёма размахнулся и пустил в него камнем, который и попал мяснику в лицо.

— Держи, держи! — закричали мясники и бросились за маленьким разбойником.

Влететь в калитку, задвинуть засов — было делом одного мгновения. На улице раненый мясник благим матом вопил:

— Батюшки, убил! Убил, разбойник!

Мясники на все голоса кричали:

— Грабеж, караул! Караул, режут!

«Убил!» — пронеслось в голове Тёмы.

На крыльцо выскочили из дому испуганные сестры, бонна, а за ней и сама Аглаида Васильевна, бледная, перепуганная непонятной тревогой.

Физиономия Тёмы, его растерянный вид ясно говорили, что в нем кроется причина всего этого шума.

— Что? Что такое? Что ты сделал?

— Я... я убил мясника,— заревел благим матом Тёма, приседая от ужаса к земле.

Было не до расспросов. Аглаида Васильевна бросилась в кабинет мужа. Появление генерала дало делу более спокойный оборот. Все объяснилось, рана оказалась неопасной. Обиженный

получил на водку, и через несколько минут мясники снова отправились в путь. У Тёмы отлегло от сердца.

— Негодный мальчик! — проговорила, входя с улицы, мать.

Тёма потупился и почувствовал себя действительно негодным мальчиком. Николай Семенович был не того мнения.

— За что ж ты ругаешь его? — возмущенно обратился он к жене.— Что ж, по-твоему, ему уши будут рвать, а он ручки за это должен целовать?

Аглаида Васильевна, в свою очередь, была озадачена.

— Ну, так и берите себе этого разбойника, а мне он больше не сын,— проговорила она и быстро ушла в комнаты.

Тёма не почувствовал никакой радости от поддержки отца и удовлетворенно вздохнул только тогда, когда последний ушел. На душе у него было неспокойно; лучше было бы, если бы отец его выругал, а мать похвалила.

Походив с час, Тёма отправился к матери и, как полагалось, когда мать на него сердилась, проговорил:

— Мама, я больше не буду.

— Скверный мальчик! Что ты больше не будешь? Ты понимаешь, в чем ты виноват?

— В том, что дрался.

— В том, что ты такой же грубый, как и тот мясник, в которого ты швырнул камнем. Ты знаешь, что, если бы не он, бык разорвал бы тебя?

— Знаю.

— Если бы ты тонул и тебя за волосы вытащили бы из воды, ты тоже бросил бы камнем в того, кто тебя вытащил?

— Ну да... А зачем он меня за руку не взял?

— А зачем ты без позволения к нему во двор пошел? Зачем ставишь себя в такое положение, что тебя могут взять за ухо? Зачем ты без позволения на бойне был? Зачем ты злой? Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчик? Мясник грубый, но добрый человек, а ты грубый и злой... Иди, я не хочу такого сына!..

Тёма приходил и снова уходил, пока наконец само собой как-то не осветилось ему все: и его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая грубость мясника, и ответственность Тёмы за созданное положение дела.

— Ты, всегда ты будешь виноват, потому что им ничего не дано, а тебе дано; с тебя и спросится.

Закончилось все уже вечером притчей о талантах и рассуждением на тему: кому много дано, с того много и спросится.

Тёма внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых чувствовалось, что он сознательно переживает смысл сказанного.

Горячая Аглаида Васильевна не могла удержаться, чтобы в та-

кой удобный момент не подбросить несколько лишних полен...

— Ты большой уже мальчик, тебе десятый год. Один мальчик в твои годы уже царем был.

Глаза Тёмы широко раскрылись.

— А я когда буду царем? — спросил он, уносясь мыслью в сказочную обстановку Ивана-царевича.

— Ты царем не будешь, но ты, если захочешь, ты можешь помогать царю. Вот такой же мальчик, как ты...

И Тёма узнал о Петре Великом, Ломоносове, Пушкине. Он услышал коротенькие стихи, которые мать так звучно и красиво прочла ему:

Сети рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик ему помогал. Мальчик, оставь рыбака!
Сети иные тебя ожидают,
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Тёме рисовалась знакомая картина: морской берег, загорелые рыбаки, он, нередко помогавший им расстилать на берегу для просушки мокрые сети, и, вздохнув от избытка чувств, он проговорил удовлетворенно:

— Мама, я тоже помогал расстилать сети рыбакам.

Засыпая в этот вечер, Тёма чувствовал себя как-то особенно возвышенно настроенным. В сладких, неясных образах носились перед ним и рыбаки, и сети, и неведомый мальчик, отмеченный какой-то особой печатью, и десятилетний грозный царь, и все это, согреваемое сознанием чего-то близкого, соприкосновенного, ярко переливало в сонном мозгу Тёмы.

«А все-таки я хорошо сделал, что хватил мясника: теперь уж никто не захочет взять меня за ухо!» — пронеслось вдруг последней сознательной мыслью, и Тёма безмятежно заснул.

VI

ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

Еще год прошел. Подоспела гимназия. Тёма держал в первый класс и выдержал. Накануне начала уроков Тёма в первый раз надел форму.

Это был счастливый день!

Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тёма отпросился на наемный двор. Он шел сияющий и счастливый.

Было августовское воскресенье; яркие лучи заливали сверху, глаза тонули в мягкой синеве чистого неба. Акации, окаймлявшие кладбищенскую стену, точно спали в сиянии веселого, ласкового дня.

Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тёму глазами. С тою же неприветливостью смотрит и похожий на отца старший сын. Зато «Кейзеровна» вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и ее белый высокий чепчик усердно кивает Тёме. Маленький Кейзер — младшая ветвь, весь в мать — тоже растаял и переводит свои блаженные глаза с чепчика матери на Тёмин мундир.

— Здравствуйте, здравствуйте, Тёмочка! — говорит Кейзеровна.— Ну вот вы, слава богу, и гимназист... совсем как генерал...

Тёма сомневается, чтобы он был похож на генерала.

— Папеньке и маменьке радость,— продолжает Кейзеровна.— Папенька здоров?

— Здоров,— отвечает Тёма, смотря в пространство и роя сапогом землю.

— И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну, слава богу, что все здоровы.

Тёма чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперед.

У дверей своей лачуги сидит громадный Яков и наслаждается. Его красное лицо блестит, маленькие черные глаза блестят, разутые большие ноги греются, вытянутые на солнце. Он уже пропустил перед обедом... В отворенное окно несется писк и шипение сковороды, на которой жарится одна из пойманных сегодня камбал. Яков каждое воскресенье ходит удить рыбу. Шесть дней он переносит пятипудовые мешки на своих плечах с телег на суда, а в седьмой — до обеда удит, а с обеда до вечера кейфует и наслаждается отдыхом. С ним живет старуха мать, и больше никого. Была когда-то жена, но давно сбежала, и давно уже ничего о ней не знает Яков.

— Яков, я уже поступил в гимназию,— говорит Тёма, останавливаясь перед ним.

— В гимназию,— добродушно тянет Яков и улыбается.

— Это мой мундир.

— Мундир? — повторяет Яков и опять улыбается.

Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку.

— Много наловил? — спрашивает Тёма.

— Наловил,— отвечает Яков, отставив рукой большой палец ноги, который, как только его выпустил Яков, еще плотнее насел на соседний.

— А мне уж нельзя больше с тобой ходить,— говорит Тёма, вздыхая,— я теперь гимназист.

— Гимназист,— повторяет Яков и опять улыбается.

Тёма идет дальше, и везде, где только сидят, он останавливается, чтоб показать себя. Только заметив Ивана Ивановича, он спе-

шит пройти мимо. Тёма не любит разговаривать с Иваном Ивановичем, когда он пьян. А Иван Иванович, отставной унтер-офицер, сослуживец отца, несомненно пьян. Он сидит на завалинке, качается и поводит кругом мутными глазами.

— Стой! — кричит он, увидав Тёму,— на караул!

— Дурак,— отвечает, не останавливаясь, Тёма.

— Стой!! Едят тя мухи с комарами!

И Иван Иванович делает вид, что бросается за Тёмой.

Тёма пускается в рысь, а Иван Иванович весело визжит:

— Держи, держи!

Тёма скандализован; он заворачивает за угол, оправляется и опять чинно идет дальше.

Появление Тёмы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тёма наслаждается впечатлением и рассказывает, с чужих слов, какие в гимназии порядки.

— Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалит, а другой скажет,— тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют.

Ватага, поджав свои босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тёму. Когда небольшой запас сведений Тёмы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти и Тёме. Тёма решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему — гимназисту — идти рядом с ними. Тёма шел впереди, а вся ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тёма выбирал самые людные улицы, шел и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти равнялся с ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперед. Так они все дошли до берега моря.

Ах, какое чудное было море! Все оно точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце и тихо, едва слышно билось о мягкий песчаный берег. А там, на горизонте, оно, уже совсем спокойное и синее-синее, уходило в бесконечную даль. Там, казалось, было еще прохладнее.

Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной рубахе. Тёма оглянулся, где бы уложить новенький мундир?

— А вот дайте, я подержу,— проговорил вдруг высокий, худой старик.

Тёма с удовольствием принял предложение.

— Да вы бы, сударь, немного подальше от этих... неловко вам,— шепнул Тёме на ухо старик, когда Тёма собрался было раздеваться.

«Это верно!» — подумал Тёма и, обратившись к ватаге, сказал:

— Нам в гимназии нельзя... нам запрещено вместе... Вы здесь купайтесь, а я пойду подальше...

Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли.

— Ну, вот здесь уж можно,— проговорил старик, когда ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню. Тёма разделся и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Тёмы. А Тёма старался.

— Я могу вон до тех пор доплыть под водой,— кричал он и с размаху бросался в воду.— Я и на спине могу,— кричал опять Тёма.— Я могу и смотреть в воде!

И Тёма опускался в воду, открывал глаза и видел желтые круги.

— А я могу...— начал снова Тёма, да так и замер: ни старика, ни платья не было больше на берегу. В первую минуту Тёма и не догадался о печальной истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешел на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришел к ватаге, уже выкупавшейся и одетой, и сообщил ей свое горе. Розыски были бесполезны. Все пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю.

— Может, это нечистый был,— сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу.

— Пойдем,— предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.

— А я как же? — жалобно проговорил Тёма.

Была одна комбинация: остаться Тёме на берегу и ждать, пока дадут знать домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тёма волей-неволей потянулся за всеми.

— У-ла-ла-а! Голый мальчик!

— Голый мальчик! Голый мальчик!— И толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Тёмой.

Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тёма шел и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чем дело. Но Тёма так плакал, что говорить сам не мог; за него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали, слушал и Тёма. Когда рассказ доходил до мундира, Тёма не выдерживал и начинал снова рыдать.

— Но почему же вы не возьмете извозчика? — спросил Тёму господин в золотых очках.

«Извозчика?!» — думал Тёма. Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья! Нет, он не возьмет извозчика.

Два господина остановили процессию и тоже пожелали узнать, в чем дело. Выслушав, один из них спросил Тёму:

— Как ваша фамилия?

— Ка-ка-рташев,— ответил, захлебываясь, Тёма.

— Генерала Карташева? — переспросил удивленно господин и, посмотрев насмешливо на своего спутника, проговорил пренебрежительно: — Венгерский герой!

— А-га! — протянул небрежно его спутник. И оба прошли, чему-то улыбаясь.

Сердце Тёмы болезненно сжалось от этих туманных, насмешливых намеков. Ему ясно было одно: над его отцом смеются! И ему стало так больно, что он забыл, что он голый, и весь потонул в мучительной мысли. Теперь, когда спрашивали его, как фамилия, Тёма отвечал уже нерешительно и робко. Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливо смотрел в глаза спрашивавших.

— Вы сын генерала?

— Да,— отвечал почти шепотом Тёма.

— Бедный мальчик! Возьмите извозчика.

Слава богу, этот ничего не сказал.

— Генерала Карташева?! Николая Семеныча?!

Тёма стоял ни жив ни мертв. Это было на базарной площади, и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик.

«А вдруг он меня сейчас ударит?!» — подумал Тёма.

— Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадронным еще... Я и жив через него остался! Лизка! Лизка-а!

Подошла толстая краснощекая торговка.

— Воз давай! — орал старик.

— Какой еще воз?

— Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою... Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз... Офицер на войне... Ну, вот из-под лошади... Э, дура!

«Дура» вспомнила и с любопытством осматривала Тёму.

— Ну, так вот сын его... Ну, давай, что ли, воз! Сам повезу... С рук на руки сдам. Вот что!

— А кавуны? С десяток еще осталось.

— Ну их! Какие тут кавуны! Давай воз! Ах ты, грех какой! Ну, беда! Ах он, окаянный!

Так причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Тёме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе.

— Вот какое дело вышло! — продолжал кричать старик, обращаясь к окружающим,— первый генерал, можно сказать, и на вот!.. То ись, значит... Одно слово! Прямо отец!.. Строг!.. А чтоб обидеть — ни-ни! Тут вот сейчас смерть твоя, а тут ото-

шел, отошел... и нет его: голыми руками бери! И любили ж! Ну, прямо вот скажи: ложись и помирай! Сейчас! Ей-богу!

— Конечно, ежели, к примеру, хороший господин...— поддержал старика мастеровой.

— То ись, вот какой господин — что тебе, солдату, полагается, значит, бери, а водку особо. Вот какой господин!

Этот довод окончательно убедил толпу.

— Такому господину и послужить можно!

— Известно, можно!

— То вже не то що як, а то господын...

А старик уже сидел на возу и только молча одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тёма, укутанный в свиту, с наслаждением прислушиваясь к словам старика.

— Ты хорошо знаешь моего отца? — спрашивал Тёма.

— Ах ты, мой милый, милый! — говорил старик,— отца твоего я во как знаю. Я двадцать лет его изо дня в день видал. Этакого человека нет и не будет! Он за тебя и душу свою, и себя самого, и рубаху последнюю снимет! Вот он какой!

Тёма уж так расстроился, что не мог удержаться от слез; слезы радости, слезы счастья за отца текли по его щекам. Ватага не отставала от Тёмы и вся шла тут же возле телеги.

— Вы тут что? — накинулся было на них старик.

— Это мои мальчики, они со мной,— вступился Тёма.— Они у нас живут в доме.

— Вот как! Дружки, значит? Так что ж... айда в телегу и вы!

Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись, разместилась, кто как мог. Через несколько минут ребятишки веселым шепотом еще раз передавали случившееся, на этот раз передавая все с комическим оттенком. Как ни был опечален Тёма, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекали от нечистого. Нередко на чью-нибудь меткую остроту раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании.

— Прысь, прысь! — говорил старик, за спиной которого шушукались дети, как котята в мешке.

И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом:

— Вишь, как они!.. Как мухи к меду... Не брезгуешь...

И, повернувшись назад, старик убежденно докончил:

— И господь не побрезгует тобой.

Только через неделю была готова новая форма.

Когда Тёма появился в первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре.

Тёму проводили из дому с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен. Мать торжественно перекрестила его с надлежащими наставлениями новеньким образком, который и повесили ему на шею. Он перецеловался со всеми, как будто уезжал на несколько лет. Сережику он обещал принести из гимназии лошадку. Мать, стоя на крыльце, в последний раз перекрестила отъезжавших отца и сына. Отец сам вез Тёму, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей, больше чем когда-либо торжественный. Сам Гнедко вез Тёму. В воротах стоял Иоська и сиротливо улыбался своему товарищу. Из наемного двора высыпала вся ватага ребятишек, с разинутыми ртами провожавшая глазами своего члена. Тут были все налицо: Гераська, Яшка, Колька, Тимошка, Петька, Васька... В открытые ворота мелькнул наемный двор, всевозможные кучи, вросшие в землю избушки, чуть блеснула стена старого кладбища. Вспомнилось прошлое, мелькнуло сознание, что все уж это назади, как ножом отрезано... Что-то сжало горло Тёмы, но он покосился на отца и удержался. Дорогой отец говорил Тёме о том, что́ его ждет в гимназии, о товариществе, как в его время преследовали ябед — накрывали шинелями и били.

Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины геройских подвигов.

У дверей класса Тёма поцеловался в последний раз с отцом и остался один.

Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массой детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но все равнодушно и безучастно; их было слишком много, чтобы интересоваться Тёмой.

Вошел Иван Иванович, высокий черный надзиратель, совсем молодой еще, конфузливый, добрый, и крикнул:

— Господа, есть еще место?

На каждой скамейке сидело по четыре человека. Свободное место оказалось на последней скамейке.

— Ну, вот и садись,— проговорил Иван Иванович и, постояв еще мгновение, вышел из класса.

Тёма пошел скрепя сердце на последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего.

— Сюда! — строго скомандовал высокий, плотный, краснощекий мальчик лет четырнадцати.

Тёму поразил этот верзила, составлявший резкий контраст со всеми остальными ребятишками.

— Полезай! — скомандовал Вахнов и довольно бесцеремонно толкнул Тёму между собой и маленьким черным гимназистом, точно шапкой покрытым мохнатыми, нечесаными волосами.

Из-под этих волос на Тёму сверкнула пара косых черных глаз и снова куда-то скрылась.

Несколько человек бесцеремонно подошли к соседним скамьям и смотрели на конфузившегося, не знавшего куда девать свои руки и ноги Тёму. Из них особенно впился в Тёму белобрысый некрасивый гимназист Корнев, с заплывшими небольшими глазами, как-то в упор, пренебрежительно и недружелюбно осматривая его. Вахнов, облокотившись локтем о скамейку, подперев щеку рукой, тоже осматривал Тёму сбоку с каким-то бессмысленным любопытством.

— Как твоя фамилия? — спросил он наконец у Тёмы.

— Карташев.

— Как? Рубль нашел? — переспросил Вахнов.

— Очень остроумно! — едко проговорил белобрысый гимназист и, пренебрежительно отвернувшись, пошел на свое место.

— Это — сволочь! — шепнул Вахнов на ухо Тёме.

— Ябеда? — спросил тоже на ухо Тёма.

Вахнов кивнул головой.

— Его били под шинелями? — спросил опять Тёма.

— Нет еще, тебя дожидались,— как-то загадочно проговорил Вахнов.

Тёма посмотрел на Вахнова.

Вахнов молча, сосредоточенно поднял вверх палец.

Вошел учитель географии, желтый, расстроенный. Он как-то устало, небрежно сел и раздраженно начал перекличку. Он то и дело харкал и плевался во все стороны. Когда дошло до фамилии Карташева, Тёма, по примеру других, сказал:

— Есть.

Учитель остановился, подумал и спросил:

— Где?

— Встань! — толкнул его Вахнов. Тёма встал.

— Где вы там? — перегнулся учитель и чуть не крикнул: — Да подите сюда! Прячется где-то... ищи его.

Тёма выбрался, получив от Вахнова пинка, и стал перед учителем.

Учитель смерил глазами Тёму и сказал:

— Вы что ж? Ничего не знаете из пройденного?

— Я был болен,— ответил Тёма.

— Что ж мне-то прикажете делать? С вами отдельно начинать с начала, а остальные пусть ждут?

Тёма ничего не ответил. Учитель раздраженно проговорил:

— Ну, так вот что, как вам угодно: если чрез неделю вы не будете знать всего пройденного, я вам начну ставить единицы до тех пор, пока вы не нагоните. Понятно?

— Понятно,— ответил Тёма.

— Ну, и ступайте.

— Ничего,— прошептал успокоительно Вахнов.— Уж без того не обойдется, все равно, чтобы не застрять на второй год. Ты знаешь, сколько я лет уж высидел?

— Нет.

— Угадай!

— Больше двух лет, кажется, нельзя.

— Три. Это только для меня, потому что я сын севастопольского героя.

Следующий урок был рисование. Тёме дали карандаш и бумагу.

Тёма начал выводить с модели какой-то нос, но у него не было никаких способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное.

— Ты совсем не умеешь рисовать? — спросил Вахнов.

— Не умею,— ответил Тёма.

— Сотри! Я тебе нарисую.

Тёма стер. Вахнов в несколько штрихов красиво нарисовал ему большой, выпуклый, с шишкой нос.

— Разве он похож на этот нос? — спросил огорченно Тёма, сравнивая его с моделью римского носа.

— Ну, вот глупости, ты можешь рисовать всякий, какой захочешь... Лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос... вот и все. Это все глупости, а вот хочешь, я покажу тебе фокус, только крепко держи.

Вахнов сунул в руку Тёмы какой-то продолговатый предмет.

— Крепко держи!

— Ты что-нибудь сделаешь?

— Ну вот... только держи... крепче! — И Вахнов с силой дернул шнурок.

В то же мгновение Тёма с пронзительным криком, уколотый двумя высунувшимися иголками, хватил со всего размаха Вахнова по лицу.

Учитель встал со своего места и пошел к Тёме.

— Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями,— прошептал Вахнов.

Учитель, с каким-то болезненным, прозрачным лицом, с длинными бакенбардами, с стеклянными глазами, подошел и уставился на Тёму.

— Как фамилия?

— Карташев.

— Встаньте!

Тёма встал.

— Вы что ж, в кабак сюда пришли?

Тёма молчал.

— Ваше рисование?

Тёма протянул свой нос.

— Это что ж такое?

— Это моего дяди нос,— отвечал Тёма.

— Вашего дяди? — загадочно переспросил учитель.— Хорошо-с, ступайте из класса!

— Я больше не буду,— прошептал Тёма.

— Хорошо-с, ступайте из класса.— И учитель ушел на свое место.

— Иди, это ничего,— прошептал Вахнов.— Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец! Первым товарищем будешь!

Тёма вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро подвигалась к Тёме.

— Вы зачем здесь? — наклонясь к Тёме, спросил как-то неопределенно мягко господин.

Тёма увидел перед собой черное, с козлиной бородой лицо, большие черные глаза с массой тонких синих жилок вокруг них.

— Я... Учитель сказал мне постоять здесь.

— Вы шалили?

— Не... нет.

— Ваша фамилия?

— Карташев.

— Вы маленький негодяй, однако! — проговорил господин, совсем близко приближая свое лицо, таким голосом, что Тёме показалось, будто господин этот оскалил зубы. Тёма задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Абрумкой.

— За что Карташев выслан из класса? — спросил он, распахнув дверь.

При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку.

— Дерется,— проговорил учитель.— Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди.

Светлый класс, масса народа успокоили Тёму. Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но, на свое несчастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, пред всем классом, заявить, так сказать, себя сразу, и он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом:

— Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и ска...

— Молчать!! — заревел благим матом господин в форменном фраке.— Негодный мальчишка!

Тёме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову.

— Позвольте...— заговорил он дрожащим, растерянным голосом,— вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?

— Вон!! — заревел господин во фраке и, схватив за руку Тёму, потащил за собой по коридору.

— Постойте...— упирался сбившийся окончательно с толку Тёма.— Я не хочу с вами идти... Постойте...

Но господин продолжал волочить Тёму. Дотащив его до дежурной, господин обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства:

— Везите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из гимназии.

Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления.

Мать сидела в столовой и занималась с Зиной и Наташей. Из отворенных дверей детской доносилась возня Сережика с Аней.

— Так все-таки испугался?

— Струсил,— усмехнулся отец.— Глазенки забегали. Привыкнет.

— Бедный мальчик,— трудно ему будет! — вздохнула мать и, посмотрев на часы, проговорила: — Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда.

— Мама,— вмешалась Зина,— он любит больше всего компот.

— Я подарю ему свою записную книжечку.

— Какую, мама,— из слоновой кости? — спросила Зина.

— Да.

— Мама, а я подарю ему свою коробочку. Знаешь? Голубенькую.

— А я, мама, что подарю? — спросила Наташа.— Он шоколад любит... я подарю ему шоколаду.

— Хорошо, милая девочка. Всё положим на серебряный поднос и, когда он войдет в гостиную, торжественно поднесем ему.

— Ну, и я ему тоже подарю: кинжал в бархатной оправе,— проговорил отец.

— Ну, уж это будет полный праздник ему...

Звонок прервал дальнейшие разговоры.

— Кто б это мог быть? — спросила мать и, войдя в спальню, заглянула на улицу.

У калитки стоял Тёма с каким-то незнакомым господином в помятой шляпе. Сердце матери тоскливо ёкнуло.

— Что с тобой?! — окликнула она Тёму, входившего с каким-то взбудораженным, перевернутым лицом.

На этом лице было в это мгновение всё: стыд, растерянность, какая-то тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство,— одним словом, такого лица мать не только никогда не видала у своего сына, но даже и представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Тёмой случилось какое-то большое горе.

— Что с тобой, мой мальчик?

Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тёму привычным теплом и лаской семьи, после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии потряс его до самых тончайших фибр его существования.

— Мама! — мог только закричать он и бросился, судорожно, безумно рыдая, к матери...

После обеда Карташевы, муж и жена, поехали объясняться к директору.

Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека.

Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери, и, когда она кончила, как-то нехотя начал:

— В моем распоряжении с лишком четыреста детей. Каждая мать, конечно, воспитывает своих детей, как ей кажется лучше, считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном: о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать с своей точки зрения о правах своего начальника, забьет себе в свою легкомысленную, взбалмошную голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать шалости,— следовательно, в основе его — уже стремление высвободиться от влияния руководителя,— зачем же тогда эти руководители? Будем последовательны — зачем же вы тогда? Мне кажется: раз вы почему-либо признаете необходимостью для вашего сына общественное воспитание, раз вы почему-либо отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам, вы тем самым обязаны беспрекословно признать все наши правила, созданные не для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость; мы не мешались в воспитание вашего сына до поступления его в гимназию...

— Но ведь он остается же моим сыном?

— Во всем остальном, кроме гимназии. С момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем — это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру; в противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать им для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять, как мой окончательный ультиматум как директора гимназии, а как частный человек — могу только прибавить, что если б даже я желал что-нибудь изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в отставку. Говорю вам это, чтоб яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш, конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно, возмутительную сцену. Безнаказанным его поступка тоже нельзя оставить... для других. Я верю в его невинность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву, Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в севастопольскую кампанию большие услуги городу... Но всякому терпению есть граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну, и сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать.

Мать Карташева молча, взволнованно встала. В ней все бурлило и волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать.

— Я хотел только сказать,— проговорил, вставая за женой, Карташев,— я вполне разделяю все ваши взгляды... Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам... Дисциплина... конечно... Но я хотел только вам сказать насчет товарищества... Все ж таки, мне кажется, нельзя отрицать его пользы...

Жена с неудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем совершенно бесполезного разговора.

— Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается,— ответил директор,— а именно — скрывать негодяев, заслуживающих наказания.

— Боже мой,— прошептала Карташева,— нашаливший ребенок — негодяй!

И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то само собой:

— Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью?

Директор вспыхнул до корня волос.

— Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме... Я ска-

зал бы... Я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами.

Карташева спохватилась.

— Я прошу вас извинить мою невольную горячность... Это все так ново... пожалуйста, извините... У вашей жены есть дети? — обратилась она с неожиданным вопросом к директору.

— Есть,— озадаченно ответил он.

— Передайте ей,— дрожащим голосом проговорила Карташева,— что я от всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын.

И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к экипажу.

Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на директора... Мысли беспорядочно, нервно проносились в ее голове. Чужая... Совсем чужая... Все пережитое, перечувствованное, выстраданное — не дает никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки отдаешь свой десятилетний, напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие... Общие соображения?! Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для себя, а не для тех же отдельных субъектов... Точно это общее, а не они сами, со временем станет за них в ряды честных, беззаветных работников своей родины... Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь самолюбия ребенка.

— Едем,— проговорила она нервно садившемуся мужу,— едем скорее от этих неуязвимых людей, которые думают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми.

Вечером было прислано определение педагогического совета. Тёма в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков.

На следующий день Тёма с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один.

Поднимаясь по лестнице, Тёма лицом к лицу столкнулся с директором. Он не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча, внимательно наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступени. Когда, поднявшись, он увидал директора,— черные глаза последнего строго и холодно смотрели на него.

Тёма испуганно, неловко стащил шапку и поклонился.

Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.

VII

БУДНИ

Мелкий ноябрьский дождь однообразно барабанил в окна.

На больших часах в столовой медленно-хрипло пробило семь часов утра.

Зина, поступившая в том же году в гимназию, в форменном коричневом платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом, пила молоко и тихо бурчала себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежавшую перед ней книгу.

Когда пробили часы, Зина быстро встала и, подойдя к Тёминой комнате, проговорила через дверь:

— Тёма, уже четверть восьмого.

Из Тёминой комнаты послышалось какое-то неопределенное мычание.

Зина возвратилась к книге, и снова в столовой раздался тихий, равномерный гул ее голоса.

В комнате Тёмы царила мертвая тишина.

Зина опять подошла к двери и энергично произнесла:

— Тёма, да вставай же!

На этот раз недовольным, сонным голосом Тёма ответил:

— И без тебя встану!

— Осталось всего пятнадцать минут, я тебя ни одной минуты не буду ждать. Я не желаю из-за тебя каждый раз опаздывать.

Тёма нехотя поднялся.

Надев сапоги, он подошел к умывальнику, раза два плеснул себе в лицо водой, кое-как обтерся, схватил гребешок, сделал небрежный раздел сбоку — кривой и неровный, несколько раз чеснул свои густые волосы; не докончив, пригладил их нетерпеливо руками и, одевшись, застегивая сюртук на ходу, вошел в столовую.

— Мама приказала, чтоб ты непременно стакан молока выпил,— проговорила Зина.

Тёма только сдвинул молча брови.

— Я не буду такой бурды пить... Пей сама! — ответил Тёма, толкая поданный Таней стакан чаю.

— Артемий Николаевич, мама крепкий же не позволяют.

Тёма посидел несколько мгновений, затем решительно вскочил, взял чайник и подлил себе в стакан крепкого чаю.

Таня посмотрела на Зину, Зина на Тёму, а Тёма, довольный, что добился своего, макал в чай хлеб и ел его, ни на кого не глядя.

— Молоко будете пить? — спросила Таня.

— Полстакана!

После молока Зина встала и, решительно проговорив:

«Я больше ни минуты не жду»,— начала поспешно собирать свои тетради и книги.

Тёма не спеша последовал ее примеру.

Брат и сестра вышли на подъезд, где давно уже ждал их со всех сторон закрытый, точно облитый водой, экипаж, мокрая Буланка и такой же мокрый, сгорбившийся, одноглазый Еремей.

В экипаже исчезли сперва Зина, а за ней Тёма.

Еремей застегнул фартук и поехал.

Дождь уныло барабанил по крыше экипажа. Тёме вдруг показалось, что Зина заняла больше половины сиденья, и потому он начал полегоньку теснить Зину.

— Тёма, что тебе надо? — спросила будто ничего не понимавшая Зина.

— Ну, да ты расселась так, что мне тесно!

И Тёма еще сильнее нажал на Зину.

— Тёма, если ты сейчас не перестанешь,— проговорила Зина, упираясь изо всех сил ногами,— я назад поеду, к папе!..

Тёма молча продолжал свое дело. Сила была на его стороне.

— Еремей, поезжай назад! — потеряв терпение, крикнула Зина.

— Еремей, пошел вперед! — закричал в то же время Тёма.

— Еремей — назад!

— Еремей — вперед!

Окончательно растерявшийся Еремей остановился и, заглядывая через щель единственным глазом к своим неуживчивым седокам, проговорил:

— Ну ей-же-богу, я слизу с козел, и идьте, як хотыте, бо вже не знаю, кого и слухаты!

Внутри экипажа все стихло. Еремей поехал дальше. Он благополучно добрался до женской гимназии, где сошла Зина. Тёма поехал дальше один.

Фантазия незаметно унесла его далеко от действительности, на необитаемый остров, где он, всласть навоевавшись с дикарями и со всевозможными чудовищами мира, надумался наконец умирать.

Умирать Тёма любил. Все будут жалеть его, плакать; и он будет плакать... И слезы вот-вот уж готовы брызнуть из глаз Тёмы... А Еремей давно уже стоит у ворот гимназии и удивленным глазом смотрит в щелку. Тёма испуганно приходит в себя, оглядывается, по царящей тишине во дворе соображает, что опоздал, и сердце его тоскливо замирает. Он быстро пробегает двор, лестницу, проворно снимает пальто и старается незамеченным проскользнуть по коридору.

Но высокий Иван Иванович, размахивая своими длинными руками, уже идет навстречу. Он как-то мимоходом ловит за плечо Тёму, заглядывает ему в лицо и лениво спрашивает:

— Карташев?

— Иван Иванович,— не записывайте,— просит Тёма.

— Учитель же все равно запишет,— отвечает флегматично Иван Иванович, у которого не хватает духу прямо отказать.

— У нас батюшка... я попрошу...

Иван Иванович нерешительно, нехотя говорит:

— Хорошо...

Тёма отворяет большую дверь и как-то боком входит в свой класс. Его обдает спертым, теплым воздухом, он торопливо кланяется батюшке и спешит озабоченно на свое место.

По окончании урока маленькая фигурка бежит за священником:

— Батюшка, сотрите мне abs[1]

Батюшка идет, переваливаясь с боку на бок, не спеша откидывает свою шелковую рясу, достает платок, сморкается и спрашивает Тёму:

— А зачем же вы опаздываете?

За Тёмой и батюшкой, толкаясь, бежит целый хвост любопытных учеников. Всякому интересно хоть одним ухом послушать, в чем дело.

— У нас часы отстают,— отвечает Тёма, понижая голос так, чтобы другие не слышали.— Я теперь их поставлю на четверть часа вперед.

— Вы часов не портите, а лучше сами вставайте на четверть часа раньше,— говорит батюшка и исчезает в дверях учительской.

Хвост фыркает.

Тёма подавляет недоумение, делает беспечную физиономию перед насмешливо смотрящими на него учениками и спешит в класс. Там он садится на свое место, поднимает оба колена, упирается ими в скамью и, стараясь смотреть равнодушно, вдумывается в смысл батюшкиных слов.

Вахнов свернул бумажку и, помочив ее слюнями, водит ею вокруг шеи и лица Тёмы. Тёма досадливо говорит:

— Ну, отстань же!

Но Вахнов не отстает.

— Ну, что ты за свинья! — говорит Тёма.

В ответ Вахнов хватает Тёму за руку и выкручивает ее ему за спину. У Тёмы закипает бессильная злоба, ему хочется «треснуть» Вахнова, и он пускается на хитрость.

— Ну, оставь же,— повторяет уже ласково Тёма.

Вахнов смягчается, снисходительно дает Тёме щелчок и выпускает его руку. Тёма быстро вскакивает на скамью и, «треснув» Вахнова, мчится от него по скамьям. Верзила Вахнов несется за

---

[1] abs — отсутствует (от *лат.* absens).

ним. Тёма прыгает на пол и бросается к двери. Вахнов настигает его, мнет и со всего размаха бьет ладонью по лопаткам.

— Ну, что ты за свинья?! — говорит тоскливо Тёма.

Вахнов отвечает увесистыми шлепками.

— Оставь же,— уже жалобно молит Тёма.— Ну, что ты меня мучишь?

В голосе Тёмы слышатся Вахнову слезы. Ему делается жаль Тёму.

— Му-мочка! — говорит Вахнов и опять, уже от избытка чувств, тискает Тёму.

По коридору идет молодой, в очках, учитель латинского языка Хлопов. При входе учителя все уже по местам. Хлопов внимательно осматривает класс, быстро делает перекличку, затем сходит с своего возвышения и весь урок гуляет по классу, не упуская ни на мгновение никого из виду. Проходя мимо скамьи, где сидит маленький с кудрявой головой и потешной птичьей физиономией Герберг, учитель останавливается, нюхает воздух и говорит:

— Опять чесноком воняет?!

Герберг краснеет, так как аромат несется из его ящика, где лежит аппетитный кусок принесенной им для завтрака фаршированной щуки.

— Я вас в класс не буду пускать! Что это за гадость?! Сейчас же вынесите вон! — И, помолчав, говорит вслед уносящему свое лакомство Гербергу:

— Можете себе наслаждаться, когда уж так нравится, дома.

Ученики фыркают, смотрят на Герберга, но на лице последнего, кроме непонимания: как может не нравиться такая вкусная вещь, как фаршированная щука,— ничего другого не отражается. Тёма с любопытством смотрит на Герберга, потому что он сын Лейбы, и Тёма, постоянно видевший Мошку за прилавком отца, никак не может освоиться с фигурой его в гимназическом сюртуке.

— Корнев, склоняйте,— говорит учитель.

Корнев встает, перекашивает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и кисло начинает хриплым, низким голосом.

Учитель слушает и раздраженно морщится.

— Да что вы скрипите, как немазаная телега? Ведь, наверно же, во время рекреации[1] умеете говорить другим голосом.

Корнев прокашливается и начинает с более высокой ноты.

— Иванов, продолжайте...

Сосед Тёмы, Иванов, встает, смотрит своими косыми глазами на учителя и продолжает.

— Неверно! Вахнов, поправить!

Вахнов встрепанно вскакивает и молчит.

---

[1] Перемена (от *лат.* recreatio).

— Карташев!

Тёма вскакивает и поправляет.

— Ну? Дальше!

— Я не знаю,— угрюмо отвечает Иванов.

— Вахнов!

— Я вчера болен был.

— Болен,— кивает головой учитель.— Карташев!

Тёма встает и вздыхает: недаром он хотел повторить перед уроком — все выскочило из головы.

— Ну, не знаете, говорите прямо!

— Я вчера учил.

— Ну, так говорите же!

Тёма сдвигает брови и усиленно смотрит вперед.

— Садитесь!

Учитель в упор осматривает Вахнова, Карташева и Иванова.

Вахнов самодовольно водит глазами из стороны в сторону. Иванов, сдвинув брови, угрюмо смотрит в скамью. Затянутый, бледный Тёма огорченно, пытливо всматривается своими испуганными голубыми глазами в учителя и говорит:

— Я вчера знал. Я испугался...

Учитель пренебрежительно фыркает и отворачивается.

— Яковлев, фразы!

Встает первый ученик Яковлев и уверенно и спокойно говорит:

— Asinus excitatur baculo.

— Швандер! Переводите.

Встает ненормально толстый, упитанный, чистенький мальчик. Он корчит болезненные рожи и облизывается.

— Пошел облизываться! Да что вы меня есть собираетесь, что ли?!

Ученики смеются.

Швандер судорожно нажимает большой палец на скамью, делает усилие и говорит:

— Осел...

— Ну?

— Погоняется...

Швандер делает еще одну болезненную гримасу и кончает:

— Палкою.

— Слава богу, родил.

Вторая половина урока посвящается письменному ответу.

Учитель ходит и внимательно следит, чтобы не списывали. Глаза его встречаются с глазами Данилова, в которых вдруг что-то подметил проницательный учитель.

— Данилов, дайте вашу книжку.

— У меня нет книжки,— говорит, краснея, Данилов и неловко поднимается с места, зажимая в то же время коленями латинскую грамматику.

Учитель заглядывает и собственноручно вытаскивает злополучную книгу.

Данилов сконфуженно смотрит в скамью.

— Тихоня, тихоня, а мошенничать уже научился. Стыдно! Станьте без места!

Симпатичная сутуловатая фигура Данилова как-то решительно идет к учительскому месту и становится лицом к классу. Его сконфуженные красивые глаза смотрят добродушно и открыто прямо в глаза учителю.

Раздается давно ожидаемый, отрадный для ученического слуха звонок.

— К следующему классу...

Учитель задает по грамматике, потом фразы с латинского на русский, затем сам диктует с русского на латинский и, отняв еще пять минут из рекреационных, наконец уходит.

Больше всего огорчают учеников эти лишние пять минут.

После урока Хлопова как-то мало оживления. Большинство сидит в любимой позе — с коленками, упертыми в скамью, и устало, бесцельно смотрит.

На учительском возвышении неожиданно появляется старый, толстый учитель русского языка.

— У попугая на шесте было весело! — монотонно, нараспев тянет он и чешет свою лысину о приставленную к ней линейку.

Тёме с Вахновым тоже весело, и никакого дела им нет ни до попугая, ни до учителя, ни до его системы, в силу которой учитель считал необходимым прежде всего ознакомить детей с синтаксисом.

— Герберг, где подлежащее?

— На шесте,— вскакивает Герберг и впивается своей птичьей физиономией в учителя.

— Дурак,— тем же тоном говорит учитель,— ты сам на шесте... Карташев!..

Тёма, только что получивший в самый нос щелчок, встрепанно вскакивает и в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей ноги сталкивает его на пол.

— Карташев, ты куда девался? — кричит учитель.

Тёма, красный, появляется и объясняет, что он провалился.

— Как ты мог провалиться, когда под тобою твердый пол?

— Я поскользнулся...

— Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял?

Вместо ответа Тёма опять едет под скамью. Он снова появляется и с ожесточенным отчаянием смотрит украдкой на Вахнова. Вахнов, положив локоть на скамью, прижимает ладонью рот, чтобы не прыснуть, и не смотрит на Тёму. Тёма срывает сердце незаметным пинком Вахнову в плечо, но учитель увидел это и обиделся.

— Карташеву единицу за поведение.

Лысая, как колено, голова учителя наклоняется и ищет фамилию Карташева. Тёма, пока учитель не видит, еще раз срывает свой гнев и теребит Вахнова за волосы.

— Карташев, где подлежащее?

Тёма мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащее.

Яковлев, отвалившись вполуоборот с передней скамьи, смотрит на Тёму. «Подскажи!» — молят глаза Тёмы.

— У попугая,— шепчет Яковлев, и ноздри его раздуваются от предстоящего наслаждения.

— У попугая,— подхватывает радостно Тёма.

Общий хохот.

— Дурак, ты сам попугай... С этих пор Карташев не Карташев, а попугай. Герберг не Герберг, а шест. Попугай на шесте — Карташев на Герберге.

Класс хохочет. Яковлев стонет от восторга.

Толстая, громадная фигура учителя начинает слегка колыхаться. Добродушные маленькие серые глаза прищуриваются, и некоторое время старческое «хе-хе-хе» несется по классу.

Но вдруг лицо учителя опять делается серьезным, класс стихает, и тот же монотонный голос нараспев продолжает:

— В классе — где подлежащее?

Гробовое молчание.

— Дурачье,— добродушно, нараспев говорит учитель.— Все попугаи и шесты. Сидят попугаи на шестах.

Между тем Тёма не спускает глаз с Яковлева.

— Разве он смеет подсказывать глупости? — не то советуется, не то протестует Тёма, обращаясь к Вахнову.

Как только раздается звонок, он бросается к Яковлеву:

— Ты смеешь глупости подсказывать?!

— А тебе вольно повторять,— пренебрежительно фыркает Яковлев.

— Так вот же тебе! — говорит Тёма и со всего размаха бьет его кулаком по лицу.— Теперь подсказывай!

Яковлев первое мгновенье растерянно смотрит и затем порывисто, не удостоивая никого взглядом, быстро уходит из класса. Немного погодя появляется в дверях бритое, широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах Яковлев.

— Карташев, подите сюда! — сухо и резко раздается в классе.

Тёма поднимается, идет и испуганно смотрит в выпученные голубые глаза инспектора.

— Вы ударили Яковлева?

— Он...

— Я вас спрашиваю: ударили вы Яковлева?

И голос инспектора переходит в сухой треск.

— Ударил,— тихо отвечает Тёма.

— Завтра на два часа без обеда.

Инспектор уходит. Тёма, воспрянувший от милостивого наказания, победоносно обращается к Яковлеву и говорит:

— Ябеда!

— А по-твоему, ты будешь по морде бить, а тебе ручки за это целовать? — грызя ногти и впиваясь своими маленькими глазами в Тёму, ядовито-спокойно спросил Корнев.

Вошел новый учитель — немецкого языка, Борис Борисович Кноп. Это была маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между фарфоровыми статуэтками: в клетчатых штанах и синем, с длинными узкими рукавами, фраке. Он шел тихо, медленною походкой, которую ученики называли «раскорякой».

В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице, можно было бы принять его за портного, садовника, мелкого чиновника, но не за учителя.

Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни, но про Бориса Борисовича знали всё. Знали, что у него жена злая, две дочки — старые девы, мать — слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них. Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу сыпать песок, а в потолок, нажевав бумаги, пускать бумажных чертей.

В последнее время Борис Борисович стал заметно подаваться.

Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял его стол, и расслабленно, по-стариковски, остановившись перед классом, начал не спеша вынимать из заднего кармана фрака носовой платок.

Высморкавшись, Борис Борисович поднял голову и обратился к ученикам с благодушной речью, в которой предложил им не шуметь, слушать спокойно урок и быть хорошими, добрыми детьми.

— Пожалуйста,— кончил Борис Борисович, и в голове его зазвучала просьба усталого, больного человека.

Но Борис Борисович сейчас же спохватился и уже более строго прибавил:

— А кто не захочет смирно сидеть, того я без жалости буду совсем строго наказывать.

Несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил учеников. Но Вахнов, уже наладив опытной рукой перо, издал им тонкий, тревожный, хорошо знакомый учителю звук.

Борис Борисович вскипел.

— Вы свиньи, и с вами нельзя по-человечески говорить... Вы тогда только чувствуете уважение к человеку, когда он вас вот как душить будет.

И, дрожа от бешенства, Борис Борисович поднял свой кулачок и показал, как будет душить.

— Ах ты, немецкая селедка! — прошептал кто-то и, разжевав бумагу, искусно влепил ее в борт фрака Бориса Борисовича.

Учитель опешил. Несколько секунд длилось молчание.

— Хорошо,— наконец как-то подавленно проговорил он.— Я вот так с этим и пойду к директору. Я покажу ему это. Я расскажу ему, что вы со мной делаете, как вы меня мучаете. Я приведу его в класс, и пусть он сам смотрит на всех этих чертей (учитель показал на висевших по потолку на ниточке чертей), на это перо и на эту чернильницу, и я скажу, что самый главный и злой, самый грубый, бессмысленный скот — это Вахнов.

— За что вы ругаетесь?! — вскочил Вахнов.— Вы всегда надо мной издеваетесь. Я ничего не делаю, а вы ругаетесь.

И Вахнов вдруг завыл благим матом.

Учитель растерялся и полез в карман за табакеркой. Он медленно вынул ее из кармана, постучал по ней пальцем, открыл крышку, достал щепотку табаку и, не сводя глаз с Вахнова, начал потихоньку нюхать. Вахнов продолжал выть, внимательно наблюдая сквозь пальцы учителя.

— Я пойду жаловаться инспектору,— проговорил Вахнов, перестав вдруг завывать, и порывисто направился к двери.

— Вахнов, назад! — остановил его нерешительно учитель.

— А за что вы ругаетесь? Вы меня поймали? Когда поймаете...

— А не пойман, так не вор? Эхе-хе... Вахнов... Нехорошо...

В ответ Вахнов, садясь на место, дернул за перо.

— Ты и теперь скажешь, что не ты.

— Теперь я со злости.

— Со злости? — огорченно переспросил учитель и покачал головой.— Вахнов, Вахнов...

Учитель глубоко вздохнул и задумался.

Вахнов начал пищать так, как пищат маленькие, еще слепые щенки.

— Ва-а-хнов!..— уныло проговорил учитель.

— Я давно знаю, что я Вахнов.

— Ты знаешь... Ты много знаешь... У тебя хорошее сердце, Вахнов... Сердце лошади... иди жалуйся.

Борис Борисович закрыл глаза и опустил голову на руку. Он чувствовал какой-то особенный упадок сил.

— Иди жалуйся на меня,— повторил он снова, с трудом открывая глаза.— Иди скажи, что тебе надоел старый, больной Борис Борисович, у которого пять человек на плечах...

Вахнов опять задергал перо.

Учитель бессильно опустил голову.

— Да брось,— обратился к Вахнову Касицкий,— ведь болен же человек!

Но на Вахнова нашло. Он, спрятав голову под скамью, начал хрюкать.

Борис Борисович беспомощно оглянулся.

— Послушай, ты, идиот! — вскочил Корнев, обращаясь к Вахнову.— Господа, да уймите же его! — обратился он к ближайшим товарищам Вахнова.

Серб Августич, сорвавшись с места, каким-то клубком подлетел к Вахнову и, как зверь, скаля зубы, с налитыми кровью глазами, прохрипел своим твердым наречием:

— Скотына! Убью!

Вахнов так и обмер.

— Дрань!

— Я больной,— прошептал тихо Борис Борисович,— пожалуйста, скорее позовите надзирателя.

Августич бросился в коридор. Дети испуганно стихли.

— Ничего, ничего, это пройдет,— тоскливо шептали побелевшие губы учителя.

В классе воцарилась мертвая тишина. Учитель точно застыл, наклонившись и едва держась рукой за край стола. Весь класс замер в неподвижных позах, и только бумажные черти, подвешенные к потолку и приводимые в движение сквозняком, тянувшим из отворенной в коридор двери, медленно и беззвучно раскачивались над головой больного.

— Пожалуйста...— тоскливо обратился учитель к вошедшему Ивану Ивановичу.— Я немножко болен. Пожалуйста, помогайте мне.

И учитель с помощью надзирателя, грузно опершись на его руку, медленно и тихо потащился из класса.

Последний урок был Томылина — учителя естественной истории.

Ученики свободно и непринужденно встретили входившего средних лет, представительного, полного учителя.

Он шел и легко, красиво нес в своих руках фигуры разных зверей. Положив их на стол, он вынул чистый, белый платок, смахнул им пыль с рукавов своего, безукоризненно сидевшего на нем, синего фрака и вытер руки. Еще на ходу, окинув весело класс, он бросил свое обычное, как будто небрежное:

— Здравствуйте, дети!

Но это «здравствуйте, дети!» током пробежало по детским сердцам и заставило их весело встрепенуться.

Сделав перекличку, учитель поднял голову и проговорил:

— Я принес вам, дети, прекрасный экземпляр чучела очковой змеи.

Учитель взял коробку и осторожно вынул змею. Он высоко

поднял руку, и ученики приподнялись, с напряжением всматриваясь в страшную змею с большими желтыми, точно в очках, глазами.

— Очковая змея,— проговорил учитель,— ядовита. Укус ее смертелен. Яд помещается, так же как и у других ядовитых змей, в голове, возле зубов.

Томылин нажал пружинку, и змея открыла рот.

— Просунь осторожно палец,— сказал Томылин, обращаясь к Августичу.— Не бойся...

Когда Августич просунул палец, Томылин отпустил пружину, и змея снова закрыла рот.

Августич нервно отдернул палец. Все и Томылин рассмеялись.

— Ты видишь на своем пальце черные полоски: это безвредная, простая жидкость, заменяющая собою яд. Теперь смотри, как этот яд из головы проходит в зубы змеи.

Учитель поднял часть кожи на голове змеи, и Августич через стеклянный череп увидел возле зубов маленькое черное пятнышко с тоненькими ниточками, исчезавшими в зубах.

Ученики вскочили с своих мест и наперебой спешили заглянуть в аппарат.

— Не теснитесь, всем покажу,— произнес Томылин.

Когда осмотр кончился и класс снова пришел в порядок, Томылин заговорил:

— Дети, сегодня эта дверь затворилась, и, может быть, навсегда, за вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает тяжелой, неизлечимой болезнью. Там, за этой дверью, ждут его пять бедных, не способных зарабатывать себе хлеб женщин, которые без него останутся без куска хлеба...

Учитель замолчал, прошелся по классу и проговорил:

— Ну, начнем. Тёма, отвечай!

Тёма, всегда добросовестно учивший естественную историю, на этот раз не знал урока, потому что, по расписанию, Томылин должен был в этот урок рассказывать.

Тёма сгорел со стыда, прежде чем открыл рот. Когда он кончил, Томылин, огорченный, не то спросил, не то сказал:

— Не выучил?

Тёма сел и расплакался.

Томылин вызвал другого, третьего и, казалось, забыл о Тёме.

Тёма перестал плакать и угрюмо-сконфуженно сидел, облокотившись на локоть. В нем шевелилось злое чувство и на себя, и на весь класс — свидетелей его слез,— и на Томылина. И он еще угрюмее сдвигал брови.

— К следующему классу выучишь урок? — спросил вдруг, мимоходом, Томылин, по обыкновению положив руку на волосы Тёмы и слегка поднимая его голову.

Тёма нехотя поднял глаза, но встретил такой приветливый, ласковый взгляд учителя, взгляд, проникший в самую глубь его души, что сердце Тёмы екнуло, и он быстро ответил:

— Выучу.

— Отчего ты на сегодня не выучил?

— Я думал, что вы будете рассказывать.

— Ну, выучи, я еще раз спрошу.

Последний урок кончился: Ученики толпами валят на улицу. Тёма заходит за Зиной, и они оба идут пешком домой. Зина весела. Она получила *пять* и вдобавок несет матери целый ворох самых интересных, самых свежих новостей.

— Спрашивали? — обращается она к Тёме.— Сколько?

— Тебе какое дело?

— А мне пять,— говорит Зина.

— Ваша пятерка меньше нашей тройки,— отвечает Тёма презрительно.

— Поче-е-му?

— А потому, что вы девочки, а учителя больше любят девочек,— говорит авторитетно Тёма.

— Какие глупости!

— Вот тебе и глупости.

За обедом Зина ест с аппетитом и говорит, говорит. Тёма ест лениво, молчит и равнодушно-устало слушает Зину. К общему обеду они опоздали. В столовой тем не менее, кроме отца, все налицо. Мать сидит, облокотившись на стол, и любуется своей смуглой, раскрасневшейся дочкой. Переведя глаза на сына, мать тоскливо говорит:

— Ты совсем зеленый стал... Отчего ты ничего не ешь?

— Мама, оттого, что он всегда на свои деньги сласти покупает.

— Неправда,— отвечает Тёма, пораженный сообразительностью Зины.

— Ну да, неправда.

— Я поеду и попрошу директора, чтоб он устроил для желающих завтраки,— говорит мать.

Тёме представляется фигура матери с ее странным проектом и сдержанная, стройная фигура директора. От одной мысли ему делается неловко за мать, и он торопится предупредить ее, говоря совершенно естественно:

— Одна мать уже приезжала, и директор не согласился.

После обеда Тёма идет в сад, где ветер уныло качает обнаженные деревья, сквозь которые видны все заборы сада, и кажется Тёме, что меньше как будто стал сад. Из сада Тёма идет к Иоське, который в теплой, грязной кухне, сидя где-нибудь в уголке и распустив свои толстые губы, возится над чем-то. Тёма идет на наемный двор, пробирается между кучами и ищет глазами ватагу. Но уже нет прежних приятелей. И Гераська, и Яшка, и Колька —

все они за работой. Гераська — за верстаком, Яшка и Колька — ушли в город помогать родителям.

У забора копошатся остатки ватаги. Много новых, всё маленькие: красные, в лохмотьях, посиневшие от холода, усердно потягивают носом и с любопытством смотрят на чужого им Тёму. Знакомая пуговка блестит на воздухе, но нет уже больше ее веселых хозяев. Тёма любовно, тоскливо узнает и всматривается в эту, пережившую своих хозяев, пуговку, и еще дороже она ему. Какие-то обрывки неясных, грустных и сладких мыслей — как этот замирающий день, здесь холодный и неприветливый, а там, между туч, в том кусочке догорающего неба, охватывающий мальчика жгучим сожалением,— толпятся в голове Тёмы и не хотят, и мешают, и не пускают на свободу где-то там, глубоко в голове или в сердце как будто сидящую отчетливую мысль.

— Тёмочка, зайдите на часок ко мне,— выскакивает, увидев в окно Тёму, Кейзеровна.

Тёма входит в теплую, чистую избу, вдыхает в себя знакомый запах глины с навозом, которой заботливая хозяйка смазывает пол и печку, скользит глазами по желтому чистому полу, белым стенам, маленьким занавесочкам, потемневшему лицу рыхлой Кейзеровны и ждет.

— Тёмочка, кто у вас учитель немецкого языка?

— Борис Борисович,— отвечает Тёма.

— Вы знаете, Тёмочка, у Бориса Борисовича моя сестра в услужении.

Тёма ласково, осторожно говорит:

— Он сегодня немножко заболел.

— Заболел? Чем заболел? — встрепенулась Кейзеровна.

— У него голова заболела, он не докончил урока.

— Голова? — И Кейзеровна делает большие глаза, и губы ее собираются в маленький, тесный кружок.— Ох, Тёмочка, сестре они больше тридцати рублей должны. Надо идтить.

Тёма слышит тревожную, тоскливую нотку в этом «идтить», и эта тревога передается и охватывает его.

В его воображении рисуется больной учитель и пять старых женщин, которых Тёма никогда не видал, но которые вдруг, как живые, встали перед ним: вот горбатая, морщинистая старуха — это тетка; вот слепая, с длинными седыми волосами — мать.

— Кейзеровна, у матери учителя бельма на глазах?

— Нет.

— Они бедные?

— Бедные, Тёмочка! Не дай бог его смерти, хуже моего им будет.

— Что ж они будут делать?

— А уж я не знаю... Старуху и тетку, может, в богадельню

возьмут... пастор устроит, а жена и дочери — хоть милостыньку на улице иди просить.

— Милостыньку? — переспрашивает Тёма, и его глаза широко раскрываются.

— Милостыньку, Тёмочка. Вот когда вырастете, будете ехать в карете и дадите им копеечку...

— Я рубль дам.

— Что бросите, за все господь заплатит. Бедному человеку подать, все равно что господа встретить... и удача всегда во всем будет. Ну, Тёмочка, я пойду.

Тёма неохотно встает. Ему хочется расспросить и об учителе еще, и об этих женщинах, которые обречены на милостыньку. Мысли его толпятся около этой милостыньки, которая представляется ему неизбежным выходом.

Придя домой, он утомленно садится на диван возле матери и говорит:

— Знаешь, мама, Борис Борисович заболел... Кейзеровны сестра у них служит. Я ей сказал, что он заболел... Знаешь, мама, если он умрет, его мать и тетку в богадельню возьмут, а жена и две дочки пойдут милостыню просить.

— Кейзеровна говорит?

— Да, Кейзеровна. Мама, можно мне яблока?

— Можно.

Тёма пошел достал себе яблоко и, усевшись у окна, начал усердно и в то же время озабоченно грызть его.

— А ты хочешь поехать к Борису Борисовичу?

— С кем?

— Со мной.

Тёма нерешительно заглянул в окно.

— Тебе хочется?

— А это не будет стыдно?

— Стыдно? отчего тебе кажется, что это стыдно?

— Ну хорошо, поедем,— согласился Тёма.

В доме учителя Тёма неловко сидел на стуле, посматривая то на старушку — мать его, маленькую, худенькую женщину в черном платье, с зеленым зонтиком на глазах, то на высокую, худую девушку с белым лицом и черненькими глазками, ласково и приветливо посматривавших на Тёму. Только жена не понравилась Тёме, полная, недовольная, бледная женщина.

Сказали учителю и повели Тёму к нему. За ситцевыми ширмами стояла простая кровать, столик с баночками, вышитые красивые туфли.

«Какой же он бедный,— пронеслось в голове Тёмы,— когда у него такие туфли?»

Тёма подошел к кровати и испуганно посмотрел в лицо Бориса Борисовича. Ему бросились в глаза бледное, жалкое лицо учителя

и тонкая, худая рука, которую Борис Борисович держал на груди. Борис Борисович поднял эту руку и молча погладил Тёму по голове. Тёма не знал, долго ли он простоял у кровати. Кто-то взял его за руку и опять повел назад. Он вошел в гостиную и остановился.

Его мать разговаривала с Томылиным. Тёму как-то поразило сочетание красивого лица учителя и возбужденного, молодого лица матери. Мать приветливо улыбнулась сыну своими выразительными глазами.

Тёме вдруг показалось, что он давно-давно уже видел где-то вместе и мать, и Томылина, и себя.

— Здравствуй, Тёма,— проговорил Томылин, ласково притянул его к себе и, обняв его рукой, продолжал слушать Аглаиду Васильевну.

— Я понимаю, конечно,— говорила она,— и все-таки можно было бы иначе устроить. Все основано на форме, на дисциплине, на страхе старших уронить как-нибудь свое достоинство, но из-за этого достоинство ребенка ни во что не ставится и безжалостно попирается на каждом шагу нашими педагогами. А посмотрите у англичан! Там уже десятилетний мальчуган сознает себя джентльменом. Я не о вас говорю... Ваши уроки совершенно отвечают тому, как, по-моему, должно быть поставлено дело. И я не могу удержаться, чтобы не сказать, monsieur Томылин...— мать посмотрела на Тёму, на мгновение остановилась в нерешительности, вскинула глазами на Томылина и быстро продолжала по-французски: — ...чем вы влияете на детей и чем получаете широкий доступ к их сердцам: вы щадите чувство собственного достоинства ребенка; он знает, что его маленькое самолюбие вам так же дорого, как и ваше собственное.

— Если приятна деятельность, то еще приятнее оценка ее...

— Она приятна и необходима, по-моему. Поверьте, что мы, родители, ничем не повредили бы вам, если б имели возможность почаще делиться с вами, учителями, впечатлениями. А в теперешнем виде ваша гимназия мне напоминает суд, в котором есть и председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый и только нет защитника этого маленького и, потому что маленького, особенно нуждающегося в защитнике подсудимого...

Томылин молча улыбнулся.

— Ах, какая прелесть твой Томылин,— сказала доро́гой мать, полная впечатлений неожиданной встречи.

Тёма был счастлив за своего учителя и тоже переживал наслаждение от бывшего свидания.

— Мама, за что тебя у Бориса Борисовича благодарили?

— Я предложила им переговорить с тетей Надей, чтобы устроить одну дочь классной дамой, а другую учительницей музыки.

К стр. 294

— В институте?

— В институте. Вот видишь, и не будут просить милостыню, если даже, не дай бог, и умрет Борис Борисович...

Тёме после всего пережитого совсем не хотелось приниматься за приготовление уроков для другого дня.

Зина давно уже сидела за уроками, а Тёма все никак не мог найти нужной ему тетради. Брат и сестра занимались в маленькой комнатке, всегда под непосредственным наблюдением матери, которая обыкновенно в это время что-нибудь читала, сидя поодаль в кресле.

Тёма уже двадцатый раз рассеянно переходил от стола к этажерке, где на отдельной полке, в невозможном беспорядке, в контрасте с полкой сестры, валялась перепутанная, хаотическая куча книг и тетрадей.

Зина не выдержала и, молча, бросив работу, наблюдала за братом.

— Показать тебе, Тёма, как ты ходишь? — спросила она и, не дожидаясь, встала, вытянула шею, сделала бессмысленные глаза, открыла рот, опустила руки и с согнутыми коленками начала ходить бесцельно, толкаясь от одной стенки к другой.

Тёме решительно все равно было как ни тянуть время, лишь бы не заниматься, и он с удовольствием смотрел на сестру.

Мать, оторвавшись от чтения, строго прикрикнула на детей.

— Мама,— проговорила Зина,— я уже полстраницы написала.

— Моя тетрадь где-то затерялась,— в оправдание проговорил нараспев Тёма.

— Сама затерялась? — строго спросила мать, опуская книгу.

— Я ее вот здесь положил вчера,— ответил Тёма и при этом точно указал место на своей полке, куда именно он положил.

— Может быть, мне поискать тебе тетрадь?

Тёма сдвинул недовольно брови и уже сосредоточенно стал искать тетрадь, которую и вытащил наконец из перепутанной кучи.

— Я ее сам закинул,— проговорил он, улыбаясь.

На некоторое время воцарилось молчание.

Тёма погрузился в писание и с чувством начал выводить буквы, или, вернее, невозможные каракули.

Зина, вскинув глазами на брата, так и замерла в наблюдательной позе.

— Тёма, показать тебе, как ты пишешь?

Тёма с удовольствием оставил свое писание и, предвкушая наслаждение, уставился на сестру.

Зина, расставив локти как можно шире, совсем легла на стол, высунула на щеку язык, скосила глаза и застыла в такой позе.

— Неправда,— проговорил сомнительно Тёма.

— Мама, Тёма хорошо сидит, когда пишет?

— Отвратительно.

— Правда — похоже?

— Хуже даже.

— А, что? — торжествующе обратилась Зина к брату.

— А зато я быстрее тебя стихи учу,— ответил Тёма.

— И вовсе нет.

— Ну, давай пари: я только два раза прочитаю и уж буду знать на память.

— Вовсе не желаю.

— Зато через час и забудешь,— проговорила мать,— а Зина всю жизнь будет помнить. Надо учить так, как Зина.

— А, что? — обрадовалась Зина.

— Ну да, если б я все так учил, как ты,— проговорил самодовольно Тёма, помолчав,— я бы давно уж дураком был.

— Мама, слышишь, что он говорит?

— Это почему? — спросила мать.

— Это папа говорил.

— Кому говорил?

— Дяде Ване. Если б я, говорит, все учил, что надо,— я бы и вышел таким дураком, как ты.

— А дядя Ваня что же сказал?

— А дядя Ваня рассмеялся и говорит: ты умный, оттого ты и генерал, а я не генерал и глупый... Нет, не так: ты генерал потому, что умный... Нет, не так...

— То-то — не так. Слушаешь, не понимаешь и выдергиваешь, что тебе нравится. И выйдешь недоучкой.

Опять водворилось молчание.

— Зато я играю лучше тебя,— проговорила Зина.

— Это бабья наука,— ответил пренебрежительно Тёма.

Зина озадаченно промолчала и принялась опять писать.

— А как же Кравченко? — вдруг спросила она, вспомнив своего учителя музыки.— Он, значит, баба?

— Баба,— ответил уверенно Тёма,— оттого у него и борода не растет.

— Мама, это правда? — спросила Зина.

— Глупости,— ответила мать.— Не видишь разве, что он смеется над тобою?

— У него и хвостик есть, вот такой маленький,— проговорил Тёма, показывая рукой размер хвоста.

— Мама?!

— Тёма, перестань глупости говорить.

Тёма смолк, но продолжал показывать руками размеры хвоста.

— Мама?!

— Тёма, что́ я сказала?

— Я ничего не говорю.

— Он показывает руками — какой хвостик.

— Еще одно слово — и я вас обоих в угол поставлю,— не глядя на Тёму, ответила мать.

Он безбоязненно опять показал Зине размеры хвоста. Зина мгновенно подумала и в отместку высунула язык. Тёма в долгу не остался и начал делать ей гримасы. Зина отвечала тем же, и некоторое время они усердно старались перещеголять друг друга в этом искусстве. Тёма окончательно взял верх, скорчив такое лицо, что Зина не выдержала и фыркнула.

— Тёма, садись за маленький столик спиною к Зине и не смей вставать и поворачиваться, пока не кончишь уроков. Стыдись! Ленивый мальчик.

Водворилась тишина, и Тёма наконец благополучно кончил свои занятия. Последнюю латинскую фразу ему лень было учить, и он, отвечая матери и указывая, до каких пор ему было задано, показал пальцем до выпущенных им предлогов. Вообще поверка по латинскому языку была слаба; мать в нем знала меньше Тёмы и познакомилась с языком при помощи самого же Тёмы, с целью хоть как-нибудь проверить занятия своего ленивого сына. Но это приносило скорее вред, чем пользу, и Тёма, ради одного школьничества, часто морочил мать, смотря на нее как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей.

Когда уроки кончились, Тёма, посмотрев на часы, с наслаждением подумал об остающемся до сна часе, совершенно свободном от всяких забот. Он заглянул в темную переднюю и, заметив там Еремея, топившего соломой печь, через ворох соломы перебрался к нему и, сев рядом с ним, стал, как и Еремей, смотреть в ярко горевшую печь. Все новая и новая солома быстро исчезала в огне. Тёма усердно помогал Еремею задвигать солому и с интересом ждал, когда потемневшая печь справится с новой порцией. Вот только искры да пепел сквозят через свежую охапку, и кажется, никогда она не загорится; вот как-то лениво вспыхнуло в одном, другом, третьем месте, и, охваченная вдруг вся сразу, солома с страшной, откуда-то взявшеюся силой огня уже рвется и исчезает бесследно в пожирающем ее пламени. Ярко и тепло до боли.

И опять оба, и Еремей и Тёма, ждут нового взрыва.

— Еремей, ты от брата получил письмо из деревни?

— Получил,— отвечает Еремей.

— Что он пишет?

— Пишет, что, слава богу, урожай был. Четвертую лошадь купили.

Еремей оживляется и рассказывает Тёме о земле, посеве, хозяйстве, которое совместно с ним ведет брат.

— Вот, к празднику, если бог даст, попрошусь у папы в деревню,— говорит Еремей.

— Как, на елке не будешь?

Еремей снисходительно улыбается и говорит:

— Там же ж у меня рыдня — сваты, дружки...

— Ты кого больше всех любишь?

— Я всех люблю.

И от сладкой мысли свидания у Еремея рисуются приятные сердцу картины: повязанные головы хохлуш, хустки, тяжелые чеботы, расписная хата, на столе вареники, галушки, горилка, а за столом разгоревшиеся, добродушные, веселые и «ледащие лыца» Грицко, Остапов, Дунь и Марусенек.

— Как ты думаешь, Еремей, мне что́ подарят на елку?

Еремей оставляет мечты и внимательно смотрит своим одним глазом в огонь:

— Мабуть, ружье?

— Настоящее?

— Настоящее, должно буть,— нерешительно говорит Еремей.

— Вот, Тёмочка,— говорит подошедшая и присевшая Таня,— вырастайте скорей да в офицеры поступайте... саблю сбоку, усики такие...

— Я не буду офицером,— равнодушно говорит Тёма, задумчиво смотря в огонь.

— Отчего не будете? Офицерам хорошо.

И Еремей соглашается, что офицерам хорошо.

— Енералом будете, як папа ваш.

— Мама не хочет, чтобы я был офицером.

— А вы попросите.

— Не хочу. Я ученым буду... как Томылин.

— Не люблю я их; я одного учителя видала,— такой некрасивый, худой... Военный лучше... усики.

— У меня тоже будут усы,— говорит Тёма и старается посмотреть на свою верхнюю губу.

Таня смотрит и целует его. Тёма недовольно отстраняется.

— Зачем ты целуешь?

— Скорее расти будут усы...

— Отчего скорее?

Таня молча смотрит лукаво на Еремея и улыбается. Тёма переводит глаза на Еремея, который тоже загадочно улыбается и весело глядит в печку.

— Еремей, отчего?

— Да так, она шуткует,— говорит Еремей и медленно встает, так как топка печки кончилась.

Тёма тоже встает и идет.

В столовой Зина, придвинув свечку, осторожно держит над ней сахар, который тает и желтыми прозрачными каплями падает на ложку, которую Зина держит другой рукой.

Наташа, Сережа и Аня внимательно следят за каждою каплей.

— И я,— говорит Тёма, бросаясь к сахарнице.

— Тёма, это для Наташи, у нее кашель,— протестует Зина.

— У меня тоже кашель,— отвечает Тёма и с сахаром и ложкой лезет на стол. Он усаживается с другой стороны свечи и делает то же, что Зина.

— Тёма, если ты только меня толкнешь, я отниму свечку... Это моя свечка.

— Не толкну,— говорит Тёма, весь поглощенный работой, с высунутым от усердия языком.

У Тёмы на ложку падают какие-то совсем черные, пережженные, с копотью, капли.

— Фу, какая гадость,— говорит Зина.

Маленькая компания весело хохочет.

— Ничего,— отвечает Тёма,— больше будет...— И он с наслаждением набивает себе рот леденцами в саже.

— Дети, спать пора,— говорит мать.

Тёма, Зина и вся компания идут к отцу в кабинет, целуют у него руку и говорят:

— Папа, покойной ночи.

Отец отрывается от работы и быстро, озабоченно одного за другим рассеянно крестит.

Тёма у себя в комнате молится перед образом богу.

Медленно, где-то за окном, с каким-то однообразным отзвуком, капля за каплей падает с крыши вода на каменный пол террасы. «День, день, день» — раздается в ушах Тёмы. Он прислушивается к этому звону, смотрит куда-то вперед и, забыв давно о молитве, весь потонул в ощущениях прожитого дня: Еремей, Кейзеровна, дочка Бориса Борисовича, Томылин с матерью...

«Вот хорошо, если б Томылин был мой отец»,— думает вдруг почему-то Тёма.

Эта откуда-то взявшаяся мысль тут же неприятно передергивает Тёму. Томылин в эту минуту как-то сразу делается ему чужим, и взамен его выдвигается образ сурового, озабоченного отца.

«Я очень люблю папу,— проносится у него приятное сознание сыновней любви.— И маму люблю, и Еремея, и Бориса Борисовича, всех, всех».

— Артемий Николаевич,— заглядывает Таня,— ложитесь уже, а то завтра долго будете спать...

Тёма неприятно оторван.

Да, завтра опять вставать в гимназию; и завтра, и послезавтра, и целый ряд скучных, тоскливых дней...

Тёма тяжело вздыхает.

VIII

ИВАНОВ

Через несколько дней Борис Борисович умер. Мать его и тетка поступили в приют, жена и старшая дочь, заботами Аглаиды Васильевны, попали в институт, жена — экономкой, дочь — классной дамой. Младшую дочь Аглаида Васильевна взяла к себе, а бывшую у нее фрейлейн устроила надзирательницею детского приюта.

На место Бориса Борисовича пришел толстый, краснощекий молодой немец, Роберт Иванович Клау.

Ученики сразу почувствовали, что Роберт Иванович — не Борис Борисович.

Дни пошли за днями, бесцветные своим однообразием, но сильные и бесповоротные своими общими результатами.

Тёма как-то незаметно сошелся с своим новым соседом, Ивановым.

Косые глаза Иванова, в первое время неприятно поражавшие Тёму, при более близком знакомстве начали производить на него какое-то манящее к себе, особенно сильное впечатление. Тёма не мог дать отчета, что в них было привлекательного: глубже ли взгляд казался, светлее ли как-то был он, но Тёма так поддался очарованию, что стал и сам косить, сначала шутя, потом уже не замечая, как глаза его сами собою вдруг скашивались.

Матери стоило большого труда отучить его от этой привычки.

— Что ты уродуешь свои глаза? — спрашивала она.

Но Тёма, чувствуя себя похожим в этот момент на Иванова, испытывал бесконечное наслаждение.

Иванов незаметно втянул Тёму в сферу своего влияния.

Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил с своего места.

— Ты любишь страшное? — тихо спросил однажды, закрывая рукою рот, Иванов во время какого-то скучного урока.

— Какое страшное? — повернулся к нему Тёма.

— Да тише,— нервно проговорил Иванов,— сиди так, чтобы незаметно было, что ты разговариваешь. Ну, про страшное: ведьм, чертей...

— Люблю.

— В каком роде любишь?

Тёма подумал и ответил:

— Во всяком роде.

— Я расскажу тебе про один случай в Испании. Да не поворачивайся же... сиди, как будто слушаешь учителя. Ну, так.

В одном замке в Испании пришлось как-то заночевать одному путешественнику...

У Тёмы по спине уже забегали мурашки от предстоящего удовольствия.

— Его предупреждали, что в замке происходит по ночам что-то страшное. Ровно в двенадцать часов отворялись все двери...

У Тёмы широко раскрылись глаза.

— Опусти глаза!.. Что ты смотришь так?.. Заметят... Когда страшно сделается, смотри в книгу!.. Вот так. Ровно в двенадцать часов отворялись сами собою двери, зажигались все свечи, и в самой дальней комнате показывалась вдруг высокая, длинная фигура, вся в белом... Смотри в книгу... Я брошу рассказывать.

Тёма, как очарованный, слушал.

Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня во двор, буду рассказывать». И Тёма, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит Тёму. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит — так и льется у него. Смотрит на него Тёма, смотрит на маленький, болтающийся в воздухе порыжелый сапог Иванова, на лопнувшую кожу этого сапога; смотрит на едва выглядывающий, засаленный, покрытый перхотью форменный воротничок; смотрит в его добрые светящиеся глаза и слушает и чувствует, что любит он Иванова, так любит, так жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не надо,— что готов он, Тёма, прикажи ему только Иванов, все сделать, всем для него пожертвовать.

— Как много ты знаешь! — сказал раз Тёма,— как ты все это можешь выдумать?

— Какой ты смешной,— ответил Иванов.— Разве это моя фантазия? Я читаю.

— Разве такие вещи печатают?

— Конечно, печатают. Ты читаешь что-нибудь?

— Как читаю?

— Ну, как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь.

Тёма удивленно слушал Иванова. В его голове не вмещалось, чтоб можно было добровольно, без урока, сидеть и читать.

— Ты вот попробуй, когда-нибудь я принесу тебе одну занимательную книжку... Только не порви...

...Во втором классе Тёма уже читал Гоголя, Майн-Рида, Вагнера и втянулся в чтение. Он любил, придя из гимназии, под вечер, с куском хлеба, забраться куда-нибудь в каретник, на чердак, в беседку — куда-нибудь подальше от жилья, и читать, переживая все ощущения выводимых героев.

Он познакомился с Ивановым по дому и, узнав его жизнь, еще

больше привязался к нему. Добрый, кроткий с теми, кого он любил, Иванов был круглый сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но как-то заброшенно, в стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни, комнатке. К нему никто не заглядывал, он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти просиживал один у себя.

— Тебе он нравится, мама? — приставал Тёма по сту раз к своей матери и, получая утвердительный ответ, переживал наслаждение за своего друга.— Мама, скажи, что́ тебе больше всего в нем нравится?

— Глаза.

— Правда, глаза? Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он поступил в гимназию. Я видел ее портрет. Она казачка, мама... Такая хорошенькая... Он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет. Он мне показывал, только сказал, чтобы я никому ничего не говорил. Ты тоже, мама, никому не говори. Ах, мама, если б ты знала, как я его люблю!

— Больше мамы?

Тёма сконфуженно опускал голову и нерешительно произносил:

— Одинаково...

— Глупый ты мальчик! — улыбаясь, говорила мать.

— Мама, он говорит, чтобы летом я ехал к ним в деревню. Там у них пруд есть, рыбу будем ловить, сад большой; у него большой кожаный диван под окнами, и вишни прямо в окно висят. У дяди его пропасть книг... Мы вдвоем запремся и будем читать. Пустишь меня, мама?

— Если перейдешь в третий класс — пущу.

— Ах, вот счастье будет! Я тебе привезу много вишен. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Пора уж заниматься.

— Так не хочется...— говорил Тёма, сладко потягиваясь.

— А в деревню хочется?

— Хочется,— смеялся Тёма.

Иногда утром, когда Тёме не хотелось вставать, когда почему-либо перспектива идти в гимназию не представляла ничего заманчивого, Тёма вдруг вспоминал своего друга, и сладкое чувство охватывало его,— он вскакивал и начинал одеваться. Он переживал наслаждение от мысли, что опять увидит Иванова, который уж будет ждать его и весело сверкнет своими добрыми черными глазами из-под мохнатой шапки волос. Поздороваются друзья, сядут поближе друг к другу и радостно будут улыбаться Корневу, который, грызя ногти, насмешливо скажет:

— Сто лет не видались... Поцелуйтесь на радостях.

В такие минуты Тёма считал себя самым счастливым человеком.

IX

ЯБЕДА

Но ничто не вечно под луною. И дружба Тёмы с Ивановым прекратилась, и мечты о деревне не осуществились, и на самое воспоминание об этих лучших днях из детства Тёмы жизнь безжалостно наложила свою гадливую печать, как бы в отместку за доставленное блаженство.

Учитель французского языка, Бошар, скромно начавший карьеру с кучера, сохранивший свою представительную фигуру, заседал на своем учительском месте так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего фиакра. Как прежде, бывало, он по временам стегал свою клячу длинным бичом, так и теперь, от времени до времени, он хлопал своей широкой, пухлой ладонью и кричал громким равнодушным голосом:

— Voyons, voyons donc![1]

Однажды, по заведенному порядку, шел урок Бошара. Очередной переводил, остальной класс был в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием.

В маленькое, круглое окошко класса, проделанное в дверях, заглянул чей-то глаз.

Вахнов сложил машинально кукиш, полюбовался им сначала сам, а затем предложил полюбоваться и смотревшему в окошечко.

При всем своем добродушии Иван Иванович, который и смотрел в окошко, не вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору.

Вахнов струсил и стал божиться, что это не он. В подтверждение своих слов он сослался на Бошара, будто бы видевшего, как он, Вахнов, сидел смирно.

Бошар, видевший все и с любопытством естествоиспытателя наблюдавший сам зверька низшей расы — Вахнова, проговорил с пренебрежением удовлетворенного наблюдателя:

— Allez, allez, bête animal![2]

Вахнов скрепя сердце пошел за Иваном Ивановичем в коридор, но когда дверь затворилась и они остались одни с глазу на глаз, Вахнов, не долго думая, встал на колени и проговорил:

— Иван Иванович, не губите меня! Директор исключит за это, а отец убьет меня. Честное слово, я говорю правду: вы знаете моего отца.

Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова, который был в полном смысле слова зверь по свирепости и крутости нрава.

---

[1] Эй, вы, потише! *(франц.)*

[2] Пошел, пошел, глупое животное! *(франц.)*

Он славился на весь город этими своими качествами, наряду, впрочем, и с другими, признанными обществом: идеальной честностью и беззаветным мужеством.

— Встаньте скорей! — сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и сам бросился поднимать Вахнова.

Вахнов, для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку. Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова, отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов, постояв немного в коридоре, снова вошел в класс.

Какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора, и педагогическим советом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по два часа каждый день.

Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на Бошаре, как на единственном человеке, который мог донести. Это было и общее мнение всего класса. Хотя и не горячо, но почти все высказывали порицание Бошару.

«Идиот» Вахнов на мгновение приобрел если не уважение, то сочувствие. Это сочувствие пробудило в Вахнове затоптанное сперва отцом, а потом и гимназией давно уже спавшее самолюбие. Он испытывал сладкое нравственное удовлетворение, которое чувствует человек от сочувствия к нему общества. Но что-то говорило ему, что это сочувствие ненадежное и, чтоб удержать его, от него, Вахнова, требовалось что-то такое, что заставило бы навсегда забыть его прошлое.

Бедная голова Вахнова, может быть, в первый раз в жизни, была полна другими мыслями, чем те, какие внушало ей здоровое, праздное тело пятнадцатилетнего отупевшего отрока. Его мозги тяжело работали над трудной задачей, с которой он и справился наконец.

За мгновение до прихода Бошара Вахнов не удержался, чтобы не сказать Иванову и Тёме (по настоянию Иванова они и во втором классе продолжали сидеть втроем и по-прежнему на последней скамейке) о том, что он всунул в стул, на который сядет Бошар, иголку.

Так как на лицах Иванова и Тёмы изобразился какой-то ужас вместо ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил:

— Только выдайте!

— Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз,— ответил с достоинством Иванов,— а потому, что к этому обязывают правила товарищества. Но это такая гнусная гадость...

Тёма только взглядом ответил на так отчетливо выраженные Ивановым его собственные мысли.

Спорить было поздно. Бошар уже входил, величественный и спокойный. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу,

не спеша положил книги на стол, оглянул взглядом сонного орла класс и, раздвигая слегка фалды, грузно опустился.

В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком, нагнулся и стал щупать рукой стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с большим трудом из сиденья и бросился из класса[1].

Совершенно бледный, с провалившимися вдруг куда-то внутрь глазами, откуда они горели огнем, влетел в класс директор и прямо бросился к последней скамейке.

— Это не я! — прижатый к скамье, в диком ужасе закричал Тёма.

— Кто?! — мог только прохрипеть директор, схватив его за руку.

— Я не знаю! — ответил высоким визгом Тёма.

Рванув Тёму за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой.

Тёма каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Как-то тупо застыв, он безучастно наблюдал ряды вешалок, шинелей, грязную калошу, валявшуюся посреди коридора... Он пришел в себя, только очутившись в директорской, когда его слух поразил зловеще щелкнувший замок запиравшейся на ключ двери.

Смертельный ужас охватил его, когда он увидел, что директор, покончив с дверью, стал как-то тихо, беззвучно подбираться к нему.

— Что вы хотите со мной делать?! — неистово закричал Тёма и бросился в сторону.

В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым, огнем охватившим Тёму шепотом:

— Я ничего не сделаю, но не шутите со мною: кто?!

Тёма помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на раздувавшиеся ноздри директора.

Впившиеся черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытых глаз Тёмы. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глаза и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тёму, туда... куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик...

Ошеломленный, удрученный, Тёма почувствовал, как он точно погружался куда-то...

И вот, как жалобный подсвист в бурю, рядом с диким воем зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще... ужасные, страшные слова, бессознательно сле-

---

[1] Прошу читателя иметь в виду, что речь идет о гимназии в отдаленное время, т. е. 20 лет тому назад. *(Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)*

тавшие с помертвелых губ... ах! более страшные, чем кладбище и черная шапка Еремея, чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его... От смрада души, охватившего Тёму, он бешено рванулся.

— Нет! Нет! Не хочу! — с безумным воплем бесконечной тоски бросился Тёма к вырвавшему у него признание директору.

— Молчать! — со спокойным, холодным презрением проговорил удовлетворенный директор и, втолкнув Тёму в соседнюю комнату, запер за ним дверь.

Оставшись один, Тёма как-то бессильно, тупо оглянулся, точно отыскивая потерявшуюся связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему эту связь. Ослепительной, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор пошел за Ивановым.

— И-и! — ухватил себя ногтями за щеки Тёма и завертелся волчком. Натолкнувшись на что-то, он так и затих, охваченный какой-то бесконечной пустотой.

В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его бешеный крик.

Тёма пришел в себя и замер в томительном напряженном ожидании ответа Иванова.

— Я не могу...— тихой мольбой донеслось к Тёме, и сердце его сжалось мучительной болью.

Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату.

— Я не могу, я не могу...— доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Тёмы быстрый, дрожащий голос Иванова.— Делайте со мной, что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать...

Наступило гробовое молчание.

— Вы исключаетесь из гимназии,— проговорил холодно и спокойно директор.— Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы.

— Что ж делать? — ответил раздраженно Иванов,— выгоняйте, но вы все-таки не заставите меня сделать подлость.

— Вон!!

Тёма уже ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем.

Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов исключался. Родным Иванова предложено было добровольно взять его. Карташев наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии, по два часа каждый день.

Тёме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный, тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни, чувствуя одно бесконечное желание, чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу перестать чувствовать.

Но жизнь не отлетает по желанию, чувствовать надо, и Тёма почувствовал, решившись поднять наконец глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, ябеда и доносчик, пригвожденный к своему позорному месту... Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным; охватило его горькое чувство тоски, зачем он живет, и рыдания подступили к его горлу.

Но он удержал их, и только какой-то тихий, жалобный писк успел вырваться из его горла, писк, замерший в самом начале. Что-то забытое, напомнившее Тёме Жучку в колодце, мелькнуло в его голове...

Тёма быстро, испуганно оглянулся... Но никто не смотрел на него.

Передавая дома эту историю, Тёма скрыл, что выдал товарища.

Отец, выслушав, проговорил:

— Иначе ты и не мог поступить... И без наказания нельзя было оставить; Вахнова давно пора было выгнать; Иванов, видно, за что-нибудь намечен, а ты, как меньше других виноватый, поплатился недельным наказанием. Что ж? отсидишь.

Сердце Тёмы тоскливо ныло, и, еще более униженный, он стоял и не смел поднять глаз на отца и мать.

Аглаида Васильевна ничего не сказала и ушла к себе.

Не дотронувшись почти до еды, Тёма тоскливо ходил по комнатам, отыскивая такие, в которых никого не было, и, останавливаясь у окон, неподвижно, без мысли, замирал, смотря куда-то. При малейшем шорохе он быстро отходил от своего места и испуганно оглядывался.

Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и он как-то бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча подошел.

— Тёма, расскажи мне, как все было...— мягко, ласково, но требовательно-уверенно проговорила мать.

Тёма замер и почувствовал, что мать уже догадалась.

— Все расскажи.

Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тёму какою-то жгучей потребностью — все до последнего передать матери.

Передав истину, Тёма горько оборвал рассказ и униженно опустил голову.

— Бедный мой мальчик,— произнесла охваченная той же тоской унижения и горечи мать.

Тёма облокотился на спинку ее кресла и тихо заплакал.

Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собрав-

шись с мыслями и дав время успокоиться сыну, она сказала:

— Что делать? Если мы видим свои недостатки и если, замечая их, стараемся исправиться, то и ошибки наши уже являются источниками искупления. Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой борьбе ты уже нашел сегодня одну свою слабую сторону... Когда будешь молиться, попроси у бога, чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в минуты страха и опасности.

— Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню... так бы, кажется, и умер сейчас.

Мать молча гладила голову сына.

— Ну, а если б ты пошел к нему? — спросила она ласково.

Тёма не сразу ответил.

— Нет, мама, не могу,— сказал он дрогнувшим голосом.— Когда я знаю, что больше не увижу его... так жалко... я так люблю его... а как подумаю, что пойду к нему... я больше не люблю его,— тоскливо докончил Тёма, и слезы опять брызнули из его глаз.

— Ну и не надо, не ходи. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь хорошим, честным человеком, бог даст, ты встретишься с ним и скажешь ему, что если ты вышел таким, то оттого, что ты всегда думал о нем и хотел быть таким же честным, хорошим, как он. Хорошо?

Тёма молча вздохнул и задумался. Мать тоже замолчала и только продолжала ласкать своего не устоявшего в первом бою сына.

Вечером, в кровати, Тёма осторожно поднял голову и, убедившись, что все уже спят, беззвучно спустился на пол и, весь проникнутый горячим экстазом, охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой посещающим детей огнем веры,— жарко молился, прося бога послать ему силы ничего не бояться.

И вдруг, среди молитвы, Тёма вспомнил Иванова, его добрые глаза, так ласково, доверчиво смотревшие на него, вспомнил, что больше его никогда не увидит... и, как-то завизжавши от боли, впился зубами в подушку и замер в безысходной тоске...

X

В АМЕРИКУ

Тоскливо, холодно и неприветно потекла гимназическая жизнь Тёмы. Он не мог выносить классной комнаты — этой свидетельницы его былого счастья и падения, хотя между товарищами Тёма и встретил неожиданную для него поддержку. Через несколько дней после тяжелого одиночества Касицкий, подойдя

и улегшись на скамейке перед Тёмой, подперев подбородок рукой, спросил его ласково и сочувственно, смотря в глаза:

— Как это случилось, что ты выдал? Струсил?

— Черт его знает, как это вышло,— заговорил Тёма, и слезы подступили к его глазам,— раскричался, затопал, я и не помню...

— Да, это неприятно... Ну, теперь ученый будешь...

— Теперь пусть попробует,— вспыхнул Тёма, и глаза его сверкнули,— я ему, подлецу, в морду залеплю...

— Вот как... Да, свинство, конечно... Жалко Иванова?

— Эх, за Иванова я полжизни бы отдал!

— Конечно... водой ведь вас, бывало, не разольешь. А моя-то сволочь, Яковлев, радуется.

Каждый день Касицкий подсаживался к Тёме и с удовольствием заводил с ним разговоры.

— Послушай,— предложил однажды Касицкий,— хочешь, я пересяду к тебе?

Тёма вспыхнул от радости.

— Ей-богу... у меня там такая дрянь...

И Данилов все чаще и чаще стал оглядываться на Тёму. Данилов подолгу, стараясь это делать незаметно, вдумчиво всматривался в бледное, измученное лицо «выдавшего», и в душе его живо рисовались муки, которые переживал в это время Тёма. Чувство стыдливости не позволяло ему выразить Тёме прямо свое участие, и он ограничивался тем, что только как-то особенно сильно жал, при встрече утром, руку Тёмы и краснел. Тёма чувствовал расположение Данилова и тоже украдкой смотрел на него и быстро отводил глаза, когда Данилов замечал его взгляд.

— Ты куда? — спросил Данилов Касицкого, который с ворохом тетрадей и книг несся весело по классу.

— А вот, перебраться задумал.

Эта мысль понравилась Данилову; он весь урок что-то соображал, а в рекреацию, подойдя решительно к Тёме и став как-то, по своей привычке, вполуоборот к нему, спросил, краснея:

— Ты ничего не будешь иметь против, если и я пересяду к тебе?

— Я очень рад,— ответил Тёма, в свою очередь краснея до волос.

— Ну, и отлично.

— И ты? — увидав Данилова, проговорил обрадованный и возвратившийся откуда-то в это время Касицкий.

И он заорал во все горло:

Вот мчится тройка удалая!

Один из двух старых соседей Касицкого, Яковлев, шепнул на ухо Филиппову:

— Карташев и им удружит...

И оба весело рассмеялись.

— Моя дрянь смеется,— проговорил Касицкий, перестав петь.— Сплетничают что-нибудь. Черт с ними!.. Постойте, теперь надо так рассесться: ты, Данилов, как самый солидный, садись в корень, между нами, двумя сорванцами. Ты, Карташев, полезай к стене, а я, так как не могу долго сидеть на месте, сяду поближе к проходу.

Когда все было исполнено, он проговорил:

— Ну вот, теперь настоящая тройка! Ничего, отлично заживем.

— Ты любишь море? — спросил однажды Данилов у Тёмы.

— Люблю,— ответил Тёма.

— А на лодке любишь кататься?

— Люблю, только я еще ни разу не катался.

Данилов никак не мог понять, как, живя в приморском городе, до сих пор ни разу не покататься на лодке. Он давно уже умел и грести и управлять рулем. Он, сколько помнил себя, все помнил то же безбрежное море, их дом, стоявший на самом берегу, всегда вдыхал в себя свежий запах этого моря, перемешанный с запахом пеньки, смоляных канатов и каменноугольного дыма пристани. Сколько он помнил себя, всегда его ухо ласкал шум моря, то тихий и мягкий, как шепот, то страстный и бурный, как стон и вопли разъяренного дикого зверя. Он любил это море, сроднился с ним; любовь эту поддерживали и развили в нем до страсти молодые моряки, бывавшие у его отца, капитана порта.

Он спал и грезил морем. Он любовался у открытого окна, когда, бывало, вечером луна заливала своим чудным светом эту бесконечную водную даль со светлой серебряной полосой луны, сверкавшей в воде и терявшейся на далеком горизонте; он видел, как вдруг выплывшая лодка попадала в эту освещенную полосу, разрезая ее дружными, мерными взмахами весел, с которых, как серебряный дождь, сбегала напитанная фосфорическим блеском вода. Он любил тогда море, как любят маленьких хорошеньких детей. Но не этой картиной море влекло его душу, вызывало восторг и страсть к себе. Его разжигала буря, в нем подымалась неизведанная страсть в утлой лодке померяться силами с рассвирепевшим морем, когда оно, взбешенное, как титан швыряло далеко на берег свои бешеные волны. Тогда Данилов уж не был похож на мягкого, обыкновенного Данилова. Тогда, вдохновенный, он простаивал по целым часам на морском берегу, наблюдая расходившееся море. Он с какою-то завистью смотрел в упор на своих бешено набегавших врагов — волны, которые тут же, у его ног, разбивались о берег.

— Не любишь! — с наслаждением шептали его побледневшие

губы, а глаза уже впивались в новый набегавший вал, который, точно разбежавшийся человек, споткнувшись с размаха, высоко взмахнув руками, тяжело опрокидывался на острые камни.

«Э-эх!» — злорадно отдавалось в его сердце.

Однажды Данилов сказал Тёме и Касицкому:

— Хотите завтра покататься на лодке?

Тёма, замирая от счастья, восторженно ответил:

— Хочу.

Касицкий тоже изъявил согласие.

— Так прямо из гимназии и пойдем. Сначала пообедаем у меня, а потом и кататься.

Вопрос у Тёмы был только в том, как отнесутся к этому дома. Но и дома он получил разрешение.

Прогулки по морю стали излюбленным занятием друзей в третьем классе. Зимой, когда море замерзло и нельзя было больше ездить, верные друзья ходили по берегу, смотрели на расстилавшуюся перед ними ледяную равнину, на темную полосу воды за ней, там, где море сливалось с низкими свинцовыми тучами,— щелкали зубами, синели от холода, ежились в своих форменных пальтишках, прятали в короткие рукава красные руки и говорили всё о том же море. Главным образом говорил Данилов; Тёма с раскрытым ртом слушал, а Касицкий и слушал, и возражал, и развлекался.

— А вот я знаю такой случай,— начинал, бывало, Касицкий,— один корабль опрокинулся...

— Килевой? — спрашивал Данилов.

— Килевой, конечно.

— Ну и врешь,— отрезывал Данилов.— Такой корабль не может опрокинуться...

— Ну, уж это дудки! Ах, оставьте, пожалуйста. Так может...

— Да понимаешь ты, что не может. Единственный случай был...

— Был же? Значит, может.

— Да ты дослушай. Этот корабль...

Но Касицкий уже не слушал; он завидел собаку и бежал доказывать друзьям, что собака его не укусит. Эти доказательства нередко кончались тем, что собака из выжидательного положения переходила в наступательное и стремительно рвала у Касицкого то брюки, то пальто, вследствие чего у него не было такого платья, на котором не нашлось бы непочиненного места. Но он не смущался и всегда находил какое-нибудь основание, почему собака его укусила. То оттого, что она бешеная, то нарочно...

— Нарочно поддразнил,— говорил снисходительно Касицкий.

— Ну да, нарочно? — смеялся Тёма.

— Дура, нарочно! — смеялся и Касицкий, надвигая Тёме на лицо фуражку.

Если ничего другого не оставалось для развлечения, то Касицкий не брезгал и колесом пройтись по панели. За это Данилов снисходительно называл его «мальчишкой». Данилов вообще был старшим в компании — не летами, но солидностью, которая происходила от беспредельной любви к морю; о нем только и думал он, о нем только и говорил и ничего и никого, кроме своего моря, не признавал. Одно терзало его, что он не может посвятить всего своего времени этому морю, а должен тратить это дорогое время и на сон, и на еду, и на гимназию. В последнем ему сочувствовали и Тёма и Касицкий.

— Есть люди с твердой волей, которые и без гимназии умели прокладывать себе дорогу в жизни,— говорил Данилов. Тёма только вздыхал.

Есть, конечно, есть... Робинзон... А все эти юнги, с детства попавшие случайно на пароход, прошедшие сквозь огонь и медные трубы, закалившиеся во всех неудачах. Боже мой! Чего они не видали, где не бывали: и пустыни, и львы, и тигры, и американские индейцы.

— А ведь такие же, как и мы, люди,— говорил Данилов.

— Конечно, такие.

— Тоже и отца, и мать, и сестер имели, тоже, вероятно, страшно сначала было, а пересилили, не захотели избитым путем пошлой жизни жить, и что ж — разве они жалели? Никогда не жалели: все они всегда вырастали без этих дурацких единиц и экзаменов, женились всегда на ком хотели, стариками делались, и все им завидовали.

И вот понемногу план созрел: попытать счастья и с первым весенним днем удрать в Америку на первом отходящем пароходе. Мысль эту бросил Касицкий и сейчас же забыл о ней. Данилов долго вдумывался и предложил однажды привести ее в исполнение. Тёма дал согласие, не думая, главным образом ввиду далекой еще весны. Касицкий дал согласие, так как ему было решительно все равно: в Америку так в Америку. Данилов все тонко, во всех деталях обдумал. Прежде всего совсем без денег ехать нельзя; положим, юнге даже платят сколько-нибудь, но до юнги надо доехать. А потому необходимо было пользоваться каждым удобным моментом, чтобы откладывать все, что можно. Все ресурсы должны были поступать в кассу: деньги, выдаваемые на завтраки,— раз, именинные — два, случайные (вроде на извозчика), подарки дядей и пр. и пр.— три. Данилов добросовестно отбирал у друзей деньги сейчас же по приходе их в класс, так как опыт показал, что у Касицкого и Тёмы деньги в первую же рекреацию улетучивались. Результатом этого был волчий голод в компании во все время уроков, то есть с утра и до двух-трех часов дня.

Данилов крепился, Касицкий без церемонии отламывал куски у первого встречного, а Тёма терпел, терпел и тоже кончал тем, что просил у кого-нибудь «кусочек», а то отправлялся на поиски по скамьям, где и находил всегда какую-нибудь завалявшуюся корку.

Было, конечно, довольно простое средство избавить себя от таких ежедневных мук — это брать с собой из дому хоть запасный кусок хлеба. Но вся беда заключалась в том, что после утреннего чая, когда компания отправлялась в гимназию, им не хотелось есть, и с точки зрения этого настоящего они каждый день впадали в ошибочную уверенность, что и до конца уроков им не захочется есть.

— На что ты похож стал?! Под глазами синяки, щеки втянуло, худой, как скелет! — допытывалась мать.

Хуже всего, что, удерживаясь, Тёма дотягивал обыкновенно до последней рекреации, и уж когда голод чуть не заставлял его кричать, тогда он только отправлялся на фуражировку. Вследствие этого аппетит перебивался, и так основательно, что, придя домой, Тёма ни до чего, кроме хлеба и супа, не касался.

Обдумывая в подробностях свой план, Данилов пришел к заключению, что прямо в гавани сесть на корабль не удастся, потому что, во-первых, узнают и не пустят, а во-вторых, потребуют заграничные паспорты. Поэтому Данилов решил так: узнав, когда отходит подходящий корабль, заблаговременно выбраться в открытое море на лодке и там, пристав к кораблю, объяснить, в чем дело, и уехать на нем. Вопрос о дальнейшем был решен в утвердительном смысле на том простом основании, что кому же даровых работников не надо? Гораздо труднее был вопрос о лодке. Чтоб отослать ее назад, нужен был проводник. Этим подводился проводник. Если пустить лодку на произвол судьбы,— пропажа казенного имущества — отец подводился. Все это привело Данилова к заключению, что надо строить свою лодку. Отец Данилова отозвался сочувственно, дал им лесу, руководителей, и компания приступила к работе. Выбор типа лодки подвергся всестороннему обсуждению. Решено было строить килевую и отдано было предпочтение ходу перед вместимостью.

— Весь секрет, чтобы было как можно меньшее сопротивление. Чем она у́же...

— Ну, конечно,— перебивал нетерпеливый Касицкий.

— Понимаешь? — спрашивал Данилов Тёму.

— Понимаю,— отвечал Тёма, понимавший больше потому, что это было понятно Данилову и Касицкому: что там еще докапываться? Уже — так у́же.

— Мне даже кажется, что эта модель, самая узкая из всех, и та широка.

— Конечно, широка,— энергично поддержал Касицкий.— К чему такое брюхо?

— Отец настаивает,— нерешительно проговорил Данилов.

— Еще бы ему не настаивать, у него живот-то, слава богу; ему и надо, а нам на что?

— А мы, чтоб не дразнить его, сделаем у́же, а ему благоразумно умолчим.

— Подлец, врать хочешь...

— Не врать, молчать буду. Спросит — ну, тогда признаюсь.

Всю зиму шла работа; сперва киль выделали, затем шпангоуты насадили, потом обшивкой занялись, а затем и выкрасили в белый цвет, с синей полоской кругом.

Собственно говоря, постройка лодки подвигалась непропорционально труду, какой затрачивался на нее друзьями, и секрет этот объяснялся тем, что им помогали какие-то таинственные руки. Друзья благоразумно молчали об этом, и когда лодка была готова, они с гордостью объявили товарищам:

— Мы кончили.

Впрочем, Касицкий не удержался и тут же сказал, подмигивая Тёме:

— Мы?!

— Конечно, мы,— ответил Тёма.— Матросы помогали, а все-таки, мы.

— Помогали?! Рыло!

И Касицкий, рассмеявшись, добавил:

— Кой черт, мы! Ну, Данилов действительно работал, а мы вот с этим подлецом все больше насчет глаз. Да ей-богу же,— кончил он добродушно.— Зачем врать.

— Я считаю, что и я работал.

— Ну да, ты считаешь. Ну, считай, считай.

— Да зачем вам лодка? — спросил Корнев, грызя, по обыкновению, ногти.

— Лодка? — переспросил Касицкий.— Зачем нам лодка? — обратился он к Тёме.

Тёму подмывало.

— Свинья! — смеялся он, чувствуя непреодолимое желание выболтать.

— Чтоб кататься,— ответил Данилов, не сморгнув, что называется, глазом.

Корнев видел, что тут что-то не то.

— Мало у отца твоего лодок?

— Ходких нет,— ответил Данилов.

— Что значит — ходких?

— Чтоб резали хорошо воду.

— А что значит — чтоб резали хорошо воду?

— Это значит, что ты дурак,— вставил Касицкий.

— Бревно! — вскользь ответил Корнев,— не с тобой говорят.

— Ну, чтоб узкая была, шла легко, оказывала бы воде меньшее сопротивление.

— Зачем же вам такую лодку?

— Чтобы больше удовольствия было от катанья.

Корнев подозрительно всматривался по очереди в каждого.

— Эх ты, дура! — произнес Касицкий полушутя-полусерьезно.— В Америку хотим ехать.

После этого уже сам Корнев говорил пренебрежительно:

— Черти, с вами гороху наесться сперва надо,— и уходил.

— Послушай, зачем ты говоришь? — замечал Данилов Касицкому.

— Что́ говорю? Именно так действуя, ничего и не говорю.

— Конечно,— поддерживал Тёма,— кто ж догадается принять его слова за серьезные.

— Все догадаются. Вас подмывает на каждом слове, и кончится тем, что вы все разболтаете. Глупо же. Если не хотите, скажите прямо, зачем было и затевать тогда.

Обыкновенно невозмутимый, Данилов не на шутку начинал сердиться. Касицкий и Тёма обещали ему соблюдать вперед строгое молчание. И хотя нередко на приятелей находило страстное желание подсидеть самих себя, но сознание огорчения, которое они нанесут этим Данилову, останавливало их.

Понятное дело, что тому, кто едет в Америку, никаких, собственно, уроков готовить не к чему, и время, потраченное на такой труд, считалось компанией погибшим временем.

Обстоятельства помогли Тёме в этом отношении. Мать его родила еще одного сына, и выслушивание уроков было оставлено. Следующая треть, последняя перед экзаменами, была весьма печальна по результатам: единица, два, закон божий — три, по естественной — пять, поведение — и то «хорошего» вместо обычного «отличного». На Карташева махнули в гимназии рукой, как на ученика, который остается на второй год.

Тёма благоразумно утаил от домашних отметки. Так как требовалась расписка, то он, как мог, и расписался за родителей, что отметки они видели. При этом благоразумно подписал: «По случаю болезни, за мать, сестра З. Карташева». Дома, на вопрос матери об отметках, он отделывался обычным ответом, произносимым каким-то слишком уж равнодушным и беспечным голосом:

— Не получил еще.

— Отчего ж так затянулось?

— Не знаю,— отвечал Тёма и спешил заговорить о чем-нибудь другом.

— Тёма, скажи правду,— пристала раз к нему мать,— в чем дело? Не может быть, чтоб до сих пор не было отметок?

— Нет, мама.

— Смотри, Тёма, я вот встану и поеду сама.

Тёма пожал плечами и ничего не ответил: чего, дескать, пристали к человеку, который уже давно мысленно в Америке!

Друзья назначили свой отъезд на четвертый день пасхи. Так было решено с целью не отравлять родным пасху.

Заграничный пароход отходил в шесть часов вечера. Решено было тронуться в путь в четыре.

Тёма, стараясь соблюдать равнодушный вид, бросая украдкой растроганные взгляды кругом, незаметно юркнул в калитку и пустился к гавани.

Данилов уже озабоченно бегал от дома к лодке.

Тёма заглянул внутрь их общей красавицы — белой с синей каемкой лодки, с девизом «Вперед», и увидел там всякие кульки.

— Еда,— озабоченно объяснил Данилов.— Где же Касицкий?

Наконец показался и Касицкий с какой-то паршивой собачонкой.

— Да брось! — нетерпеливо проговорил Данилов.

Касицкий с сожалением выпустил собаку.

— Ну, готово! Едем.

Тёма с замиранием сердца прыгнул в лодку и сел на весло.

«Неужели навсегда?» — пронеслось у него в голове и мучительно-сладко где-то далеко-далеко замерло.

Касицкий сел на другое весло. Данилов — на руль.

— Отдай! — сухо скомандовал Данилов матросу.

Матрос бросил веревку, которую держал в руке, и оттолкнул лодку.

— Навались!

Тёма и Касицкий взмахнули веслами. Вода быстро, торопливо, гулко заговорила у борта лодки.

— Навались!

Гребцы сильно налегли. Лодка помчалась по гладкой поверхности гавани. У выхода она ловко вильнула под носом входившего парохода и, выскочив на зыбкую, неровную поверхность открытого моря, точно затанцевала по мелким волнам.

— Норд-ост! — коротко заметил Данилов.

Весенний холодный ветер срывал с весел воду и разносил брызги.

— Навались!

Весла, ровно и мерно стуча в уключинах, на несколько мгновений погружались в воду и снова сверкали на солнце, ловким движением гребцов обращенные параллельно к воде.

Отъехав версты две, гребцы, по команде Данилова, подняли весла и сняли шапки с вспотевших голов.

— Черт, пить хочется,— сказал Касицкий и, перегнувшись, зачерпнул двумя руками морской воды и хлебнул глоток.

То же самое проделал и Тёма.

— Навались!

Опять мерно застучали весла, и лодка снова весело и легко начала резать набегавшие волны.

Ветер свежел.

— К вечеру разыграется,— заметил Данилов.

— О-го, рвет,— ответил Касицкий, надвигая чуть было не сорвавшуюся в море шапку.

— Экая красота! — проговорил немного погодя Данилов, любуясь иебом и морем.— Посмотрите на солнце, как наседают тучи! Точно рядом день и ночь. Там все темное, грозное, а сюда, к городу,— ясное, тихое, спокойное.

Касицкий и Тёма сосредоточенно молчали.

Тёма скользнул глазами по сверкавшему вдали городу, по спокойному, ясному берегу, и сердце его тоскливо сжалось: что-то теперь делают мать, отец, сестры?! Может быть, весело сидят на террасе, пьют чай и не знают, какой удар приготовил он им. Тёма испуганно оглянулся, точно проснулся от какого-то тяжелого сна.

— Что, может, назад пойдем, Карташев? — спросил спокойно Данилов, наблюдая его.

«Назад?!» — радостно рванулось было сердце Тёмы к матери. А мечты об Америке, а гимназия, экзамены, неизбежный провал...

Тёма отрицательно мотнул головой и угрюмо молча налег на весло.

— Пароход! — крикнул Касицкий.

Из гавани, выпуская клубы черного дыма, показался громадный заграничный пароход.

— Пойдем потихоньку навстречу.

Лодка сделала красивый полукруг и медленно пошла навстречу.

Пароход приближался. Уже можно было разобрать толпу пассажиров на палубе!

«Через несколько минут мы уже будем между ними»,— мелькнуло у каждого из друзей.

— Пора!

Все было наготове.

Согласно законам аварий, Касицкий выстрелил два раза из револьвера, а Данилов выбросил специально приготовленный для этого случая белый флаг, навязанный на длинный шест.

Тяжелое чудовище летело совсем близко, высоко задрав свои могучие борты, и гул машины явственно отдался в ушах беглецов, обдав их запахом пара и перегорелого масла.

Лодку закачало во все стороны.

Ура! Их заметили. Целый ворох белых платков замахал им с палубы. Но что ж это? Зачем они не останавливаются?

— Стреляй еще! Маши платком.

Друзья стреляли, махали и кричали как могли.

Увы! Пароход уже был далеко и все больше и больше прибавлял ходу...

Разочарование было полное.

— Они думали,— проговорил огорченно Тёма,— что мы им хорошей дороги желаем.

— Я говорил, что все это ерунда,— сказал Касицкий, бросая в лодку револьвер.— Ну кто, в самом деле, нас возьмет?! Кто для нас остановится?!

Уныло, хотя и быстро было возвращение обратно. Норд-ост был попутный.

— Надо обдумать...— начал было Данилов.

— Ерунда! Ни в какую Америку я больше не поеду,— сказал Касицкий, когда лодка пристала к берегу.— Все это чушь.

— Ну, вот уж и чушь,— ответил сконфуженно Данилов.

— Да, конечно, чушь, и пора понять это.

Тёма грустно слушал, задумчиво смотря вдаль так коварно изменившему пароходу.

— Надо обдумать...

— Как выдержать экзамены,— фыркнул Касицкий и, нахлобучив шапку, пожав наскоро руки друзьям, быстро пошел в город.

— Духом упал. Все еще можно поправить,— грустно докончил Данилов.

— Прощай,— ответил Тёма и, пожав товарищу руку, тоже побрел домой.

Да, не выгорела Америка! С одной стороны, конечно, приятно опять увидеть мать, отца, сестер, братьев, с которыми думал уже никогда, может быть, не встретиться, но, с другой стороны, тяжело и тоскливо вставали экзамены, почти неизбежный провал, все то, с чем, казалось, было уже навсегда покончено.

Да, жаль,— а хороший было придумали выход.

И Тёма от души вздохнул.

Когда после пасхи в первый раз собрались в класс, все уже перемололось, и Касицкий не удержался, чтобы в веселых красках не передать о неудавшейся затее. Тёма весело помогал ему, а Данилов только снисходительно слушал.

Все смеялись и прозвали Данилова, Касицкого и Тёму «американцами».

XI

ЭКЗАМЕНЫ

Подошли и экзамены.

Несмотря на то, что Тёма не пропускал ни одной церкви без того, чтобы не перекреститься, не ленился за квартал обходить встречного батюшку, или в крайнем случае при встречах хватался за левое ухо и скороговоркой говорил: «Чур, чур, не меня!», или усердно на том же месте перекручивался три раза,— дело, однако, плохо подвигалось вперед.

Дома тем не менее Тёма продолжал взятый раньше тон.

— Выдержал?

— Выдержал.

— Сколько поставили?

— Не знаю, отметок не показывают.

— Откуда ж ты знаешь, что выдержал?

— Отвечал хорошо...

— Ну, сколько же, ты думаешь, тебе все-таки поставили?

— Я без ошибки отвечал...

— Значит, пять?

— Пять! — недоумевал Тёма.

Экзамены кончились. Тёма пришел с последнего экзамена.

— Ну?

— Кончил...

Опять ответ поразил мать какою-то неопределенностью.

— Выдержал?

— Да...

— Значит, перешел?

— Верно...

— Да когда же узнать-то можно?

— Завтра, сказали.

Назавтра Тёма принес неожиданную новость, что он срезался по трем предметам, что передержку дают только по двум, но если особенно просить, то разрешат и по трем. Это-то последнее обстоятельство и вынудило его открыть свои карты, так как просить должны были родители.

Тёма не мог вынести пристального, презрительного взгляда матери, устремленного на него, и смотрел куда-то вбок.

Томительное молчание продолжалось довольно долго.

— Негодяй! — проговорила наконец мать, толкнув ладонью Тёму по лбу.

Тёма ждал, конечно, сцены гнева, неудовольствия, упреков, но такого выражения презрения он не предусмотрел, и тем обиднее оно ему показалось. Он сидел в столовой и чувствовал себя очень скверно. С одной стороны, он не мог не сознавать, что все

его поведение было достаточно пошло; но, с другой стороны, он считал себя уже слишком оскорбленным. Обиднее всего было то, что на драпировку в благородное негодование у него не хватало материала, и, кроме фигуры жалкого обманщика, ничего из себя и выкроить нельзя было. А между тем какое-то раздражение и тупая злость разбирали его и искали выхода. Отец пришел. Ему уже сказала мать.

— Болван! — проговорил с тем же оттенком пренебрежения отец.— В кузнецы отдам...

Тёма молча высунул ему вдогонку язык и подумал: «Ни капельки не испугался». Тон отца еще больше опошлил перед ним его собственное положение. Нет! Решительно ничего нет, за что бы уцепиться и почувствовать себя хоть чуточку не так пошло и гадко! И вдруг светлая мысль мелькнула в голове Тёмы: отчего бы ему не умереть?! Ему даже как-то весело стало от мысли, какой эффект произвело бы это. Вдруг приходят, а он мертвый лежит. Вот тогда и сердись сколько хочешь! Конечно, он виноват — он понимал это очень хорошо,— но он умрет и этим вполне искупит свою вину. И это, конечно, поймут и отец и мать, и это будет для них вечным укором! Он отомстит им! Ему ни капли их не жалко,— сами виноваты! Тёма точно снова почувствовал презрительный шлепок матери по лбу. Злое, недоброе чувство с новой силой зашевелилось в его сердце. Он злорадно остановил глаза на коробке спичек и подумал, что такая смерть была бы очень хороша, потому что будет не сразу и он успеет еще насладиться чувством удовлетворенного торжества при виде горя отца и матери. Он занялся вопросом, сколько надо принять спичек, чтоб покончить с собой. Всю коробку? Это, пожалуй, будет слишком много, он быстро умрет, а ему хотелось бы подольше полюбоваться. Половину? Тоже, пожалуй, много. Тёма остановился почему-то на двадцати головках. Решив это, он сделал маленький антракт, так как, когда вопрос о количестве был выяснен, решимость его значительно ослабела. Он в первый раз серьезно вник в положение вещей и почувствовал непреодолимый ужас к смерти. Это было решающее мгновение, после которого, успокоенный каким-то подавленным сознанием, что дело не будет доведено до конца, он протянул руку к спичкам, отобрал горсть их и начал потихоньку, держа руки под столом, осторожно обламывать головки. Он делал это очень осторожно, зная, что спичка может вспыхнуть в руке, а это иногда кончается антоновым огнем. Наломав, Тёма аккуратно собрал головки в кучку и некоторое время с большим удовольствием любовался ими в сознании, что их проглотит кто угодно, но только не он. Он взял одну головку и попробовал на язык: какая гадость!

С водой разве?!

Тёма потянулся за графином и налил себе четверть стакана.

Это много для одного глотка. Тёма встал, на цыпочках вышел в переднюю и, чтоб не делать шума, выплеснул часть воды на стену. Затем он вернулся назад и остановился в нерешительности. Несмотря на то, что он знал, что это шутка, его стало охватывать какое-то странное волнение. Он чувствовал, что в его решимости не глотать спичек стала показываться какая-то страшная брешь: почему и в самом деле не проглотить? В нем уж не было уверенности, что он не сделает этого. С ним что-то происходило, чего он ясно не сознавал. Он, если можно так сказать, перестал чувствовать себя, как будто был кто-то другой, а не он. Это наводило на него какой-то невыразимый ужас. Этот ужас все усиливался и толкал его. Рука автоматично протянулась к головкам и всыпала их в стакан. «Неужели я выпью?!» — думал он, поднимая дрожащей рукою стакан к побелевшим губам. Мысли вихрем завертелись в его голове. «Зачем? Разве я не виноват действительно? Я, конечно, виноват. Разве я хочу нанести такое горе людям, для которых так дорога моя жизнь? Боже сохрани! Я люблю их...»

— Артемий Николаевич, что вы делаете?! — закричала Таня не своим голосом.

У Тёмы мелькнула только одна мысль, чтобы Таня не успела вырвать стакан. Судорожным, мгновенным движением он опрокинул содержимое в рот... Он остановился с широко раскрытыми, безумными от ужаса глазами.

— Батюшки! — завопила режущим, полным отчаяния голосом Таня, стремглав бросаясь к кабинету.— Барин... барин!..

Голос ее обрывался какими-то воплями:

— Артемий... Николаич... отравились!!

Отец бросился в столовую и остановился, пораженный идиотским лицом сына.

— Молока!

Таня бросилась к буфету.

Тёма сделал слабое усилие и отрицательно качнул головой.

— Пей, негодяй, или я расшибу твою мерзкую башку об стену! — закричал неистово отец, схватив сына за воротник мундира.

Он так сильно сжимал, что Тёма, чтоб дышать, должен был наклониться, вытянуть шею и в таком положении, жалкий, растерянный, начал жадно пить молоко.

— Что такое?! — вбежала мать.

— Ничего,— ответил взбешенным, пренебрежительным голосом отец,— фокусами занимается.

Узнав, в чем дело, мать без сил опустилась на стул.

— Ты хотел отравиться?!

В этом вопросе было столько отчаянной горечи, столько тоски, столько чего-то такого, что Тёма вдруг почувствовал

себя как бы оторванным от прежнего Тёмы, любящего, нежного, и его охватило жгучее, непреодолимое желание во что бы то ни стало, сейчас же, сию секунду снова быть прежним мягким, любящим Тёмой. Он стремглав бросился к матери, схватил ее руки, крепко сжал своими и голосом, доходящим до рева, стал просить:

— Мама, непременно прости меня! Я буду прежний, но забудь все! Ради бога, забудь!

— Все, все забыла, все простила,— проговорила испуганная мать.

— Мама, голубка, не плачь,— ревел Тёма, дрожа, как в лихорадке.

— Пей молоко, пей молоко! — твердила растерянно, испуганно мать, не замечая, как слезы лились у нее по щекам.

— Мама, не бойся ничего! Ничего не бойся! Я пью, я уже три стакана выпил. Мама, это пустяки, вот, смотри, все головки остались в стакане. Я знаю, сколько их было... Я знаю... Раз, два, три...

Тёма судорожно считал головки, хотя перед ним была одна сплошная, сгустившаяся масса, тянувшаяся со дна стакана к его краям...

— Четырнадцать! Все! Больше не было,— я ничего не выпил... Я еще один стакан выпью молока.

— Боже мой, скорей за доктором!

— Мама, не надо!

— Надо, мой милый, надо!

Отец, возмущенный всей этой сценой, не выдержал и, плюнув, ушел в кабинет.

— Милая мама, пусть он идет, я не могу тебе сказать, что́ я пережил, но если б ты меня не простила, я не знаю... я еще бы раз... Ах, мама, мне так хорошо, как будто я снова родился! Я знаю, мама, что должен искупить перед тобою свою вину, и знаю, что искуплю, оттого мне так легко и весело. Милая, дорогая мама, поезжай к директору и попроси его,— я выдержу передержку, я знаю, что выдержу, потому что я знаю, что я способный и могу учиться.

Тёма, не переставая, все говорил, говорил и все целовал руки матери. Мать молча, тихо плакала. Плакала и Таня, сидя тут же на стуле.

— Не плачь, мама, не плачь,— повторял Тёма.— Таня, не надо плакать.

Исключительные обстоятельства выбили всех из колеи. Тёма совершенно не испытывал той обычной, усвоенной манеры отношения сына к матери, младшего к старшему, которая существовала обыкновенно. Точно перед ним сидел его товарищ, и Таня была товарищ, и обе они и он попали неожиданно в какую-то

беду, из которой он, Тёма, знает, что выведет их, но только надо торопиться.

— Поедешь, мама, к директору? — нервно, судорожно спрашивал он.

— Поеду, милый, поеду.

— Непременно поезжай. Я еще стакан молока выпью. Пять стаканов, больше не надо, а то понос сделается. Понос очень нехорошо.

Мысли Тёмы быстро перескакивали с одного предмета на другой, он говорил их вслух, и чем больше говорил, тем больше ему хотелось говорить и тем удовлетвореннее он себя чувствовал.

Мать со страхом слушала его, боясь этой бесконечной потребности говорить, с тоской ожидая доктора. Все ее попытки остановить сына были бесполезны, он быстро перебивал ее:

— Ничего, мама, ничего, пожалуйста, не беспокойся.

И снова начинался бесконечный разговор.

Вошли дети, гулявшие в саду. Тёма бросился к ним и, сказав: «Вам нельзя тут быть»,— запер перед ними дверь.

Наконец приехал доктор, осмотрел, выслушал Тёму, потребовал бумаги, перо, чернила, написал рецепт и, успокоив всех, остался ждать лекарства. У Тёмы начало жечь внутри.

— Пустяки,— проговорил доктор,— сейчас пройдет.

Когда принесли лекарство, доктор молча, тяжело сопя, приготовил в двух рюмках растворы и сказал, обращаясь к Тёме:

— Ну теперь закусите вот этим все ваши разговоры. Отлично! Теперь вот это! Ну, теперь можете продолжать.

Тёма снова начал, но через несколько минут он как-то сразу раскис и вяло оборвал себя:

— Мама, я спать хочу.

Его сейчас же уложили, и, под влиянием порошков, он заснул крепким детским сном.

На другой день Тёма был вне всякой опасности и хотя ощущал некоторую слабость и боль в животе, но чувствовал себя прекрасно, был весел и с нетерпением гнал мать к директору. Только при появлении отца он умолкал, и было что-то такое в глазах сына, от чего отец скорее уходил к себе в кабинет. Приехал доктор, мать, оставив Тёму на его попечении, уехала к директору.

— Я сяду заниматься, чтобы не терять времени,— заявил весело Тёма.

— Вот и отлично,— ответил доктор.

Тёма забрал книги и отправился в маленькую комнатку, а доктор ушел в кабинет к старику Карташеву.

Когда разговор коснулся текущих событий, генерал не утерпел, чтобы не пожаловаться на жену за неправильное воспитание сына.

— Да, нервно немножко...— проговорил доктор как-то нехотя.— Век такой... Вы, однако, с сыном-то все-таки помягче, а то ведь можно и совсем свихнуть мальчугана... Нервы у него не вашего времени...

— Пустяки, весь он в меня...

— Может, в вас он... да уж... одним словом, надо сдерживать себя.

— Пропал мальчик,— с отчаянием в голосе произнес отец.

Доктор добродушно усмехнулся.

— Славный мальчик,— заметил он и забарабанил пальцами по столу.

— Эх! — махнул огорченно отец и зашагал угрюмо по комнате.

Приехала мать с радостным лицом.

— Разрешил?! — спросил Тёма, выскакивая с латинской грамматикой.— Мама, я вот уже сколько прошел!

Неделя промелькнула для Тёмы незаметно. Он не мог оторваться от книг. В голову, строчка за строчкой, вкладывались страницы книги, как в какой-то мешок. Иногда он закрывал глаза и мысленно пробегал пройденное, и все в систематическом порядке, рельефно и выпукло проносилось перед ним. Довольный опытом, Тёма с новым жаром продолжал занятия. Передержка была по русскому, латинскому и географии, но уже она сидела вся в голове. Иногда он звал сестру и говорил ей:

— Экзаменуй меня.

Зина добросовестно принималась спрашивать, и Тёма без запинки отвечал с малейшими деталями. В награду Зина говорила огорченно:

— Стыдно с такими способностями так лениться.

— Я на будущий год буду отлично заниматься, сяду на первую скамейку и буду первым учеником.

— Ну, да...

— Хочешь пари?

— Не хочу.

— А-га, знаешь, что могу!

— Конечно, можешь — да не будешь.

— Буду, если Маня меня будет любить.

Зина засмеялась.

— Будет любить?

— Не знаю... если заслужишь.

— А я знаю, что она меня любит!

— И неправда.

— А зачем не смотришь? А я знаю, что она тебе говорила в беседке.

— Ну, что?

— Не скажу.

— А я скажу, если хочешь: она говорила, что ты ей надоел.

Тёма озадаченно посмотрел на Зину и потом весело закричал:

— Неправда, неправда! А зачем она мне сказала, что любит Жучку, потому что это моя собака?

— А ты и уши развесил.

— А-га! — торжествовал Тёма.— Передай ей, когда увидишь, что я влюблен в нее и хочу жениться на ней.

— Скажите пожалуйста! Так и пойдет она за тебя.

— А почему не пойдет?

— Так...

В день экзамена Таня разбудила Тёму на заре, и он, забравшись в беседку, все три предмета еще раз бегло просмотрел. От волнения он не мог ничего есть и, едва выпив стакан чаю, поехал с неизменным Еремеем в гимназию. Директор присутствовал при всех трех экзаменах. Тёма отвечал без запинки.

По исхудалому, тонкому, вытянутому лицу Тёмы видно было, что не даром дались ему его знания.

Директор молча слушал, всматривался в мягкие, горящие внутренним огнем глаза Тёмы и в первый раз почувствовал к нему какое-то сожаление.

По окончании последнего экзамена он погладил его по голове и проговорил:

— Отличные способности. Могли бы быть украшением гимназии. Будете учиться?

— Буду,— прошептал, вспыхнув, Тёма.

— Ну, ступайте домой и передайте вашей матушке, что вы перешли в третий класс.

Счастливый Тёма выскочил, как бомба, из гимназии.

— Еремей, я перешел! Все экзамены выдержал, всё без запинки отвечал.

— Слава богу,— заерзал, облегченно вздыхая, Еремей.— Чтоб оны вси тые екзамены сказылысь! — разразился он неожиданной речью.— Дай бог, щоб их вси уж покончали, да в офицеры б вас произвели,— щоб вы, як папа ваш, енералом булы.

Выговорив такую длинную тираду, Еремей успокоился и впал в свое обычное, спокойное состояние.

Тёма мысленно усмехнулся его пожеланиям и, усевшись поудобнее в экипаж, беззаботно отдался своему праздничному настроению.

— Ну? — встретила его мать у калитки.

— Выдержал.

— Слава богу,— и мать медленно перекрестилась.— Перекрестись и ты, Тёма.

Но Тёме показалось вдруг обидным креститься: за что? он

столько уже крестился и всегда, пока не стал учиться, резался.

— Я не буду креститься,— буркнул обиженный Тёма.

— Тёма, ты серьезно хочешь вогнать меня в могилу? — спросила его холодно мать.

Тёма молча снял шапку и перекрестился.

— Ах, какой глупый мальчик! Если ты и занимался и благодаря этому и своим способностям выдержал, так кто же тебе все дал? Стыдно! Глупый мальчик.

Но уж эта нотация была сделана таким ласкающим голосом, что Тёма, как ни желал изобразить из себя обиженного, не удержался и распустил губы в довольную, глупую улыбку.

«Да, уж такой возраст!» — подумала мать и, ласково притянув Тёму, поцеловала его в голову. Мальчик почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав руку матери, горячо ее поцеловал.

— Ну, зайди к папе и обрадуй его... ласково, как ты умеешь, когда захочешь.

Окрыленный, Тёма вошел в кабинет и в один залп проговорил:

— Милый папа, я перешел в третий класс.

— Умница,— ответил отец и поцеловал сына в лоб.

Тёма, тоже с чувством, поцеловал у него руку и с облегченным сердцем направился в столовую.

Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой собственный сливочник, большую двойную просфору — его любимое лакомство к чаю. Мать налила сама в граненый стакан прозрачного, немного крепкого, как он любил, горячего чаю. Он влил в стакан весь сливочник, разломил просфору и с наслаждением откусил какой только мог большой кусок.

Зина, потягиваясь и улыбаясь, вышла из маленькой комнаты.

— Ну? — спросила она.

Но Тёма не удостоил ее ответом.

— Выдержал, выдержал,— проговорила весело мать.

Напившись чаю, Тёма хотя и нехотя, но передал все, не пропустив и слов директора.

Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол.

В эту минуту, если б кто захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью,— лицо Аглаиды Васильевны было бы высокоблагородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и всё и вся ее заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их? Кому нужен испошленный мальчишка и в ком его глупая, самодовольная улыбка вызовет не раздражение, а желание именно в такой невыгодный для него момент пожалеть и приласкать его?

— Добрый человек директор,— задумчиво произнесла Аглаида Васильевна, прислушиваясь к словам сына.

Тёма кончил и без мысли задумался.

К стр. 359

«Хорошо,— пронеслось в его голове.— А что было неделю тому назад?!»

Тёма вздрогнул: неужели это был он?! Нет, не он! Вот теперь это он.

И Тёма ласково, любящими глазами смотрел на мать.

XII

ОТЕЦ

Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему. Ничего как будто не переменилось: та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими, узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с прической волос к вискам,— но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общества своей семьи.

Тёму особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими.

Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед.

— Ну, что твое море? — спросил Тёму как-то отец во время вечернего чая, за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки — молодой худосочный господин.

— Да, что море? — огорченно заметила мать,— гребут до изнеможения, вчера восемь часов не вставали с весел... Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море.

— Я в этом отношении фаталист,— сказал отец, исчезая в клубах дыма.— Двум смертям не бывать, а одной — как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.

Глаза Тёмы сверкнули на отца.

— Ну, пожалуйста,— обратилась мать к сыну.— Сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей.

— Я никогда не женюсь,— ответил Тёма.— Моряку нельзя жениться, у моряка жена — море.

Он с удовольствием потянулся.

— Данилов тоже, конечно, не женится? — спросила Зина.

— Конечно, не женится, мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.

— Вместе и командовать будете, конечно? — пошутил отец.

Отец был в духе.

Тёма, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь:

— Ну-у, командовать...

— Не надеешься? — быстро, немного пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил: — А не надеешься — и командовать никогда не будешь... По поводу фатализма...— обратился он к учителю музыки.— В нашей военной службе, да и во всякой службе не фаталист не может сделать карьеры... Под Германштадтом наш полк,— отец бросил взгляд на сына,— стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с... Так вот. Сижу я на своем Черте...

— Папина лошадь,— подсказала мать.

— ...и говорю офицерам... А так, с косогора, нам вся картина как на ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев — человек тысяча, два орудия при них, а за ними остальной табор — тысяч четырнадцать. С этой стороны по косогору наши войска. Я и говорю: «Вот сбить бы с позиции это каре да под их прикрытием и двинуть вперед; без одного выстрела подобрались бы». Командир и говорит: «Тут целый полк перебьешь, пока до этого каре доберешься только». Заспорил я с ним, что с одним своим эскадроном собью каре... конечно, в сущности, какое ж это войско было? Пушки дрянные, ружья... да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт... так — сброд. А наши ведь: николаевские. Дядя и говорит: «Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху, потому что еще пороху как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и узнал...» Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо: «Ну, дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения...» Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж был семейный,— как стоянка, сейчас жене письма... дети уж были,— какая там дуэль! Покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: «А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?» Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а действительно так ловко вышло, что право-то за мной. «Ну, говорит, будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда. Кстати уж скажи — куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то, бешеного, и молиться некому».

Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся.

Тёма так и замер на своем месте.

Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:

— А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос... Ну-с... Подскакал я к своему эскадрону: «Ребята!

Милость нам — в атаку! Живы будем, от царя награда, а от меня хоть залейся водкой!» — «Хоть к черту в зубы веди!..» Скомандовал я, и стали мы заходить... А так: овраг кончался, и этакий холмик стоял в долине,— я и хотел было за ним выстроить эскадрон и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю — проклятая речушка,— не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться...— дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один, увяз,— уж по лошади пролез назад... Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку: мостик жиденький, только-только одному в поводу пройти с лошадью. Заметили... Сейчас же, конечно, огонь открыли... В движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла — не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уж дух не тот. Ну, и самому-таки и жутко и неловко: как-никак виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь человеческая: тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили,— всё на твою совесть. Повернулся я к солдатам — смотрят покорно, конечно, а тоже ведь всё понимают. Так как-то вырвалось: «Ну, братцы, виноват — оплошал! Жив буду — заслужу, а теперь не выдавайте!»

Отец затянулся.

— Встрепенулись... «Отцом был — не выдадим!» Конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом... Ласку ценили... Ну, и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь какая же! Может, и сам уже стоишь перед своим смертным часом... Прямо — отец, а это твои дети: и не то, чтобы жаль, а так как-то, вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного, вот сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство... вот какое только после причастия бывает... Нет, сильнее! Ну вот, точно вдруг само небо раскрылось и сам господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и сказал: идите. Куда и страх девался! Под огнем, а как на плацу построились. И картина же действительно! Уланы... Один к одному — красавцы на подбор!.. Чепраки малиновые... Лошади вороные... Солнце блестит, в небе ни тучки... двадцать пятое июля... наши войска как на ладони... Эх!! Нет уж того, что было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад... тысячи ружей в упор, десять смертей на одного, а на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь собрался.

Отец остановился и опять несколько раз затянулся.

— Ну-с, так вот... Тронулись мы... Собрал я своего Черта и стал выпускать понемногу. А Чертом я называл свою лошадь оттого, что не выносила она, когда ее между ушами трогали, сразу освирепеет: стена не стена, огонь не огонь — одним словом, черт! А так — первая лошадь. И уж сколько мне говорили: сломишь голову! жаль расстаться, хоть ты что... Ну-с, так вот...

Стали забирать кони... шибче, шибче... Марш-марш, в карьер!.. И-ить!.. Весь эскадрон, как один человек... Только земля дрожит... пики наперевес... Лошадь врастяжку, точно на месте стоишь... А там ждут... Да хоть бы стрелял... Ждет... в упор хочет... Смотрит: глаз видно!.. Тошно, прямо тошно: бей, не томи! Пли!!! Все перевернуло сразу... эскадрон как вкопанный! Пыль... лошади... люди... Каша. «Вперед!!» Ни с места! Так секунда... Назад?! Серая шинель?! Позор?! А мои уж поворачивают коней... «Ребята, что ж вы?» И не смотрят. Э-эх!.. За сердце схватило!.. «Па-а-длецы!» Да как хвачу меж ушей своего Черта...

Несколько мгновений длилось молчание.

— Уж и не помню... Так, вихрь какой-то... Весь эскадрон за мной, как один человек: врезались, опрокинули, смяли... Бойня, настоящая бойня пошла... прямо бунчуками — перевернет пику да бунчуком, как баранов, по голове и лупит. Люди... Что люди?! Лошади остервенели; вот где настоящий ужас был: прижмет уши, оскалит зубы, изовьет шею, вопьется в тело и рванет под себя.

Отец замолчал и потонул в облаках дыма.

Молчание длилось очень долго.

— А ты сам, папа, много убил? — спросила Зина.

— Никого,— ответил, усмехнувшись, отец.— У меня и сабля не была отточена. Да и сабля-то. Так, ковырялка. Никита, мой денщик, шельма, бывало, все ею в самоваре ковырялся.

— Папа, а как же ты Черта удержал? — спохватилась вдруг аккуратная Зина.

— Да уж не я его удержал... Кто-то другой... Пуля ему угодила: мне назначалась, а он мотнулся, ему прямо в лоб и влепилась. Упал он и прижал мне ногу... ну, а ведь давят, бьют, режут... только я было на локоть, чтобы рвануться, смотрю — прямо в меня дуло торчит? Глянул: батюшки, смерть,— целит какая-то образина! Ну, уж тут я... вторую жизнь прожил... а ведь всего какая-нибудь секунда... Смотрю: а уж Бондарчук, унтер-офицер — пьяница, шельма, а молодец, в плечах сажень косая — бунчуком по башке его... и не пикнул... И что значит страх?! Рожей мне показался невообразимой, а как посмотрел на него, когда уж он упал: шляпа откинулась — лежит мальчик лет пятнадцати, не больше, ребенок! Раскидал ручонки, точно в небо смотрит... лицо тихое, спокойное... Господи! вот уж насмотрелся... Ночью что было: не могу заснуть. Стоят перед глазами... Бондарчук, которого сейчас же после того, как он спас меня, свалили — стоит: глаза стеклянные, посинел,— стоит и смотрит, смотрит прямо в глаза! Тьфу ты! А в ушах: ая-яй! ая-яй! Открою глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу... опять потянулись: венгерец весь в крови, с разорванным лицом лезет из-под лошади, солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутил-

ся калачиком, смотрит на меня, качает головой и воет; лошадь с выпущенными потрохами тянется на четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза... ну, ей-богу же, как у человека. А как дойдет опять до Бондарчука, встанет и стоит: ну, хоть ты что хочешь делай! Смешно, а ведь хоть плачь! Вдруг слышу, Никита: «Ваше благородие, ваше благородие, чи вы спите?» — «Тебе чего?» — спрашиваю. «Бондарчук воскрес». Тьфу ты, черт! Я думал, что с ума сойду. Действительно: и так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз! Бросился я, как был. А так, саженях в ста положили всех убитых рядышком, смотрю — действительно идет Бондарчук; весь эскадрон уж выскочил: все любили его — пьяница, а балагур-товарищ. «Ты что ж это, с того света?» — спрашиваю. «Так точно, ваше благородие». На радостях я и пошутил. «Ты зачем же, говорю, назад пришел». А он, мерзавец, вытянулся, руку к козырьку, да самым этак заковыристым голосом: «Опохмелиться, ваше благородие, пришел: там не дают!» Ну, тут уж и я и солдаты прыснули. Что ж оказалось?! Он, подлец, на случай атаки с собой в манерку водки взял; пока оврагом спускались — он и нализался. А пьяного только царапни ведь: он сейчас, как мертвый, свалится. А проснется, встанет как ни в чем не бывало.

— Ну, что ж, дал, папа, на водку ему? — спросила Зина.

— Водки-то всем дал... А Бондарчуку, как возвратились, на стоянке, после похода, тысячу рублей ассигнациями дал... только не ему уж, а жене.

— Доволен был?

— Надо думать,— ответил отец, вставая и уходя к себе.

Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать,— слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм — сделали свое дело.

Теперь по наружному виду это уж был не прежний Николай Семенович. Без мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенною на подушку головой, укрытый одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело,— Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным.

Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы.

Иногда, не выдержав, Тёма спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким девятилетним Сержиком.

— Чего тебе?! — выскочив за дверь, спрашивал Тёма, всматриваясь сквозь слезы в Сержика.

Бледное, растерянное лицо Сержика смотрело в лицо Тёмы, и дрогнувший голос делил с ним общее горе:

— Жалко папу!

«Жалко папу» — вот ясная, отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный, тихий писк тоски и беспомощности.

— Тише, тише,— шепотом и жестами останавливал Тёма и свои и Сержика слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было б слышно их слез.

Однажды, придя из гимназии, Тёма по лицам всех увидел и догадался, что что-то страшное уж где-то близко.

Наскоро поев, Тёма на носках пошел к кабинету отца.

Он осторожно нажал дверь и вошел.

Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою.

Тёму потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит, но привычка брала свое,— он не мог победить чувства неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца.

Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что́ происходило в его душе.

— Ну, что, Тёма,— проговорил он мягким, снисходительным тоном.

Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.

«Холодный я»,— подумал тоскливо Тёма.

Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:

— Живи, Тёма.

— Вместе, папа, будем жить.

— Нет уж... пора мне собираться...— И, помолчав, прибавил: — В дальнюю дорогу...

Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать.

Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся, ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни.

Так глубокой осенью, когда солнце давно уже исчезло в непроглядном сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным, унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и, скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомнив о прожитом лете.

— Жил, как мог...— тихо, как бы сам с собой, заговорил отец.— Все позади... И ты будешь жить... узнаешь много... а кончишь тем же,— будешь, как я, лежать да дожидаться смерти...

Тебе труднее будет, жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится... Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредоточивалась. Мы относились к нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили родину, царя... Теперь другие времена... Бывало, я помню, маленьким еще был: идет генерал,— дрожишь — бог идет, а теперь идешь, так, писаришка какой-то прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки так, как будто уж он мир завоевал... Обидно умирать в чужой обстановке... А впрочем, общая это судьба... И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать, отыскивая одни пошлые и смешные стороны... Везде они есть... Одно, Тёма... Если...

Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына.

— Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...

Разговор кончился.

В немом молчании, с широко раскрытыми глазами сидел Тёма, прижавшись к стенке кровати...

Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и остаться один.

Вечером умирающему как будто стало легче. Он ласково перекрестил всех детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот по привычке взял его руку, чтоб поднести к губам, тихо сжал, приветливо заглянул сыну в глаза и проговорил спокойно, точно любуясь:

— Молодой хозяин.

Потрясенный непривычной лаской, Тёма зарыдал и, припав к отцу, осыпал его лицо горячими, страстными поцелуями.

В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание сиротевшей семьи.

Не выдержал и отец... Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и охватила его... Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы тихо закапали на подушку... Когда все успокоились и молча уставились опять в отца — на преображенном лице его, точно из отворенной двери, горела уже заря новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерял ту неизмеримую бездну, которая открывалась между ним, умирающим, и остающимися в живых, между тем светлым, бесконечным и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным и изменчивым — что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо прошептал, осеняя всех крестом:

— Благословляю... живите...

В половине ночи весь дом поднялся на ноги. Началась агония...

Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом

новом появлявшемся лице о чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном.

К рассвету отца не стало.

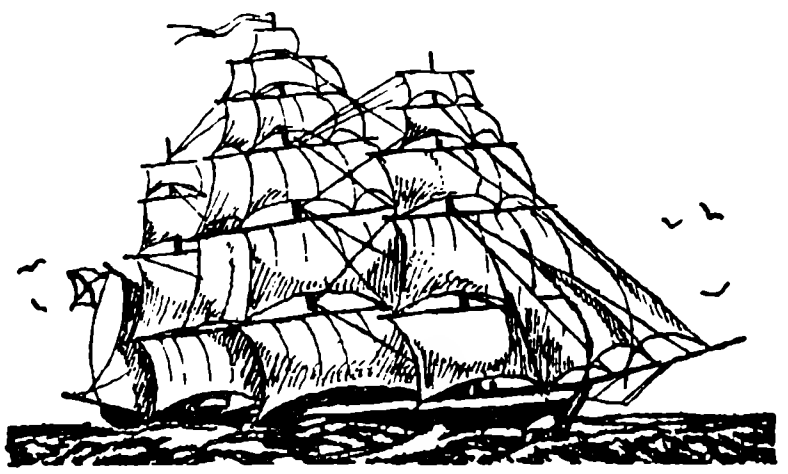
Вместо него на возвышении в гостиной, в массе белого, в блеске свечей, утопало что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое, что-то и вечное, и тленное, и близкое, и чужое, и дорогое, и страшное, вызывая одно только определенное ощущение, что общего между этим чем-то и тем, кто жил в этой оболочке,— ничего нет. Тот папа, суровый и строгий, но добрый и честный, тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во всем и везде, который проникал во все фибры существования,— не мог оставаться в этом немом, неподвижном «чем-то». Он оторвался от этого, ушел куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку и, веселый, довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях...

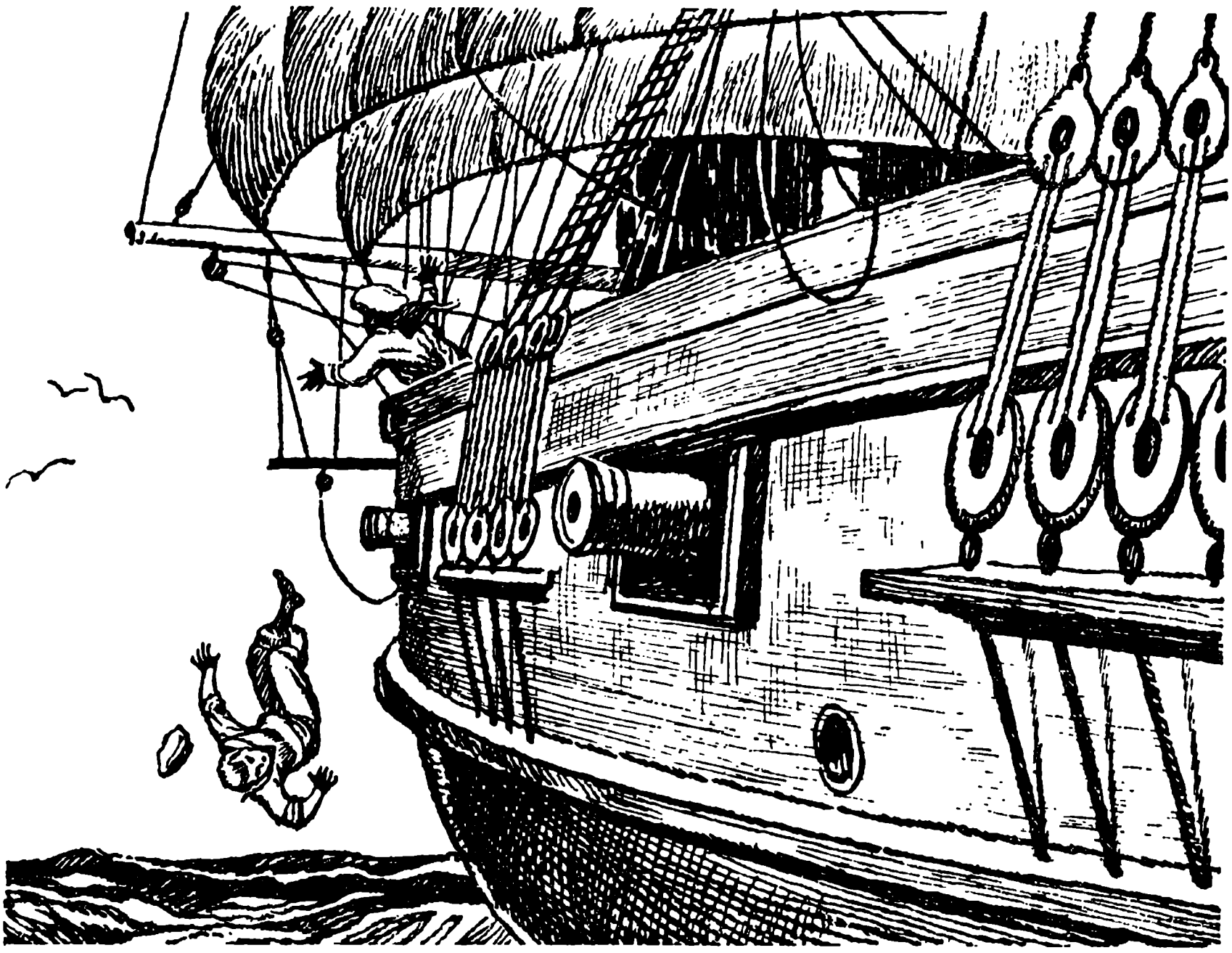
Ярко горят и колеблются свечи, сверкает катафалк и вся длинная, нарядная процессия; жжет солнце, сквозь духоту и пыль мостовой пробивается аромат молодой весны, маня в поле на мягкую, свежую мураву, говоря о всех радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несется дыхание смерти, безжизненно мотается голова, протяжно разносится погребальное пение, звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающий сердце, то напоминающий о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое сердцу, то примиряющий, говорящий о вечности, о смертном часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по лицу молодого Карташева; жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви — любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес...

1892

К.М. СТАНЮКОВИЧ

Рассказы





«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами,— отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем),— этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани,— смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец,— говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чув-

ствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

— И хорошо же ты поешь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[1], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек...— Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

— То-то я и говорю,— начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову,— важно ты поешь песни, Егорка...

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!..— заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки,— все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее

---

[1] «Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. *(Прим. автора.)*

на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочек, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер, под штормовыми парусами, бросало как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтобы не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой...— Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и... замок, братцы, сломан... двадцати франоков нет...

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и под большим секретом давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в

Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов.— Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки.— Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные... Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги... По грошам сбирал... чарки своей не пью...— прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Эдакий мерзавец... Только срамит матросское звание...— с сердцем сказал Лаврентьич.

— Д-да... Завелась и у нас паршивая собака...

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов...— Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он.— Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы... народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом.— Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему, как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше

форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось Прошка не все украл... Еще малость осталось? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич.— Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный «гальюнщик» — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут

ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

— У-у... подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо начистить зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо,— словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обра-

тившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри... до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!..— сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил... помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть...

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил...

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет... слышишь?.. Отдай только мои

деньги... Тебе ведь пропить, а у меня семейство... Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня... Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом.— Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

— Полно... Будет... будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет... будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец... запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов.— Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой.— А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания.— Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно,— а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты... Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу,— продолжал Шутиков тихим ласковым голосом, — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу... безо всякой жалости...

Прошка насторожился... Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит... И многие ребята сумневаются...

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал... Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову... Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану... Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же... Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка.

— Эка... глупый... Сказано: получай, не кобянься!

— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты...

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка...— Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку... жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка.— Все перенесу с моим удовольствием... По крайности знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!..— прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри... попробуй еще раз ко мне лазить... Иска-

лечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту... Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин... Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:

— Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола?

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов...— Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека...— строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, значит...

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил?..— удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным.— Ну-ка, попробуй, Прошка... Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако... нашел себе приятеля Шутиков... Нечего сказать... приятель... хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная бли́зость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля.— Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

— Есть... Вижу!

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан.— Ищите людей на остнорд-ост... Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иваныч.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иваныч?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то... трус, трус, а вот подите!..— продолжал капитан.

— Удивительно... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли

Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

— Ну, ступай переоденься скорей да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу.— Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю,— шабаш... Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков...— Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу — Прохор голосом кричит... Плывет с кругом и мне буек подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, господи благослови, да за им...

— То-то и есть!.. Душа в ем... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... На-кось покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

НЯНЬКА

Посвящается Константину Константиновичу Станюковичу

I

Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполняющий обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин.

Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком:

— Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали.

Барыня, молодая видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром, в голубом капоте, в маленьком чепце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узел светло-

русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданого еще подростком.

— Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову.

— Не знаю, барыня.

— А как он на вид?

— Как есть грубая матрозня! Безо всякого обращения, барыня! — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые, сочные губы.

Сам он вовсе не походил на матроса.

Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет тридцати пяти и с маленькими, заплывшими глазками, он и наружным своим видом и некоторою развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ.

Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши в море.

У Лузгиных он жил в денщиках вот уже три года и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей.

— А не заметно, что он пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков.

— Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня! — прибавил Иван.

— Ну, пошли его сюда!

Иван вышел, бросив на Анютку быстрый нежный взгляд.

Анютка сердито повела бровями.

II

В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медною серьгой в ухе. На вид ему было лет пятьдесят. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через порог, матрос вытянулся, как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы.

На правой руке недоставало двух пальцев.

Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого, рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными как смоль баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид,— произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление.

«Точно лучше не мог найти»,— мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал такого грубого мужлана.

Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими, точно медвежьими, ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и — главное — на нос, широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушал ей тревожные подозрения.

— Здравствуй! — произнесла, наконец, барыня недовольным, сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги.

— Здравия желаю, вашескобродие! — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо не сообразив размера комнаты.

Этот крик заставил барыню вздрогнуть.

— Не кричи так! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок.— Ты, кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише.

— Есть, вашескобродие,— значительно понижая голос, ответил матрос.

— Еще тише. Можешь говорить тише?

— Буду стараться, вашескобродие! — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет «нудить» его.

— Как тебя зовут?

— Федосом, вашескобродие.

Барыня поморщилась, точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя!

— А фамилия?

— Чижик, вашескобродие!

— Как? — переспросила барыня.

— Чижик... Федос Чижик!

И барыня и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анютка фыркнула в руку,— до того фамилия эта не подходила к его наружности.

И на серьезном, напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно бы подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным.

Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса. И нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что

Чижик добрый, и он ему теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему особенно приятным и значительным.

И он сказал матери:

— Возьми, мама, Чижика.

— Taisez vous[1],— заметила мать.

И, принимая серьезный вид, продолжала допрос:

— У кого ты прежде был денщиком?

— Вовсе не был в этом звании, вашескобродие.

— Никогда не был денщиком?

— Точно так, вашескобродие. По флотской части состоял. Форменным, значит, матросом, вашескобродие...

— Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием.

— Слушаю, вашеско... виноват, барыня!

— И вестовым никогда не был?

— Никак нет.

— Почему же тебя теперь назначили в денщики?

— По причине пальцев! — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальцев.— Марсафалом оторвало прошлым летом на «конверте», на «Кобчике»...

— Так муж тебя знает?

— Три лета с ими на «Кобчике» служил под их командой.

Это известие, казалось, несколько успокоило барыню. И она уже менее сердитым тоном спросила:

— Ты водку пьешь?

— Употребляю, барыня! — добросовестно признался Федос.

— И... много ее пьешь?

— В плепорцию, барыня.

Барыня недоверчиво покачала головой.

— Но отчего же у тебя нос такой красный, а?

— Сроду такой, барыня.

— А не от водки?

— Не должно быть. Я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник.

— Денщику пить нельзя... Совсем нельзя... Я терпеть не могу пьяниц! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.

Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику:

— Слушаю-с!

— Помни это.

Федос дипломатически промолчал.

— Муж говорил, на какую должность тебя берут?

— Никак нет. Только приказали явиться к вам.

---

[1] Замолчи! *(франц.)*

— Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином,— указала барыня движением головы на мальчика.— Будешь при нем нянькой.

Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись.

Барыня стала перечислять обязанности денщика-няньки.

Он должен будить маленького барина в восемь часов и одеть его; весь день находиться при нем безотлучно и беречь его как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним... В свободное время стирать его белье...

— Ты стирать умеешь?

— Свое белье сами стираем! — отвечал Федос и подумал, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать.

— Подробности всех твоих обязанностей я потом объясню, а теперь отвечай: понял ты, что от тебя требуется?

В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка.

«Нетрудно, дескать, понять!» — говорила, казалось, она.

— Понял, барыня! — отвечал Федос, несколько удрученный и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря «языком брешет».

— Ну, а детей ты любишь?

— За что детей не любить, барыня. Известно... дите... Что с него взять...

— Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович... Тогда я окончательно решу: оставлю я тебя или нет.

Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос по всем правилам строевой службы повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел во двор покурить трубочки.

III

— Ну, что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?
— Понравился, мама. И ты его возьми.
— Вот у папы спросим: не пьяница ли он?
— Да ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница.
— Ему верить нельзя.
— Отчего?
— Он матрос... мужик. Ему ничего не стоит солгать.
— А он умеет рассказывать сказки? Он будет со мной играть?
— Верно, умеет и играть должен...
— А вот Антон не умел и не играл со мной.

— Антон был лентяй, пьяница и грубиян.

— За это его и посылали в экипаж, мама?

— Да.

— И там секли?

— Да, милый, чтобы его исправить.

— А он возвращался из экипажа всегда сердитый... И со мной даже говорить не хотел...

— Оттого, что Антон был дурной человек... Его ничем нельзя было исправить.

— Где теперь Антон?

— Не знаю...

Мальчик примолк, задумавшись, и, наконец, серьезно проговорил:

— А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон.

— Он разве смел тебя бранить?

— Подлым отродьем называл... Это, верно, что-нибудь нехорошее...

— Ишь негодяй какой!.. Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?

— Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко...

— Таких людей не стоит жалеть... И ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери.

При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох.

Этот молодой, кудрявый Антон, дерзкий и бесшабашный, любивший выпить и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания о тех двух месяцах, что он пробыл в няньках у барчука.

Влюбленная в молодого денщика, Анютка нередко проливала слезы, когда барин, по настоянию барыни, отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза. Как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет! И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания и ухаживал за соседской горничной.

Куда он милее этого барыниного наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями... Тоже воображает о себе, рыжий дьявол! Проходу на кухне не дает...

В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем.

Анютка торопливо заходила по комнате, закачивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голоском.

Ребенок не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.

— Подай его сюда, Анютка! Совсем ты не умеешь нянчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белою пухлою рукой ворот капота.

Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез.

— Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь.

Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания.

IV

В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался «Кобчик», вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представительный брюнет, лет сорока, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный.

В момент его прихода завтрак был на столе.

Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С пяти часов утра, после двух стаканов чая, он ничего не ел.

Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил:

— Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?

— Разве такой денщик может понравиться?

В маленьких добродушных темных глазах Василия Михайловича мелькнуло беспокойство.

— Грубый, неотесанный какой-то... Сейчас видно, что никогда не служил в домах.

— Это точно, но зато, Маруся, он надежный человек. Я его знаю.

— И этот подозрительный нос... Он, наверное, пьяница! — настаивала жена.

— Он пьет чарку-другую, но уверяю тебя, что не пьяница,— осторожно и необыкновенно мягко возразил Лузгин.

И, зная хорошо, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, он поспешил прибавить:

— Впрочем, как хочешь. Если не нравится, я приищу другого денщика.

— Где опять искать?.. Шуре не с кем гулять... Уж бог с ним... Пусть остается, поживет... Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик!

— Фамилия у него действительно смешная! — проговорил, смеясь, Лузгин.

— И имя самое мужицкое... Федос!

— Что ж, можно его иначе звать, как тебе угодно... Ты, право, Маруся, не раскаешься... Он честный и добросовестный человек... Какой фор-марсовой был!.. Но если ты не хочешь — отошлем Чижика... Твоя княжья воля...

Марья Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она хотела, и был покорнейшим ее рабом, ни разу в течение десятилетнего супружества и не помышлявшим о свержении ига своей красивой жены.

Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Хоть мне и не нравится этот Чижик, но я оставлю его, так как ты этого хочешь.

— Но, Марусенька... Зачем? Если ты не хочешь...

— Я его беру! — властно произнесла Марья Ивановна.

Василию Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очень доволен, что Чижик будет его нянькой.

Нового денщика опять позвали в столовую. Он снова вытянулся у порога и без особенной радости выслушал объявление Марьи Ивановны, что она его оставляет.

Завтра же утром он переберется к ним со своими вещами. Поместится вместе с поваром.

— А сегодня в баню сходи... Отмой свои черные руки,— прибавила молодая женщина, не без брезгливости взглядывая на просмоленные, шершавые руки матроса.

— Осмелюсь доложить, враз не отмоешь... Смола! — пояснил Федос и, как бы в подтверждение справедливости этих слов, перевел взгляд на бывшего своего командира.

«Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимает!»

— Со временем смола выйдет, Маруся... Он постарается ее вывести...

— Так точно, вашескобродие.

— И не кричи так, Феодосий... Уж я тебе несколько раз говорила...

— Слышишь, Чижик... Не кричи! — подтвердил Василий Михайлович.

— Слушаю, вашескобродие...

— Да смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги сына.

— Есть, вашескобродие!

— И водки в рот не бери! — заметила барыня.

— Да, братец, остерегайся,— нерешительно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету своих слов и уверенный, что Чижик при случае выпьет в меру.

— Да вот еще что, Феодосий... Слышишь, я тебя буду звать Феодосием...

— Как угодно, барыня.

— Ты разных там мерзких слов не говори, особенно при ребенке. И если на улице матросы ругаются, уводи барина.

— То-то, не ругайся, Чижик. Помни, что ты не на баке, а в комнатах!

— Не извольте сумлеваться, вашескобродие.

— И во всем слушайся барыни. Что она прикажет, то и исполняй. Не противоречь...

— Слушаю, вашескобродие...

— И боже тебя сохрани, Чижик, осмелиться нагрубить барыне. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить! — строго и решительно сказал Василий Михайлович.— Понял?

— Понял, вашескобродие.

Наступило молчание.

«Слава богу, конец!» — подумал Чижик.

— Он больше тебе не нужен, Марусенька?

— Нет.

— Можешь идти, Чижик... Скажи фельдфебелю, что я взял тебя! — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил «спустить шкуру».

Чижик вышел словно из бани и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира.

Еще бы!

На корвете он казался орел орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот, при жене, совсем другой, «вроде быдто послушливого теленка». И опять же: на службе он был с матросом «добер», драл редко и с рассудком, а не зря; и этот же самый командир из-за своей «белобрысой» шкуру грозит спустить.

«Эта заноза-баба всем здесь командует!» — подумал Чижик не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру.

«Ей, значит, трафь»,— мысленно проговорил он.

— К нам перебираетесь, земляк? — остановил его на кухне Иван.

— То-то к вам,— довольно сухо отвечал Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых и считавший их, по сравнению с настоящими матросами, лодырями.

— Места небось хватит... У нас помещение просторное... Не прикажете ли цигарку?..

— Спасибо, братец. Я — трубку... Пока что до свидания.

Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой «занозой», как Лузгиниха, будет «нудно». Да и вообще жить при господах ему не нравилось.

И он пожалел, что ему оторвало марса-фалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он по-прежнему форменным матросом до самой отставки.

— А то: «водки в рот не бери!» Скажи пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.

V

К восьми часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками — небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой-боцманшей, и балалайкой. Сложив все это в угол кухни, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху и надевши башмаки, явился к барыне, готовый вступить в свои новые обязанности няньки.

В свободно сидевшей на нем рубахе с широким отложным воротом, открывавшим крепкую, жилистую шею, и в просторных штанах Федос имел совсем другой — непринужденный и даже не лишенный некоторой своеобразной приятности — вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись при всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко и производило впечатление опрятности. И пахло от него, по мнению Шурки, как-то особенно приятно: смолой и махоркой.

Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса и его костюм, нашла, что новый денщик ничего себе, не так уже безобразен и мужиковат, как казался вчера. И выражение лица не такое суровое.

Только его темные руки все еще смущали госпожу Лузгину, и она спросила его, кидая брезгливый взгляд на руки матроса:

— Ты в бане был?

— Точно так, барыня.— И, словно бы оправдываясь, прибавил: — Сразу смолы не отмыть. Никак невозможно.

— Ты все-таки чаще руки мой. Держи их чисто.

— Слушаю-с.

Затем молодая женщина, опустив глаза на парусинные башмаки Федоса, заметила строгим тоном:

— Смотри... Не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь не палуба и не матросы...

— Есть, барыня.

— Ну, ступай, напейся чаю... Вот тебе кусок сахара.

— Покорно благодарю! — отвечал матрос, осторожно принимая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев барыни.

— Да долго не сиди на кухне. Приходи к Александру Васильевичу.

— Приходи поскорей, Чижик! — попросил и Шурка.

— Живо обернусь, Лександра Васильич!

С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения.

Первым делом Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить — будут действовать.

— Ну? — недоверчиво спросил Шурка.— Ты разве сумеешь?

— То-то попробую.

— Ты и сказки умеешь, Чижик?

— И сказки умею.

— И будешь мне рассказывать?

— Отчего же не рассказать? По времени можно и сказку.

— А я тебя, Чижик, за то любить буду...

Вместо ответа матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших взъерошенных бровей.

Такая фамильярность не только не была неприятна Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой-нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу.

И он проговорил, понижая голос:

— И знаешь что, Чижик?

— Что, барчук?

— Я никогда не стану на тебя жаловаться маме...

— Зачем жаловаться?.. Небось я не забижу ничем маленького барчука... Дите забижать не годится. Это самый большой грех... Зверь и тот не забиждает щенят... Ну, а ежели, случаем, промеж нас и выйдет свара какая,— продолжал Федос, добродушно улыбаясь,— мы и сами разберемся, без маменьки... Так-то лучше, барчук... А то что кляузы заводить зря?.. Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы... Самое последнее дело! — прибавил матрос, свято исповедовавший матросские традиции, воспрещающие кляузы.

Шурка согласился, что это нехорошее дело,— он и от Антона и от Анютки это слышал не раз,— и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот назвал его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж...

— И без того его часто посылали... Он маме грубил! И пьяный бывал! — прибавил мальчик конфиденциальным тоном...

— Вот это правильно, барчук... Совсем правильно! — почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по

плечу.— Сердце-то детское умудрило пожалеть человека... Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват... Разве можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-то дуракову вину оставили безо внимания, даром что глупого возраста... Молодца, барчук!

Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от нее ничего.

А Федос осторожно присел на сундук и продолжал:

— Скажи вы тогда маменьке про эти самые Антоновы слова, отодрали бы его как сидорову козу... Сделайте ваше одолжение!

— А это что значит?.. Какая такая коза, Чижик?..

— Скверная, барчук, коза,— усмехнулся Чижик.— Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса... Вроде как до бесчувствия...

— А тебя секли, как сидорову козу, Чижик?..

— Меня-то?.. Случалось прежде... Всяко бывало...

— И очень больно?

— Небось несладко...

— А за что?..

— За флотскую часть... вот за что... Особенно не разбирали...

Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно:

— И меня секли, Чижик.

— Ишь ты, бедный... Такого маленького?..

— Мама секла... И тоже было больно...

— За что ж вас-то?..

— Раз за мамину чашку... я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал... Только ты, Чижик, никому не говори...

— Не бойся, милой, никому не скажу...

— Папа, тот ни разу не сек.

— И любезное дело... Зачем сечь?..

— А вот Петю Голдобина — знаешь адмирала Голдобина? — так того все только папа наказывает... И часто...

Федос неодобрительно покачал головой. Недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака!

— А на «Кобчике» папа наказывает матросов?

— Без эстого нельзя, барчук.

— И сечет?

— Случается. Однако папенька ваш добер... Его матросы любят...

— Еще бы... Он очень добрый!.. А хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меняя разговор

и взглядывая прищуренными глазами в окно, из которого лились снопы света, заливая блеском комнату.

— Что ж, погуляем... Солнышко так и играет. Веселит душу-то...

— Только надо маму спросить...

— Знамо, надо отпроситься... Без начальства и нас не пускают!

— Верно, пустит?

— Надо быть, пустит!

Шурка убежал и, вернувшись через минуту, весело воскликнул:

— Мама пустила! Только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одень меня, Чижик!.. Вон пальто висит... Там и шапка и шарф на шею...

— Ну ж и одежи на вас, барчук... Ровно в мороз! — усмехнулся Федос, одевая мальчика...

— И я говорю, что жарко...

— То-то жарко будет...

— Мама не позволяет другого пальто... Уж я просил... Ну, идем к маме!

Марья Ивановна осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила:

— Смотри, береги барина... Чтоб не упал да не ушибся!

«Как доглядишь! И что за беда, коли мальчонка упадет!» — подумал Федос, совсем не одобрявший барыню за ее праздные слова, и официально-почтительно ответил:

— Слушаю-с!

— Ну, идите...

Оба довольные, они ушли из спальной, сопровождаемые завистливым взглядом Анютки, нянчившей ребенка.

— Один секунд обождите меня в колидоре, барчук... Я только переобуюсь.

Федос сбегал в комнату за кухней, переобулся в сапоги, взял буршлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголенных деревьях.

VI

На дворе было славно.

Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачки, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кислыми щами и черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной, испускавшей пар земле с едва

пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью.

У сарая бродили, весело кудахтая, куры, и неугомонный пестрый петух с важным, деловым видом шагал по двору, отыскивая зерен и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки. Стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор и прыгала, чирикая и ссорясь друг с другом. Голуби разгуливали по крыше сарая, расправляли на солнце сизые перья и ворковали о чем-то. На самом припеке, у водовозной бочки, дремала большая рыжая дворняга и по временам щелкала зубами, ловя блох.

— Прелесть, Чижик! — воскликнул полный радости жизни Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросился со всех ног через двор к сараю, вспугивая воробьев и кур, которые удирали во все лопатки и отчаянным кудахтаньем заставили петуха остановиться и в недоумении поднять ногу.

— То-то хорошо! — промолвил матрос.

И он присел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул из кармана маленькую трубчонку и кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку большим пальцем и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор — и кур, и уток, и собаку, и ручейки — тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу и животных.

— Осторожней, барчук!.. Не попадите в ямку... Ишь воды-то... Утке и лестно...

Шурке скоро надоело бегать, и он присел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему.

Они почти целый день пробыли на дворе,— только ходили завтракать и обедать в дом, и в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет кур, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно пришел в восторженное удивление и проникся каким-то благоговейным уважением к такому богатству сведений своего пестуна и только удивлялся, откуда это Чижик все знает.

Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе, и он впервые обратил внимание на все, что на нем было и что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чижика, который, рассказывая про животных или про травку, казалось, сам был и животным и травой,— до того он, так сказать, весь проникался их жизнью...

Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее... Та с громким гоготом отскочила в сторону...

— Неправильно это, Лександра Васильич! — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря нависшие свои брови.— Не-хо-рошо, братец ты мой! — протянул он с ласковым укором в голосе.

Шурка вспыхнул и не знал, обидеться ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса, с искусственно беззаботным видом стал ссыпать ногой землю в канавку.

— За что безответную утицу обидели!.. Вон она, бедная, хромлет и думает: «За что меня мальчик зря зашиб?..» И она пошла к своему селезню жаловаться.

Шурке было неловко — он понимал, что поступил нехорошо,— и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться.

И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться пред другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил:

— Какую ты дичь несешь, Чижик! Разве утки могут думать и еще жаловаться?

— А вы полагаете как?.. Небось всякая тварь понимает и свою думу думает... И промеж себя разговаривает по-своему... Гляди-кось, как воробушек-то зачуликал? — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада.— Ты думаешь он спроста, шельмец: «чилик да чилик!» Вовсе нет! Он, братец ты мой, отыскал корму да и сзывает товарищей. «Летите, мол, братцы, кантовать вместе! Вали-валом, ребята!» Тоже — воробей, а небось понимает, что одному есть харч не годится... Я, мол, ем, и ты ешь, а не то что потихоньку от других...

Шурка присел рядом на бочонке, видимо заинтересованный.

А матрос продолжал:

— Вот хоть бы взять собаку... Лайку эту самую... Нешто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства?.. Тоже нашел над кем куражиться! Над собакой, лодырь бесстыжий! — с сердцем говорил Федос...— Небось теперь эта самая Лайка к кухне не подойдет... И подальше от кухни-то... Знает, как там ее встретят... К нам вот не боится!

И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко не казистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил:

— Что, брат, попало от дурака-то?.. Покажи-ка спину!..

Лайка лизнула руку матроса.

Матрос осторожно осмотрел ее спину.

— Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили... Ты больше от досады, значит, визжала... Не бойся... Уж теперь я тебя в обиду не дам...

Собака опять лизнула руку и весело замахала хвостом.

— Вон и она чувствует ласку... Смотрите, барчук... Да что собака... Всякая насекомая и та понимает, да сказать только не может... Травка и та словно пискнет, как ты ее придавишь...

Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспоминание об утке смущало его, и он беспокойно проговорил:

— А не пойдем ли, Чижик, посмотреть утку?.. Не сломана ли у нее нога?

— Нет, видно, ничего... Вон она переваливается... Небось без фершела поправилась? — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: — Она, братец ты мой, уж не сердится... Простила... А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят...

Шурка уже был влюблен в Федоса.

И нередко потом, в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком.

В девятом часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку. Но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил:

— А я не буду обижать уток... Прощай, Чижик!.. Я тебя люблю!

В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней.

Снявши с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубахе, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками и этикетками с помадных банок,— тогда олеографий и иллюстрированных изданий еще не было,— и первым делом достал из сундучка маленький потемневший образок Николая-чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, постлал его простыней и накрыл ситцевым одеялом.

Когда все было готово, он удовлетворенно оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку.

В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар. Он заглянул в комнатку и спросил:

— А ужинать разве не будете, Федос Никитич?

— Нет, не хочу...

— И Анютка не хочет... Видно, придется одному ужинать... А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится! — проговорил, как-то плутовато подмигивая глазом, Иван.

— Спасибо на чае... Не стану...

— Что ж, как угодно! — как будто обижаясь, сказал Иван, уходя.

Не нравился ему новый сожитель, очень не нравился. В свою очередь и Иван не пришелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще «вестовщину» и денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютке, и Федос сидел молча и только сурово хмурил брови. Иван тот-

час же понял, отчего «матрозня» сердится, и примолк, стараясь поразить его своим «высшим обращением» и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня и барин.

Но Федос отмалчивался и решил про себя, что Иван совсем «пустой человек». А за Лайку назвал его таки прямо «бессовестным» и прибавил:

— Тебя бы так ошпарить. А еще считаешься матросом!

Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более что его осрамили при Анютке, которая, видимо, сочувствовала словам Федоса.

— Однако и спать ложиться! — проговорил вслух Федос, докурив трубку.

Он встал, торжественно-громко произнес «Отче наш» и, перекрестившись, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой пятнадцатилетней службе и о новом своем положении.

«Мальчонка добрый, а как с этими уживусь,— с белобрысой да с лодырем?» — задавал он себе вопрос. В конце концов он решил, что как бог даст, и, наконец, заснул, вполне успокоенный этим решением.

VII

Федос Чижик, как и большая часть матросов того времени, когда крепостное право еще доживало свои последние годы и во флоте, как и везде, царила беспощадная суровость и даже жестокость в обращении с простыми людьми,— был, разумеется, большим философом-фаталистом.

Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охранении своего тела от побоев и линьков, а лица от серьезных повреждений,— за легкими он не гнался и считал их относительным благополучием,— Федос основывал не на одном только добросовестном исполнении своего трудного матросского дела и на хорошем поведении согласно предъявляемым требованиям, а главнейшим образом на том, «как бог даст».

Эта не лишенная некоторой трогательности и присущая лишь русским простолюдинам исключительная надежда на одного только господа бога разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы и служила едва ли не единственной поддержкой, чтобы, как выражался Чижик, «не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рот».

И благодаря такой надежде он оставался все тем же исправным матросом и стóиком, отводящим свою возмущенную людской неправдой душу лишь крепкою бранью и тогда, когда даже воистину христианское терпение русского матроса подвергалось жестокому испытанию.

С тех пор как Федос Чижик, оторванный от сохи, был сдан благодаря капризу старухи-помещицы в рекруты и, никогда не видавший моря, попал, единственно из-за своего малого роста, во флот,— жизнь Федоса представляла собою довольно пеструю картину переходов от благополучия к неблагополучию, от неблагополучия к той, едва даже понятной теперь, невыносимой жизни, которую матросы характерно называли «каторгой», и обратно — от «каторги» к благополучию.

Если «давал бог», командир, старший офицер и вахтенные начальники попадались по тем суровым временам не особенно бешеные и дрались и пороли, как выражался Федос, «не зря и с рассудком», то и Федос, как один из лучших марсовых, чувствовал себя спокойным и довольным, не боялся сюрпризов в виде линьков, и природное его добродушие и некоторый юмор делали его одним из самых веселых рассказчиков на баке.

Если же «бог давал» командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне, «форменного арестанта», который за опоздание на несколько секунд при постановке или уборке парусов приказывал «спустить шкуры» всем марсовым, то Федос терял веселость, делался угрюм и, после того как его драли как сидорову козу, случалось, нередко загуливал на берегу. Однако все-таки находил возможным утешать падавших духом молодых матросов и с какою-то странною уверенностью для человека, спина которого сплошь покрыта синими рубцами с кровавыми подтеками, говорил:

— Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда... Заместо его не такой дьявол поступит... Отдышимся... Не все же терпеть-то!

И матросы верили,— им так хотелось верить,— что «бог даст», уберут куда-нибудь «арестанта».

И терпеть, казалось, было легче.

Федос Чижик пользовался большим авторитетом и в своей роте, и на судах, на которых плавал, как человек «правильный», вдобавок «с умом» и лихой марсовой, не раз доказавший и знание дела и отвагу. Его уважали и любили за его честность, добрый характер и скромность. Особенно расположены к нему были молодые безответные матросики. Федос таких всегда брал под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офицеров, когда они слишком куражились и зверствовали.

Достойно замечания, что в деле исправления таких боцманов Федос несколько отступал от своего фатализма, возлагая надежды не на одно только «как бог даст», но и на силу человеческого воздействия, и даже главным образом на последнее.

По крайней мере, когда увещательное слово Федоса, сказанное с глазу на глаз какому-нибудь неумеренному «мордобою»-боцману, слово, полное убедительной страстности «пожалеть лю-

дей», не производило надлежащего впечатления и боцман продолжал по-прежнему драться «безо всякого рассудка»,— Федос обыкновенно прибегал к предостережению и говорил:

— Ой, не зазнавайся, боцман, что вошь в коросте! Бог гордых не любит. Смотри, как бы тебя, братец ты мой, не проучили... Сам небось знаешь, как вашего брата проучивают!

Если и к такому предостережению боцман оставался глух, Федос покачивал раздумчиво головой и строго хмурил брови, видимо принимая какое-то решение.

Несмотря на свою доброту, он, однако, во имя долга и охранения неписаного обычного матросского права, собирал нескольких достойных доверия матросов на тайное совещание о поступках боцмана-зверя, и на этом матросском суде Линча обыкновенно постановлялось решение: «проучить боцмана», что и приводилось в исполнение при первом же съезде на берег.

Боцмана избивали где-нибудь в переулке Кронштадта или Ревеля до полусмерти и доставляли на корабль. Обыкновенно боцман того времени и не думал жаловаться на виновников, объяснял начальству, что в пьяном виде имел дело с матросами с иностранных купеческих кораблей, и после такой серьезной «выучки» уже дрался с «большим рассудком», продолжая, конечно, ругаться с прежним мастерством, за что, впрочем, никто не был в претензии.

И Федос в таких случаях нередко говорил с обычным добродушием:

— Как выучили, так и человеком стал. Боцман как боцман...

Сам Федос не желал быть «начальством» — совсем это не подходило к его характеру,— и он решительно просил не производить его в унтер-офицеры, когда один из старших офицеров, с которым он служил, хотел представить Федоса.

— Будьте милостивы, ваше благородие, ослобоните от такой должности! — взмолился Федос.

Изумленный старший офицер спросил:

— Это почему?

— Не привержен я быть унтерцером, ваше благородие. Вовсе не по мне это звание, ваше благородие... Явите божескую милость, дозвольте остаться в матросах! — докладывал Федос, не объясняя, однако, мотивов своего нежелания.

— Ну, если не хочешь, как знаешь... А я думал тебя наградить...

— Рад стараться, ваше благородие! Премного благодарен, ваше благородие, что дозволили остаться матросом...

— И оставайся, коли ты такой дурак! — проговорил старший офицер.

А Федос ушел из каюты старшего офицера радостный и довольный, что избавился от должности, в которой приходилось

«собачиться» со своим же братом-матросом и находиться в более непосредственных отношениях с господами офицерами.

«Ну их... От греха лучше подальше!»

Всего бывало в течение долгой службы Федоса. И пороли, и били его, и похваливали, и отличали. Последние три года службы его на «Кобчике», под начальством Василия Михайловича Лузгина, были самыми благополучными годами. Лузгин и старший офицер были люди добрые по тем временам, и на «Кобчике» матросам жилось относительно хорошо. Не было ежедневных порок, не было вечного трепета. Не было бессмысленной флотской муштры.

Василий Михайлович знал Федоса как отличного фор-марсового и, выбрав его загребным на свой вельбот, еще лучше познакомился с матросом, оценив его добросовестность и аккуратность.

И Федос думал, что «бог даст», он прослужит еще три года с Василием Михайловичем тихо и спокойно, как у Христа за пазухой, а там его уволят в «бессрочную» до окончания положенного двадцатипятилетнего срока службы, и он пойдет в свою дальнюю симбирскую деревушку, с которой не порывал связей и раз в год просил какого-нибудь грамотного матроса писать к своему «дражайшему родителю» письмо, обыкновенно состоящее из добрых пожеланий и поклонов всем родным.

Матрос, не вовремя отдавший внизу марса-фал, которым оторвало Федосу, бывшему на марсе, два пальца, был невольным виновником в перемене судьбы Чижика.

Матроса жестоко отодрали, а Чижика немедленно отправили в кронштадтский госпиталь, где ему вылущили оба пальца. Он выдержал операцию, даже не охнув. Только стиснул зубы, и по его побледневшему от боли лицу катились крупные капли пота. Через месяц уж он был в экипаже.

По случаю потери двух пальцев он надеялся, что «бог даст», его назначат в «неспособные» и уволят в бессрочный отпуск. По крайней мере так говорил ротный писарь и советовал через кого-нибудь «исхлопотать». Таких примеров бывало!

Но исхлопотать за Федоса было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. Как бы еще не попало за это.

Таким образом Чижик остался на службе и попал в няньки.

VIII

Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгиным.

Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своей няньки, находился вполне под его влиянием и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, которые доводилось испытать Чижику, о

матросах и об их жизни, о том, как черные люди, арапы, почти голые ходят на далеких островах за Индийским океаном, слушая про густые леса, про диковинные фрукты, про обезьян, про крокодилов и акул, про чудное высокое небо и горячее солнышко,— Шурка сам непременно хотел быть моряком, а пока старался во всем подражать Чижику, который в то время был его идеалом.

С чисто детским эгоизмом он не отпускал от себя Чижика, чтоб быть всегда вместе, забывая даже и мать, которая со времени появления Чижика как-то отошла на второй план.

Еще бы! Она не умела так занятно рассказывать, не умела делать таких славных бумажных змеев, волчков и лодок, которые делал Чижик. И ко всему этому он с Чижиком не чувствовал над собою придирчивой няньки. Они были больше приятелями и, казалось, жили одними интересами и часто, не сговариваясь, выражали одни и те же мнения.

Эта близость с денщиком-матросом несколько пугала Марью Ивановну, а некоторая отчужденность от матери, которую она, конечно, заметила, даже заставила ее ревновать Шурку к няньке. Кроме того, Марье Ивановне, как бывшей институтке и строгой ревнительнице манер, казалось, будто Шурка при Чижике немного огрубел и манеры его стали угловатее.

Тем не менее Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как бывало прежде, и она совершенно спокойно уходила из дома, зная, что может вполне положиться на Чижика.

Но, несмотря на такое признание заслуг Чижика, он все-таки был несимпатичен молодой женщине. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерною холодностью и почти нескрываемым презрением барыни к мужлану-матросу. Главное, что возмущало ее в денщике — это недостаток в нем той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге и которою особенно отличался ее любимец Иван. А в Федосе — никакой приветливости. Всегда несколько хмурый при ней, с служебным лаконизмом подчиненного отвечающий на ее вопросы, всегда отмалчивающийся на ее замечания, которые, по мнению Чижика, белобрысая делала зря,— он далеко не отвечал требованиям Марьи Ивановны, и она чувствовала, что этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получил, попав к ним в дом из казармы. Это возмущало барыню.

Чувствовал это отношение к себе белобрысой и Чижик, и сам, в свою очередь, недолюбливал ее, и главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками и нередко давая

ей пощечины,— и не то что с пыла, а прямо-таки от злого сердца, этак хладнокровно и еще с улыбочкой.

«Эка злющая ведьма!» — не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда бывал свидетелем, как белобрысая не спеша, устремив большие серые и злые глаза на замершую в страхе Анютку, хлещет своею белою, пухлою рукой в кольцах по худеньким, бледным щекам девушки.

И он жалел Анютку — быть может, даже более, чем жалел,— эту миловидную, загнанную девушку с испуганным взглядом синих глаз, и, случалось, когда барыни не было дома, ласково ей говорил:

— А ты не робей, Аннушка... Бог даст, недолго терпеть... Слышно, скоро волю всем объявят. Потерпи, а там уйдешь, куда захочешь, от своей ведьмы. Бог-то умудрил царя!

Эти участливые слова бодрили Анютку и наполняли ее сердце благодарным чувством к Чижику. Она понимала, что он ее жалеет, и видела, что только благодаря Чижику противный Иван не так нахально, как прежде, преследует ее своими любезностями. Зато Иван ненавидел Федоса со всею силою своей мелкой душонки и вдобавок ревновал его, приписывая отчасти Чижику полное невнимание Анютки к его особе, которую он считал довольно-таки привлекательною.

Ненависть эта еще более усилилась после того, как Федос однажды застал на кухне Анютку, отбивавшуюся от объятий повара.

При появлении Федоса Иван тотчас же оставил девушку и, приняв беспечно-развязный вид, проговорил:

— Шутю с дурой, а она сердится...

Федос стал мрачнее черной тучи.

Не говоря ни слова, подошел он вплотную к Ивану и, поднося к его побледневшему, испуганному лицу свой здоровенный волосатый кулак, едва сдерживаясь от негодования, произнес:

— Видишь?

Струсивший Иван зажмурил от страха глаза при столь близком соседстве такого громадного кулака.

— Тесто из подлой твоей хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец этакий!

— Я, право, ничего... Я только так... Пошутил, значит...

— Я тебе... пошутю... Нешто можно обижать так человека, бесстыжий ты кобель?

И, обращаясь к Анютке, благодарной и взволнованной, продолжал:

— Ты мне, Аннушка, только скажи, если он пристанет... Рыжая его морда будет на стороне... Это верно!

С этими словами он вышел из кухни.

В тот же вечер Анютка шепнула Федосу:

— Ну, теперь этот подлый человек будет еще больше наушничать на вас барыне... Уж он наушничал... Я слышала из-за дверей третьего дня... говорит: вы, мол, всю кухню провоняли махоркой...

— Пусть себе кляузничает! — презрительно бросил Федос...— Мне и трубки, что ли, не покурить? — прибавил он, усмехаясь.

— Барыня страсть не любит простого табаку...

— А пусть себе не любит! Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении... Тоже матросу без трубки нельзя...

После этого происшествия Иван во что бы то ни стало хотел сжить ненавистного ему Федоса и, понимая, что барыня недолюбливает Чижика, стал при всяком удобном случае нашептывать барыне на Федоса.

Он, дескать, и с маленьким барином совсем вольно обращается, не так, как слуга, он и барыниной доброты не чувствует, он и с Анюткой что-то шепчется часто... Стыдно даже.

Все это говорилось намеками, предположениями, сопровождаемое уверениями в своей преданности барыне.

Молодая женщина все это слушала и стала с Чижиком еще суровее и придирчивее. Она зорко наблюдала за ним и за Анюткой, часто входила невзначай будто в детскую, выспрашивала у Шурки, о чем с ним говорит Чижик, но никаких сколько-нибудь серьезных улик преступности Федоса найти не могла, и это еще более злило молодую женщину, тем более, что Федос, как будто и не замечая, что барыня на него гневается, нисколько не изменял своих служебно-официальных отношений.

«Бог даст, белобрысая уходится?» — думал Федос, когда невольная тревога подчас закрадывалась в его сердце при виде ее недовольного, строгого лица.

Но белобрысая не переставала придираться к Чижику, и вскоре над ним разразилась гроза.

IX

В одну субботу, когда Федос, только что вернувшийся из бани, пошел укладывать мальчика, Шурка, всегда делившийся впечатлениями со своим любимцем-пестуном и сообщавший ему все домашние новости, тотчас же промолвил:

— Знаешь, что я тебе скажу, Чижик...

— Скажи, так узнаю,— проговорил, усмехнувшись, Федос.

— Мы завтра едем в Петербург... к бабушке. Ты не знаешь бабушки?

— То-то не знаю.

— Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чижик... Она — папина мать... С первым пароходом едем...

— Что же, дело хорошее, братец ты мой. И добрую бабку свою повидаешь, и на «праходе» прокатишься... Вроде быдто на море побываешь...

Наедине Федос почти всегда говорил Шурке «ты». И это очень нравилось мальчику и вполне соответствовало их дружеским отношениям и взаимной привязанности. Но в присутствии Марьи Ивановны Чижик не позволял себе такой фамильярности: и Федос и Шурка понимали, что при матери нельзя было показывать интимной их короткости.

«Небось прицепится,— рассуждал Федос,— дескать, барское дите, а матрос его тыкает. Известно, «фанаберистая» барыня!»

— Ты, Чижик, разбуди меня пораньше. И новую курточку приготовь, и новые сапоги...

— Все изготовлю, будь спокоен... Сапоги отполирую в лучшем виде... Одно слово, в полном парате тебя отпущу... Таким будешь молодцом, что наше вам почтение! — весело и любовно говорил Чижик, раздевая Шурку.— Ну, теперь помолись-ка богу, Лександра Васильич.

Шурка прочитал молитву и юркнул под одеяло.

— А будить тебя рано не стану,— продолжал Чижик, присаживаясь около Шуркиной кровати,— в половине восьмого побужу, а то, не выспамшись, нехорошо...

— И маленькая Адя едет, и Анютка едет, а тебя, Чижик, мама не берет. Уж я просил маму, чтобы и тебя взяли с нами, так не хочет...

— Зачем меня брать-то? Лишний расход.

— С тобою было бы веселее.

— Небось и без меня не заскучишь... День-то не беда тебе без Чижика побыть... А я и сам попрошусь со двора. Тоже и мне в охотку погулять... Ты как полагаешь?

— Иди, иди, Чижик!.. Мама, верно, пустит...

— То-то надо бы пустить... Во весь месяц ни разу не ходил со двора...

— А ты куда же пойдешь, Чижик?

— Куда пойду? А сперва в церкву пойду, а потом к кумеболманше заверну... Ейный муж мне старинный приятель... Вместе в дальнюю ходили... У них посижу... Покалякаем... А потом на пристань схожу, матросиков погляжу... Вот и гулянка... Однако спи, Христос с тобой!

— Прощай, Чижик! А я тебе гостинца от бабушки привезу... Она всегда дает...

— Кушай сам на здоровье, голубок!.. А коли не пожалеешь, лучше Анютке дай... Ей лестнее.

— И ей дам... и тебе! — сонным голосом пролепетал Шурка.

Шурка всегда угощал своего пестуна лакомствами; нередко нашивал ему и куски сахара. Но от них Чижик отказывался и просил Шурку не брать «господского припаса», чтобы не вышло какой кляузы.

И теперь, тронутый вниманием мальчика, он проговорил с нежностью, на какую только был способен его грубоватый голос:

— Спасибо тебе за ласку, милый... Спасибо... Сердчишко у тебя, у мальца, доброе... И рассудлив по своему глупому возрасту... и прост... Бог даст, как вырастешь, и вовсе будешь форменным человеком... правильным... Никого не забидишь... И бог за то тебя любить будет... Так-то, брат, лучше... Никак, уж и уснул?

Ответа не было. Шурка уже спал.

Чижик перекрестил мальчика и тихо вышел из комнаты.

На душе у него было светло и покойно, как и у этого ребенка, к которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всею силою своего любящего сердца.

X

На следующее утро, когда Лузгина, в нарядном шелковом голубом платье, с взбитыми начесами светло-русых волос, свежая, румяная, пышная и благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход, Федос приблизился к ней и сказал:

— Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня.

Молодая женщина подняла на матроса глаза и недовольно спросила:

— А тебе зачем идти со двора?

В первое мгновение Федос не знал, что и отвечать на такой «вовсе глупый», по его мнению, вопрос.

— К знакомым, значит, сходить,— отвечал он после паузы.

— А какие у тебя знакомые?

— Известно, матросского звания...

— Можешь идти,— проговорила после минутного раздумья барыня...— Только помни, что я тебе говорила... Не вернись от своих знакомых пьяным! — строго прибавила она.

— Зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня!

— Без своих дурацких объяснений! К семи часам быть дома! — резко заметила молодая женщина.

— Слушаю-с, барыня! — с официальной почтительностью ответил Федос.

Шурка удивленно посмотрел на мать. Он решительно недоумевал, за что мама сердится и вообще не любит такого прелестного человека, как Чижик, и, напротив, никогда не бранит

противного Ивана. Иван и Шурке не нравился, несмотря на его льстивое и заискивающее обращение с молодым барчуком.

Проводив господ и обменявшись с Шуркой прощальными приветствиями, Федос достал из глубины своего сундучка тряпицу, в которой хранился его капитал — несколько рублей, скопленных им за шитье сапог. Чижик недурно шил сапоги и умел даже шить с фасоном, вследствие чего, случалось, получал заказы от писарей, подшкиперов и баталеров.

Осмотрев свои капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал ее в карман штанов, рассчитывая из этих денег купить себе восьмушку чая, фунт сахара и запас махорки, а остальные деньги, бережно уложив в тряпочку, снова запрятал в угол сундука и запер сундук на ключ.

Поправив огонек в лампадке перед образком у изголовья, Федос расчесал свои черные как смоль баки и усы, обулся в новые сапоги и, облачившись в форменную матросскую серую шинель с ярко горевшими медными пуговицами и надевши чуть-чуть набок фуражку, веселый и довольный вышел из кухни.

— Обедать нешто дома не будете?—кинул ему вдогонку Иван.

— То-то не буду!..

«Экая необразованная матрозня! как есть «чучила»,— мысленно напутствовал Федоса Иван.

И сам он, франтовато одетый в серый пиджак, в белой манишке, воротник которой был повязан необыкновенно ярким галстуком, с бронзовой цепочкой на жилете, глядя в окно на проходившего Чижика, презрительно оттопырил толстые свои губы, покачал кудластой головой с рыжими волосами, обильно умащенными коровьим маслом, и в маленьких его глазках сверкнул огонек.

XI

Федос первым делом направился в Андреевский собор и как раз попал к началу службы.

Купив копеечную свечку и пробравшись вперед, он поставил свечку у образа Николы-угодника и, вернувшись, стал совсем позади, в толпе бедного люда. Всю обедню он выстоял серьезный и сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знамением. При чтении евангелия он умилился, хотя и не все понимал, что читали. Умилялся и при стройном пении певчих и вообще находился в приподнятом настроении человека, отрешившегося от всяких житейских дрязг.

И, слушая пение, слушая слова любви и милосердия, произносимые мягким тенорком священника, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там, «на том свете», будет

необыкновенно хорошо и ему и всем матросам, куда лучше, чем было на грешной земле...

Нравственно удовлетворенный и как бы внутренне сияющий, вышел Федос по окончании службы из церкви и на паперти, где толпились по обе ее стороны и по бокам ступеней нищие, оделил по грошику десять человек, подавая преимущественно мужчинам и старикам.

Все еще занятый разными, как он называл, «божественными» мыслями насчет того, что господь все видит и если попускает на свете неправду, то более всего для испытания человека, готовя потерпевшему на земле самую лучшую будущую жизнь, которой, разумеется, не видать, как ушей своих, форменным «арестантам» из капитанов и офицеров,— Чижик ходко шагал в один из дальних переулков, где в маленьком деревянном домишке нанимал комнату отставной боцман Флегонт Нилыч и его жена Авдотья Петровна, имевшая на рынке ларек со всякою мелочью.

Низенький и худощавый старик Нилыч, бодрый еще на вид, несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, сидел за накрытым цветною скатертью столом в чистой ситцевой рубахе, широких штанах и в башмаках, одетых на босые ноги, и слегка вздрагивающею костлявою рукою с предусмотрительной осторожностью наливал из полуштофа в стаканчик водку.

И в выражении его морщинистого, отливавшего старческим румянцем лица, с крючковатым носом и большой бородавкой на выбритой, по случаю воскресенья, щеке, и маленьких, все еще живых глаз было столько сосредоточенного благоговейного внимания, что Нилыч и не заметил, как в двери вошел Федос.

И Федос, словно бы понимая всю важность этого священнодействия, дал знать о своем присутствии только тогда, когда стаканчик был налит до краев и Нилыч его выцедил с видимым наслаждением.

— Флегонту Нилычу — нижайшее! С праздником!

— А, Федос Никитич? — весело воскликнул Нилыч, как звали его все знакомые, пожимая Федосу руку.— Садись, братец, сейчас шти Авдотья Петровна принесет...

И, наливая вновь стаканчик, поднес его Федосу.

— Я, брат, уж колупнул.

— Будь здоров, Нилыч! — проговорил Чижик и, медленно выпив рюмку, крякнул.

— И где это ты пропадал?.. Уж я в казармы хотел идти... Думаю: совсем забыл нас... А еще кум...

— В денщики попал, Нилыч...

— В денщики?.. К кому?..

— К Лузгину, капитану второго ранга... Может, слыхал?

— Слыхал... Ничего себе... Ну-кось!.. вторительно?..

И Нилыч снова налил стаканчик.

— Будь зоров, Нилыч!..

— Будь здоров, Федос! — проговорил Нилыч, выпивая в свою очередь.

— С им-то ничего жить, только женка его, я тебе скажу...

— Зудливая нешто?

— Как есть заноза, и злющая. Ну, и о себе много полагает... Думает, что белая да ядреная, так уж лучше и нет...

— Ты у них по какой же части?

— В няньках при барчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка... Кабы не заноза эта самая, легко было бы жить... А она всем в доме командует...

— А сам?

— То-то он у ей вроде быдто подвахтенного. Перед ей и не пикнет, а, кажется, с рассудком человек... Совсем в покорности.

— Это бывает, братец ты мой! Бы-вает! — протянул Нилыч.

Сам он, когда-то лихой боцман и «человек с рассудком», тоже находился под командой своей жены, хотя при посторонних и хорохорился, стараясь показать, что он ее нисколько не боится.

— Дайся только бабе в руки, она тебе покажет кузькину маменьку. Известно, в бабе настоящего рассудка нет, а только одна брехня,— продолжал Нилыч, понижая голос и в то же время опасливо посматривая на двери.— Бабу надо держать в струне, чтобы понимала начальство. Да что это моя-то копается? Рази пойти ее шугануть!..

Но в эту минуту отворились двери и в комнату вошла Авдотья Петровна, здоровая, толстая и высокая женщина лет пятидесяти с очень энергичным лицом, сохранившим еще остатки былой пригожести. Достаточно было взглянуть на эту внушительную особу, чтобы оставить всякую мысль о том, что низенький и сухенький Нилыч, казавшийся перед женой совсем маленьким, мог ее «шугануть». В засученных красных ее руках был завернутый в тряпки горшок со щами. Сама она так и пылала.

— А я думала, с кем это Нилыч стрекочет... А это Федос Никитич!.. Здравствуйте, Федос Никитич... И то забыли! — говорила густым, низким голосом боцманша.

И, поставивши горшок на стол, протянула куму руку и бросила Нилычу:

— Поднес гостю-то?

— А то как же? Небось тебя не дожидались!

Авдотья Петровна повела взглядом на Нилыча, точно дивясь его прыти, и разлила по тарелкам щи, от которых шел пар и вкусно пахло. Затем достала из шкапчика с посудой еще два стаканчика и наполнила все три.

— Что правильно, то правильно! Петровна, братец ты мой, рассудливая женщина! — заметил Нилыч не без льстивой нотки, умильно глядя на водку.

— Милости просим, Федос Никитич,— предложила боцманша.

Чижик не отказался.

— Будьте здоровы, Авдотья Петровна! Будь здоров, Нилыч!

— Будьте здоровы, Федос Никитич.

— Будь здоров, Федос!

Все трое выпили, у всех были серьезные и несколько торжественные лица. Перекрестившись, начали хлебать в молчании щи. Только по временам раздавался низкий голос Авдотьи Петровны:

— Милости просим!

После щей полуштоф был пуст.

Боцманша пошла за жареным и, возвратившись, вместе с куском мяса поставила на стол еще полуштоф.

Нилыч, видимо подавленный таким благородством жены, воскликнул:

— Да, Федос... Петровна, одно слово...

В конце обеда разговор сделался оживленнее. Нилыч уже заплетал языком и размяк. Чижик и боцманша, оба красные, были клюкнувши, но нисколько не теряли своего достоинства.

Федос рассказывал о белобрысой, о том, как она утесняет Анютку и какой у них подлый денщик Иван, и философствовал насчет того, что бог все видит и наверное быть Лузгинихе в аду, коли она не одумается и не вспомнит бога.

— Как вы полагаете, Авдотья Петровна?

— Другого места ей не будет, сволочи! — энергично отрезала боцманша.— Мне знакомая прачка тоже сказывала, какая она уксусная сука.

— Небось там, в пекле значит, ее отполируют в лучшем виде... От-по-ли-ру-ют! Сделай одолжение! Не хуже, чем на флоте! — вставил Нилыч, имевший, по-видимому, об аде представление как о месте, где будут так же отчаянно пороть, как и на кораблях.— А повару раскровяни морду. Не станет он тогда кляузничать.

— И раскровяню, ежели нужно будет... Совсем оголтелый пес. Добром не выучишь! — проговорил Чижик и вспомнил об Анютке.

Петровна стала жаловаться на дела. Совсем нынче подлые торговки стали, особенно из молодых. Так и норовят из-под носа отбить покупателя.

— А мужчинское известное дело. Матрос да солдат к молодым торговкам лезет, как окунь на червя... Купит на две копейки, а сам, бесстыдник, норовит уколупнуть бабу на рубь... А другая подлющая баба и рада... Так зенками и вертит...

И, словно припомнив какую-то неприятность, Петровна приняла несколько воинственный вид, подперев бок своею здоровенною рукой, и воскликнула:

— А я терплю-терплю, а глаза черномазой Глашке выцарапаю! Знаете Глашку-то?..— обратилась боцманша к Чижику.— Вашего экипажа матроска... Марсового Ковшикова жена?..

— Знаю... За что же вы, Авдотья Петровна, хотите Глашку проучить?

— А за то самое, что она подлая! Вот за что... У меня покупателев неправильно отбивает... Вчера подошел ко мне антиллерист... Человек уже в возрасте в таком, что старому дьяволу нечего разбирать бабьи подлости... Ему на том свете уж и паек готов... Ну, подошел к ларьку — так по правилам, значит, уже мой покупатель, и всякая честная торговка должна перестать драть глотку на зазыв... А Глашка заместо того, мерзавка, грудь пятит, чтобы ульстить антиллериста, и голосом воет: «Ко мне, кавалер!.. Ко мне, солдатик бравый!.. Я дешевле продам!» И зубы скалит, толсторожая... И что бы вы думали?.. Старый-то облезлый пес облестился, что его, дурака, молодая баба назвала бравым солдатиком, и к ней... У нее и купил. Ну, и отчесала же я их обоих: и антиллериста и Глашку!.. Да разве эту подлюгу словом проймешь!

Федос и в особенности Нилыч хорошо знали, что Петровна в минуты возбуждения ругалась не хуже любого боцмана и могла, казалось, пронять всякого. Недаром все на рынке — и торговки и покупатели — боялись ее языка.

Однако мужчины из деликатности промолчали.

— Беспременно выцарапаю ей глаза, ежели еще раз Глашка осмелится! — повторила Петровна.

— Небось не посмеет!.. С такой, можно сказать, умственной бабой не посмеет! — проговорил Нилыч.

И, несмотря на то, что уже был достаточно «зарифившись» и еле плел языком, обнаружил, однако, дипломатическую хитрость, начав выхваливать добродетели своей супруги... Она, дескать, и большого ума, и хозяйственна, и мужа своего кормит... Одним словом, такой другой женщины не сыскать по всему Кронштадту. После чего намекнул, что если бы теперь по стаканчику пива, то было бы самое лучшее дело... Только по стаканчику...

— Как ты об этом полагаешь, Петровна? — просительным тоном проговорил Нилыч.

— Ишь ведь, старый хрыч... к чему подъезжает!.. И без того ослаб... А еще пива ему дай... То-то лестные слова молол, лукавый.

Однако Петровна говорила эти речи без сердца и, как видно, сама находила, что пиво вещь недурная, потому что вскоре надела на голову платок и вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась, и несколько бутылок пива красовались на столе.

— И провористая же баба Петровна, я тебе скажу, Федос... Ах, что за баба! — повторил в пьяном умилении Нилыч после двух стаканов пива.

— Ишь, разлимонило уже! — не без снисходительного презрения промолвила Петровна.

— Меня разлимонило? Старого боцмана?.. Неси еще пару бутылок... Я один выпью... А пока вали, милая супруга, еще стаканчик...

— Будет с тебя...

— Петровна! Уважь супруга...

— Не дам! — резко ответила Петровна.

Нилыч принял обиженный вид.

Был уже пятый час, когда Федос, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, вышел на улицу. В голове у него шумело, но ступал он твердо и с особенною аффектацией, становился во фронт и отдавал честь при встрече с офицерами. И находился в самом добродушном настроении и всех почему-то жалел. И Анютку жалел, и встретившуюся ему на дороге маленькую девочку пожалел, и проходивших офицеров жалел. Идут, мол, а того не понимают, что они несчастные... Бога-то забыли, а он, батюшка, все видит...

Сделав необходимые покупки, Федос пошел на Петровскую пристань, встретил там среди гребцов на дожидающих офицеров шлюпках знакомых, поговорил с ними, узнал, что «Кобчик» находится теперь в Ревеле, и в седьмом часу вечера направился домой.

Лайка встретила Чижика радостным бреханьем.

— Здравствуй, Лаечка... Здорово, брат! — ласково приветствовал он собаку и стал ее гладить...— Что, кормили тебя?.. Небось, забыли, а? Погоди... принесу тебе... Чай, в кухне что найдется...

Иван сидел на кухне у окна и играл на гармонии.

При виде Федоса, выпившего, он с довольным видом усмехнулся и проговорил:

— Хорошо погуляли?

— Ничего себе погулял...

И, пожалев, что Иван сидит дома один, прибавил:

— Иди и ты погуляй, пока господа не вернутся, а я буду дом сторожить...

— Куда уж теперь гулять... Семь часов! Скоро и господа вернутся...

— Твое дело, а ты мне дай косточек, если есть...

— Бери... Вон лежат...

Чижик взял кости, отнес их собаке и, вернувшись, присел на кухне и неожиданно проговорил:

— А ты, братец мой, лучше живи по-хорошему... Право...

И не напущай ты на себя форцу... Все помрем, а на том свете форцу, любезный ты мой, не спросят...

— Это вы в каких, например, смыслах?

— А во всяких... И к Анютке не приставай... Силком девку не привадишь, а она сам видишь, от тебя бегает... За другой лучше гоняйся... Грешно забиждать девку-то... И так она забижена! — продолжал Чижик ласковым тоном.— И всем нам без свары жить можно... Я тебе без всякого сердца говорю...

— Уж не вам ли Анютка приглянулась, что вы так заступаетесь? — насмешливо проговорил повар.

— Глупый!.. Я в отцы ей гожусь, а не то чтобы какие подлости думать...

Однако Чижик не продолжал разговора в этом направлении и несколько смутился.

А Иван между тем говорил вкрадчивым тенорком:

— Я, Федос Никитич, и сам ничего лучшего не желаю, как жить, значит, в полном с вами согласии. Вы сами мною пренебрегаете...

— А ты форц-то свой брось... Вспомни, что ты матросского звания человек, и никто тобой пренебрегать не будет... Так-то, брат... А то, в денщиках околачиваясь, ты и вовсе совесть забыл... Барыне кляузничаешь... Разве это хорошо?.. Ой, нехорошо это!.. Неправильно...

В эту минуту раздался звонок. Иван бросился отворять двери.

Пошел и Федос встречать Шурку.

Марья Ивановна пристально оглядела Федоса и произнесла:

— Ты пьян!..

Шурка, хотевший было подбежать к Чижику, был резко отдернут за руку.

— Не подходи к нему... Он пьян!

— Никак нет, барыня... Я вовсе не пьян... Почему вы полагаете, что я пьян?.. Я, как следует, в своем виде и все могу справлять... И Лександру Васильича уложу спать и сказку расскажу... А что выпил я маленько... это точно... У боцмана Нилыча... В самую плепорцию... по совести...

— Ступай вон! — крикнула Марья Ивановна.— Завтра я с тобой поговорю.

— Мама... мама... Пусть меня Чижик уложит!

— Я сама тебя уложу! А пьяный не может укладывать.

Шурка залился слезами.

— Молчи, гадкий мальчишка! — крикнула на него мать...— А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас же на кухню и ложись спать.

— Эх, барыня, барыня! — проговорил с выражением не то упрека, не то сожаления Чижик и вышел из комнаты.

Шурка не переставал реветь. Иван торжествующе улыбался.

XII

На следующее утро Чижик, вставший, по обыкновению, в шесть часов, находился в мрачном настроении. Обещание Лузгиной «поговорить» с ним сегодня, по соображениям Федоса, не предвещало ничего хорошего. Он давно видел, что барыня терпеть его не может, зря придираясь к нему, и с тревогой в сердце догадывался, какой это будет «разговор». Догадывался и становился мрачнее, сознавая в то же время полную свою беспомощность и зависимость от белобрысой, которая почему-то стала его начальством и может сделать с ним все, что ей угодно.

«Главная причина — зла на меня, и нет в ей ума, чтобы понять человека!»

Так размышлял о Лузгиной старый матрос и в эту минуту не утешался сознанием, что она будет на том свете в аду, а мысленно довольно-таки энергично выругал самого Лузгина за то, что он дает волю такой «злющей ведьме», как эта белобрысая. Ему бы, по-настоящему, следовало усмирить ее, а он...

Федос вышел на двор, присел на крыльце и, порядочно-таки взволнованный, курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный им для себя самовар.

На дворе уже началась жизнь. Петух то и дело вскрикивал как сумасшедший, приветствуя радостное, погожее утро. В зазеленевшем саду чирикали воробьи и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычкой.

Но сегодня Федос не с обычным радостным чувством глядел на все окружающее. И когда Лайка, только что проснувшаяся, поднялась на ноги и, потянувшись всем своим телом, подбежала, весело повиливая хвостом, к Чижику, он поздоровался с ней, погладил ее и, словно бы отвечая на занимавшие его мысли, проговорил, обращаясь к ласкавшейся собаке:

— Тоже, брат, и наша жизнь вроде твоей собачьей... Какой попадется хозяин...

Вернувшись на кухню, Федос презрительно повел глазами на только что вставшего Ивана и, не желая обнаруживать перед ним своего тревожного состояния, принял спокойно-суровый вид. Он видел вчера, как злорадствовал Иван в то время, когда кричала барыня, и, не обращая на него никакого внимания, стал пить чай.

На кухню вошла Анютка, заспанная, немытая, с румянцем на бледных щеках, имея в руках барынино платье и ботинки. Она поздоровалась с Федосом как-то особенно ласково после вчерашней истории и не кивнула даже в ответ на любезное приветствие повара с добрым утром.

Чижик предложил Анютке попить чайку и дал ей кусок сахара. Она наскоро выпила две чашки и, поблагодарив, поднялась.

— Пей еще... Сахар есть,— сказал Федос.

— Благодарствуйте, Федос Никитич. Надо барынино платье чистить поскорей. И неравно ребенок проснется...

— Давай я, что ли, почищу, а ты пока угощайся чаем! — предложил Иван.

— Тебя не просят! — резко оборвала повара Анютка и вышла из кухни.

— Ишь какая сердитая, скажите пожалуйста! — кинул ей вслед Иван.

И, покрасневший от досады, взглянул исподлобья на Чижика и, усмехнувшись, подумал: «Ужо будет тебе сегодня, матрозне!»

Ровно в восемь часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами:

— А ты не бойся, Чижик... Тебе ничего не будет!..

Он хотел утешить себя и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижику ничего не будет.

— Бойся — не бойся, а что бог даст! — отвечал, подавляя вздох, Федос.— С какой еще ноги маменька встанет! — угрюмо прибавил он.

— Как с какой ноги?

— А так говорится. В каком, значит, характере будет... А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был... Пьяные не такие бывают. Ежели человек может как следует сполнять свое дело, какой же он пьяный?..

Шурка вполне с этим согласился и сказал:

— И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик... Антон не такой бывал... Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался...

— То-то и есть... Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде... Я, брат, знаю меру... И папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию... Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять... И никому вреды от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?

— Я буду маму просить, чтоб она на тебя не сердилась... Поверь, Чижик...

— Верю, хороший мой, верю... Ты-то добер... Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою уберу,— сказал Чижик, когда Шурка был готов.

Но Шурка, прежде чем идти, сунул Чижику яблоко и конфетку и проговорил:

— Это тебе, Чижик. Я и Анютке оставил.

— Ну, спасибо. Только я лучше спрячу... После сам скушаешь на здоровье.

— Нет, нет... Непременно съешь... Яблоко пресладкое. А я по-

прошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик... Попрошу! — снова повторил Шурка.

И с этими словами, озабоченный и встревоженный, вышел из детской.

— Ишь ведь — дите, а чует, какова маменька! — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.

XIII

Не прошло и пяти минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:

— Федос Никитич! Вас барыня зовет!

— А ты чего плачешь?

— Сейчас меня била и грозит высечь...

— Ишь ведьма!.. За что?

— Верно, этот подлый человек ей чего наговорил... Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-презлющая...

— Подлый человек всегда подлого слушает.

— А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее... А то она...

— Чего мне виниться! — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.

Действительно, госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барыней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее.

Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах.

Прошло несколько секунд в томительном молчании.

Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что вчера был пьян и осмелился дерзко отвечать.

Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виновным.

И эта «бесчувственность» дерзкого «мужлана», не признающего, по-видимому, авторитета барыни, еще более злила молодую женщину, привыкшую к раболепию окружающих.

— Ты помнишь, что было вчера? — произнесла она, наконец, тихим голосом, медленно отчеканивая слова.

— Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить.

— Не был? — протянула, зло усмехнувшись, барыня.— Ты, верно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?

Федос молчал: что, мол, отвечать на глупости!

— Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила?.. Что ж ты стоишь как пень?.. Отвечай!

— Говорили.

— А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и чтобы не смел грубить? Говорил? — допрашивала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгина.

— Сказывали.

— А ты так-то слушаешь приказания?.. Я выучу тебя, как говорить с барыней... Я покажу тебе, как представляться тихоней да исподтишка заводить шашни... Я все вижу... все знаю! — прибавила Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку.

Тут Федос не вытерпел.

— Это уж вы напрасно, барыня... Как перед господом богом говорю, что никаких шашней не заводил... А ежели вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара, то как вам будет угодно... Он вам еще не то набрешет! — проговорил Чижик.

— Молчать! как ты смеешь так со мной говорить?! Анютка! Принеси мне перо, чернила и почтовой бумаги!

— Мама! — умоляющим, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка.

— Убирайся вон! — прикрикнула на него мать.

— Мама... мамочка... милая... хорошая... Если ты меня любишь... не посылай Чижика в экипаж...

И, весь потрясенный, Шурка бросился к матери и, рыдая, припал к ее руке.

Федос почувствовал, что у него щекочет в горле. И хмурое лицо его просветлело в благодарном умилении!

— Пошел вон!.. Не твое дело!

И с этими словами она оттолкнула мальчика... Пораженный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал.

Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила «не отказать ей в маленьком одолжении» — приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ораниенбаум на музыку и надеется, что Михаил Александрович не откажется ей сопутствовать.

Запечатав конверт, она отдала его Чижику и сказала:

— Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту!

— Слушаю-с! — дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его.

Шурка рванулся к матери.

— Мамочка... ты этого не сделаешь... Чижик!.. Постой... не уходи! Он чудный... славный... Мамочка!.. милая... родная... Не посылай его! — молил Шурка.

— Ступай! — крикнула Лузгина денщику.— Я знаю, что ты подучил глупого мальчика... Думал меня разжалобить?..

— Не я учил, а бог! Вспомните его когда-нибудь, барыня! — с какою-то суровою торжественностью проговорил Федос и, кинув взгляд, полный любви, на Шурку, вышел из комнаты.

— Ты, значит, гадкая... злая... Я тебя не люблю! — вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такой несправедливостью.— И я никогда не буду любить тебя! — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками.

— Вот ты какой?! Вот чему научил тебя этот мерзавец?! Ты смеешь так говорить с матерью?

— Чижик не мерзавец... Он хороший, а ты... нехорошая! — в бешеной отваге отчаяния продолжал Шурка.

— Так я и тебя выучу, как говорить со мной, мерзкий мальчишка! Анютка! Скажи Ивану, чтобы принес розги...

— Что ж... секи... гадкая... злая... Секи!..— в каком-то диком ожесточении вопил Шурка.

И в то же время личико его покрывалось смертельною бледностью, все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза с выражением ужаса смотрели на двери...

Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений.

Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот барчук, не побоявшийся пострадать за своего пестуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.

— Ишь ведь, подлая! Даже родное дите не пожалела! — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слыхать этого детского крика, то жалобного, молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного, беспомощного зверька.

XIV

Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.

— Ты что это, Чижик? Пьянствовать начал?

— Никак нет, ваше благородие...

— Однако... Мария Ивановна пишет...

— Точно так, ваше благородие...

К стр. 449

— Так в чем же дело, объясни.

— Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде... в полном, значит, рассудке, ваше благородие...

— Ну?

— А госпоже Лузгиной и покажись, что я пьян... Известно, по женскому своему понятию она не рассудила, какой есть пьяный человек...

— Ну, а насчет дерзостей?.. Ты нагрубил ей?

— И грубостей не было, ваше благородие... А что насчет ейного повара-денщика я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно...

И Чижик правдиво рассказал, как было дело.

Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марией Ивановной, одно время был даже к ней неравнодушен и знал, что эта дама очень строгая и придирчивая с прислугой и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.

— А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны,— проговорил, наконец, молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.

— Слушаю, ваше благородие.

— Ты понимаешь, Чижик, я должен,— мичман подчеркнул слово «должен»,— ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные.

Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию белобрысой и молчал.

— Я тут, Чижик, ни при чем! — словно бы оправдывался мичман.

Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и беззаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что, по долгу службы и совести, не должен совершать его, имей он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром; последний был дружен с Лузгиными, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького, моряка главным образом своим пышным станом, и, не отличаясь большою гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает «всыпать».

И молодой офицер приказал дежурному приготовить все, что нужно, в цейхгаузе для наказания.

В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно-недовольными лицами стали по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу на случай, если понадобится менять розги.

Еще не совсем «закалившийся», недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стал поодаль.

Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какою-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров и этого молодого мичмана.

Оставшись в одной рубахе, Чижик перекрестился и лег ничком на скамейку, положив голову на скрещенные руки, и тотчас же зажмурил глаза.

Давно уже его не наказывали, и эта секунда-другая в ожидании удара была полна невыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения... Перед ним пронеслась вся его безотрадная жизнь.

Мичман между тем подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул:

— Полегче!

Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу.

— Начинай! — скомандовал молодой человек, отворачиваясь.

После десятка ударов, не причинивших почти никакой боли Чижику, так как эти зеленые прутья после энергичного взмаха едва только касались его тела,— мичман крикнул:

— Довольно! Явись после ко мне, Чижик!

И с этими словами вышел.

Чижик, по-прежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря на комедию наказания, торопливо оделся и проговорил:

— Спасибо, братцы, что не били... Одним только срамом отделался...

— Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?

— А за то, что глупая и злющая баба у меня теперь вроде главного начальника...

— Это кто же?

— Лузгиниха...

— Известная живодерка! Часто присылает сюда денщиков! — заметил один из унтер-офицеров.— Как же ты будешь жить-то теперь у нее?

— Как бог даст... Надо жить... Ничего не поделаешь... Да

и мальчонка ейный, у которого я в няньках, славный... И его, братцы, бросить жалко... Из-за меня и его секли... Заступался, значит, перед матерью...

— Ишь ты... Не в мать, значит.

— Вовсе не похож... Добер — страсть!

Чижик явился в канцелярию и прошел в кабинет, где сидел адъютант. Тот передал Чижику письмо и проговорил:

— Отдай Марье Ивановне... Я ей пишу, что тебя строго наказали...

— Премного благодарен, что пожалели старого матроса, ваше благородие! — с чувством проговорил Чижик.

— Я что ж... Я, братец, не зверь... Я и совсем бы не наказал тебя... Я знаю, какой ты исправный и хороший матрос! — говорил все еще смущенный мичман.— Ну, ступай к своей барыне... Дай тебе бог с ней ужиться... Да смотри... не болтай, как тебя наказывали! — прибавил мичман.

— Не извольте сумлеваться! Счастливо оставаться, ваше благородие!

XV

Шурка сидел, забившись в угол детской, с видом запуганного зверька. Он то и дело всхлипывал. При каждом новом воспоминании о нанесенной ему обиде рыдания подступали к горлу, он вздрагивал, и злое чувство приливало к сердцу и охватывало все его существо. Он в эти минуты ненавидел мать, но еще более Ивана, который явился с розгами веселый и улыбающийся и так крепко сжимал его бьющееся тело во время наказания. Не держи его этот гадкий человек так крепко, он бы убежал.

И в голове мальчика бродили мысли о том, как он отомстит повару... Непременно отомстит... И расскажет папе, как только он вернется, как несправедливо поступила мама с Чижиком... Пусть папа узнает...

По временам Шурка выходил из своего угла и взглядывал в окно: не идет ли Чижик?.. «Бедный Чижик! Верно, и его больно секли... А он не знает, что и меня высекли за него. Я ему все... все расскажу!»

Эти мысли о Чижике несколько успокаивали его, и он ждал возвращения своего друга с нетерпением.

Марья Ивановна, сама взволнованная, ходила по своей большой спальне, полная ненависти к денщику, из-за которого ее Шурка осмелился так говорить с матерью. Положительно, этот матрос имеет скверное влияние на мальчика, и его следует удалить... Вот только вернется из плавания Василий Михайлович, и она попросит его взять другого денщика. А пока — нечего делать — придется терпеть этого грубияна. Наверное, он не

посмеет теперь напиваться пьяным и грубить ей после того, как его в экипаже накажут... Необходимо было его проучить!

Марья Ивановна несколько раз тихонько заглядывала в детскую и снова возвращалась, напрасно ожидая, что Шурка придет просить прощения.

Раздраженная, она то и дело бранила Анютку и стала допрашивать ее насчет ее отношений с Чижиком.

— Говори, подлянка, всю правду... Говори...

Анютка клялась в своей невиновности.

— Повар, так тот, барыня, прохода мне не давал,— говорила Анютка,— все лез с разными подлостями, а Федос никогда и не думал, барыня...

— Отчего же ты раньше мне ничего не сказала о поваре? — подозрительно спрашивала Лузгина.

— Не смела, барыня... Думала, отстанет...

— Ну, я вас всех разберу... Ты смотри у меня!.. Поди узнай, что делает Александр Васильевич!

Анютка вошла в детскую и увидала Шурку, кивающего в окно возвращавшемуся Чижику.

— Барчук! Маменька приказали узнать, что вы делаете... Что прикажете сказать?

— Скажи, Анютка, что я пошел в сад погулять...

И с этими словами Шурка выбежал из комнаты, чтобы встретить Чижика.

XVI

У ворот Шурка бросился к Федосу.

Участливо заглядывая в его лицо, он крепко ухватился за шершавую, мозолистую руку матроса, и, глотая слезы, повторял, ласкаясь к нему:

— Чижик... Милый, хороший Чижик!

Мрачное и смущенное лицо Федоса озарилось выражением необыкновенной нежности.

— Ишь ведь, сердешный! — взволнованно прошептал он.

И, бросив взгляд на окна дома — не торчит ли белобрысая,— Федос быстрым движением поднял Шурку, прижал его к своей груди и осторожно, чтобы не уколоть его своими щетинистыми усами, поцеловал мальчика. Затем он так же быстро опустил его на землю и проговорил:

— Теперь иди домой поскорей, Лександра Васильич. Иди, мой ласковый...

— Зачем? Мы вместе пойдем.

— То-то не надо вместе. Неравно маменька из окна углядит, что ты встрел свою няньку, и опять засерчает.

— И пусть глядит... Пусть злится!

— Да ты никак бунтовать против маменьки? — промолвил Чижик.— Не годится, милый мой, Лександра Васильич, бунтовать против родной матери. Ее почитать следует... Иди, иди... Ужо наговоримся.

Шурка, всегда охотно слушавшийся Чижика, так как вполне признавал его нравственный авторитет, и теперь готов был исполнить его совет. Но ему хотелось поскорей утешить друга в постигшем его несчастии, и потому, прежде чем уйти, он не без некоторого чувства горделивости произнес:

— А знаешь, Чижик, и меня высекли!

— То-то знаю. Слышал, как ты кричал, бедненький... Из-за меня ты потерпел, голубчик!.. Бог тебе это зачтет небось! Ну иди же, иди, родной, а то нам с тобой опять попадет...

Шурка убежал, еще более привязанный к Чижику. Несправедливое наказание, которому они оба подверглись, сильнее закрепило их любовь.

Выждав минуту-другую у ворот, Федос твердою и решительною походкой направился через двор в кухню, стараясь под видом презрительной суровости скрыть перед посторонними невольный стыд высеченного человека.

Иван оглядел Чижика улыбающимися глазами, но Чижик даже и не удостоил обратить внимания на повара, точно его и не было на кухне, и прошел в свой уголок в соседней комнате.

— Барыня приказали, чтобы вы немедленно явились к ней, как вернетесь из экипажа! — крикнул ему из кухни Иван.

Чижик не отвечал.

Не спеша снял он шинель, переобулся в парусиновые башмаки, достал из сундука яблоко и конфетку, данные ему утром Шуркой, сунул их в карман и, вынув из-за обшлага шинели письмо экипажного адъютанта, пошел в комнаты.

В столовой барыни не было. Там была одна Анютка. Она ходила взад и вперед по комнате, закачивая ребенка и напевая своим приятным голоском какую-то песенку.

Заметив Федоса, Анютка подняла на него свои испуганные глаза. В них теперь светилось выражение скорби и участья.

— Вам барыню, Федос Никитич? — шепнула она, подходя к Чижику.

— Доложи, что я вернулся из экипажа,— промолвил смущенно матрос, опуская глаза.

Анютка направилась было в спальню, но в ту же минуту Лузгина вошла в столовую.

Федос молча подал ей письмо и отошел к дверям.

Лузгина прочла письмо. Видимо, удовлетворенная тем, что просьба ее была исполнена и что дерзкого денщика строго наказали, она проговорила:

— Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком и ты не осмелишься более грубить...

Чижик угрюмо молчал.

А Лузгина между тем продолжала уже более мягким тоном:

— Смотри же, Феодосий, веди себя, как следует порядочному денщику... Не пей водки, будь всегда почтителен к своей барыне... Тогда и мне не придется наказывать тебя.

Чижик не ронял ни слова.

— Понял, что я тебе говорю? — возвысила голос барыня, недовольная этим молчанием и угрюмым видом денщика.

— Понял!

— Так что ж ты молчишь?.. Надо отвечать, когда с тобой говорят!

— Слушаю-с! — автоматически отвечал Чижик.

— Ну, ступай к молодому барину... Можете идти в сад...

Чижик вышел, а молодая женщина вернулась в спальную, возмущенная бесчувственностью этого грубого матроса. Решительно Василий Михайлович не понимает людей. Расхваливал этого денщика, как какое-то сокровище, а он и пьет, и грубит, и не чувствует никакого раскаяния.

— Ах, что за грубый народ эти матросы! — произнесла вслух молодая женщина.

После завтрака она собралась в гости. Перед тем как уходить, она приказала Анютке позвать молодого барина.

Анютка побежала в сад.

В глубине густого, запущенного сада, под тенью раскидистой липы сидели рядом на траве Чижик и Шурка. Чижик мастерил бумажный змей и о чем-то тихо рассказывал. Шурка внимательно слушал.

— Пожалуйте к маменьке, барчук! — проговорила Анютка, подбегая к ним, вся раскрасневшаяся.

— Зачем? — недовольно спросил Шурка, который чувствовал себя так хорошо с Чижиком, рассказывавшим ему необыкновенно интересные вещи.

— А не знаю. Маменька собрались со двора. Должно быть, хотят с вами проститься...

Шурка неохотно поднялся.

— Что, мама сердитая? — спросил он Анютку.

— Нет, барчук... Отошли...

— А ты торопись, ежели маменька требует... Да смотри не бунтуй, Лександра Васильич, с маменькой-то. Мало ли что у матери с сыном выйдет, а все надо почитать родительницу,— ласково напутствовал Шурку Чижик, оставляя работу и закуривая трубочку.

Шурка вошел в спальню боязливо, имея обиженный вид, и смущенно остановился в нескольких шагах от матери.

В нарядном шелковом платье и белой шляпке, красивая, цветущая и благоухающая, Марья Ивановна подошла к Шурке и, ласково потрепав его по щеке, проговорила с улыбкой:

— Ну, Шурка, довольно дуться... Помиримся... Проси у мамы прощенья за то, что назвал ее гадкой и злой... Целуй руку...

Шурка поцеловал эту белую пухлую руку в кольцах, и слезы подступили к его горлу.

Действительно, он виноват: он назвал маму злой и гадкой. А Чижик недаром говорит, что грешно быть дурным сыном.

И Шурка, преувеличивая свою вину под влиянием охватившего его чувства, взволнованно и порывисто проговорил:

— Прости, мама!

Этот искренний тон, эти слезы, дрожавшие на глазах мальчика, тронули сердце матери. Она, в свою очередь, почувствовала себя виноватой за то, что так жестоко наказала своего первенца. Пред ней представилось его страдальческое личико, полное ужаса, в ее ушах слышались его жалобные крики, и жалость самки к детенышу охватила молодую женщину. Ей хотелось теперь горячо приласкать мальчика.

Но она торопилась ехать с визитами, и ей было жаль нового парадного платья, и потому она ограничилась лишь тем, что, нагнувшись, поцеловала Шурку в лоб и сказала:

— Забудем, что было. Ты ведь больше не будешь бранить маму?

— Не буду.

— И любишь по-прежнему свою маму?

— Люблю.

— И я тебя люблю, моего мальчика. Ну, до свидания! Ступай в сад...

И с этими словами Лузгина потрепала еще раз Шурку по щеке, улыбнулась ему и, шелестя шелковым платьем, вышла из спальни.

Шурка возвращался в сад не совсем удовлетворенный. Впечатлительному мальчику и слова и ласка матери казались недостаточными и не соответствующими его переполненному чувством раскаяния сердцу. Но еще более его смущало то, что с его стороны примирение было неполное. Хотя он и сказал, что любит маму по-прежнему, но чувствовал в эту минуту, что в душе его еще оставалось что-то неприязненное к матери, и не столько за себя, сколько за Чижика.

XVII

— Ну, как дела, голубок? Замирился с маменькой? — спрашивал Федос подошедшего тихими шагами Шурку.

— Помирился... И я, Чижик, прощения просил, что обругал маму...

— А разве такое было?

— Было... Я маму назвал злой и гадкой.

— Ишь ведь ты какой у меня отчаянный! Маменьку да так отчекрыжил!..

— Это я за тебя, Чижик! — поспешил оправдаться Шурка.

— То-то понимаю, что за меня... А главная причина — сердце твое не стерпело неправды... Вот из-за чего ты взбунтовался, махонький... Оттого ты и Антона жалел... Бог за это простит, хучь ты и матери родной сгрубил... А все-таки это ты правильно, что повинился. Как-никак, а мать... И когда ежели человек чувствует, что виноват,— повинись. Что бы там ни вышло, а самому легче будет... Так ли я говорю, Лександра Васильич? Ведь легче?..

— Легче,— проговорил раздумчиво мальчик.

Федос пристально поглядел на Шурку и спросил:

— Так что же ты ровно затих, посмотрю, а? Какая такая причина, Лександра Васильич? Сказывай, а мы вместе обсудим. После замирения у человека душа бывает легкая, потому все тяжелое зло из души-то выскочит, а ты, гляди-кось, какой туманливый... Или маменька тебя позудила?..

— Нет, не то, Чижик... Мама меня не зудила...

— Так в чем же беда?.. Садись-ка на травку да сказывай... А я буду змея кончать... И важнецкий, я тебе скажу, у нас змей выйдет... Завтра утром, как ветерок подует, мы его спустим...

Шурка опустился на траву и несколько времени молчал.

— Ты вот говоришь, что зло выскочит, а у меня оно не выскочило! — вдруг проговорил Шурка.

— Как так?

— А так, что я все-таки сержусь на маму и не так люблю ее, как прежде... Это ведь нехорошо, Чижик? И хотел бы не сердиться, а не могу...

— За что же ты сердишься, коли вы замирились?

— За тебя, Чижик...

— За меня? — воскликнул Федос.

— Зачем мама напрасно тебя посылала в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?

Старый матрос был тронут этой привязанностью мальчика и этой живучестью возмущенного чувства. Мало того, что он потерпел за своего пестуна, он до сих пор не может успокоиться.

«Ишь ведь, божья душа!» — умиленно подумал Федос и в пер-

вое мгновение решительно не знал, что на это ответить и как успокоить своего любимца.

Но скоро любовь к мальчику подсказала ему ответ.

С чуткостью преданного сердца он понял лучше самых опытных педагогов, что надо уберечь ребенка от раннего озлобления против матери и во что бы ни стало защитить в его глазах ту самую подлую белобрысую, которая отравляла ему жизнь.

И он проговорил:

— А ты все-таки не сердись! Раскинь умишком, и сердце отойдет... Мало ли какое у человека бывает понятие... У одного, скажем, на аршин, у другого — на два... Мы вот с тобой полагаем, что меня здря наказали, а маменька твоя, может, полагает, что не здря? Мы вот думаем, что я не был пьяный и не грубил, а маменька, братец ты мой, может, думает, что я и пьян был, и грубил, и что за это меня следовало отодрать по всей форме...

Перед Шуркой открывался, так сказать, новый горизонт. Но, прежде чем вникнуть в смысл слов Чижика, он не без участливого любопытства спросил самым серьезным тоном:

— А тебя очень больно секли, Чижик? Как сидорову козу? — вспомнил он выражение Чижика.— И ты кричал?

— Вовсе даже не больно, а не то что как сидорову козу! — усмехнулся Чижик.

— Ну?! А ты говорил, что матросов секут больно.

— И очень больно... Только меня, можно сказать, ровно и не секли. Так только, для сраму, наказали и чтобы маменьке угодить, а я и не слыхал, как секли... Спасибо, добрый мичман в адъютантах... Он и пожалел... не приказал по форме сечь... Только ты, смотри, об этом не проговорись маменьке... Пусть думает, что меня как следует отодрали...

— Ай да молодец мичман!.. Это он ловко придумал... А меня, Чижик, так очень больно высекли...

Чижик погладил Шурку по голове и заметил:

— То-то я слышал и жалел тебя... Ну да что об этом говорить... Что было, то прошло.

Наступило молчание.

Федос хотел было предложить сыграть в дураки, но Шурка, видимо чем-то озабоченный, спросил:

— Так ты, Чижик, думаешь, что мама не понимает, что виновата перед тобой?

— Пожалуй, что и так. А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком. Тоже бывают такие люди, которые гордые. Вину свою чуют, а не сказывают...

— Хорошо... Значит, мама не понимает, что ты хороший, и от этого тебя не любит?

— Это ейное дело судить о человеке, и за то сердце против маменьки иметь никак невозможно... К тому же, по женскому

званию, она и совсем другого рассудка, чем мужчина... Ей человек не сразу оказывается... Бог даст, опосля и она распознает, каков я есть, значит, человек, и станет лучше меня понимать. Увидит, что хожу я за ее сыночком как следует, берегу его, сказки ему сказываю, ничему дурному не научаю и что живем мы с тобой, Лександра Васильич, согласно,— сердце-то материнское, глядишь, свое и окажет. Любя свое дите родное, и няньку евойную не станет утеснять дарма. Все, братец ты мой, временем приходит, пока господь не умудрит... Так-то, Лександра Васильич... И ты зла не таи против своей маменьки, друг мой сердечный! — заключил Федос.

Благодаря этим словам мать была до некоторой степени оправдана в глазах Шурки, и он, просветлевший и обрадованный, как бы в благодарность за это оправдание, разрешившее его сомнение, порывисто поцеловал Чижика и уверенно воскликнул:

— Мама непременно полюбит тебя, Чижик! Она узнает, какой ты! Узнает!

Федос, далеко не разделявший этой радостной уверенности, с ласкою глядел на повеселевшего мальчика.

А Шурка оживленно продолжал:

— И тогда мы, Чижик, отлично заживем... Никогда мама не пошлет тебя в экипаж... И этого гадкого Ивана прогонит... Это ведь он наговаривает на тебя маме... Я его терпеть не могу... И меня он крепко давил, когда мама секла... Как папа вернется, я ему все расскажу про этого Ивана... Ведь, правда, надо рассказать, Чижик?

— Не говори лучше... Не заводи кляуз, Лександра Васильич. Не путайся в эти дела... Ну их! — брезгливо промолвил Федос и махнул рукой с видом полнейшего пренебрежения,— правда, брат, сама окажет, а жаловаться барчуку на прислугу без крайности не годится... Другой несмышленый да озорной ребенок и здря родителям пожалуется, а родители не разберут и прислугу отшлифуют. Небось не сладко. Тоже и Иван этот самый... Хучь он и довольно даже подлый человек, что на своего же брата господам брешет, а ежели по-настоящему-то рассудить, так он и совесть-то потерял не по своей только вине. Он, например, ежели пришел наушничать, так ты его, подлеца, в зубы, да раз, да два, да в кровь,— говорил, загораясь негодованием, Федос.— Небось, больше не придет... А который господин ежели слушает, слуга и повадится... И опять же: Иван все в денщиках околачивался, ну и вовсе бессовестным стал... Известно ихнее лакейское дело: настоящей, значит, трудливой работы нет, а прямо сказать — одна только фальшь... Тому угоди, тому подай, к тому подлестись,— человек и фальшит да брюхо отращивает, да чтобы скуснее объедки господские сожрать... Будь он форменным матросом, может, и Иван этой в себе подлости не имел... Матросики

вывели бы его на линию... Так обломали бы его, что мое вам почтение!.. То-то оно и есть!.. И Иван стал бы другим Иваном... Однако брешу я, старый, только скуку навожу на тебя, Лександра Васильич... Давай-ка в дураки, а то в рамцу... Веселее будет...

Он вынул из кармана карты, вынул яблоко и конфетку и, подавая Шурке, промолвил:

— На-кось, покушай...

— Это твое, Чижик...

— Ешь, говорят... Мне и скусу не понять, а тебе лестно... Ешь!

— Ну, спасибо, Чижик... Только ты возьми половину.

— Разве кусочек... Ну, сдавай, Лександра Васильич... Да смотри, опять не объегорь няньку... Третьего дня все меня в дураках оставлял! Дошлый ты в картах! — промолвил Федос.

Оба примостились поудобнее на траве, в тени, и стали играть в карты.

Скоро в саду раздался веселый, торжествующий смех Шурки и намеренно ворчливый голос нарочно проигрывающего старика:

— Ишь ведь, опять оставил в дураках... Ну ж и дока ты, Лександра Васильич!

XVIII

Конец августа на дворе. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнца не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон небо. Ветер так и гуляет по грязным кронштадтским улицам и переулкам, напевая тоскливую осеннюю песню, и порой слышно, как ревет море.

Большая эскадра старинных парусных кораблей и фрегатов уже возвратилась из долгого крейсерства в Балтийском море под начальством известного в те времена адмирала, который, охотник выпить, говорил, бывало, у себя за обедом: «Кто хочет быть пьян — садись подле меня, а кто хочет быт сыт — садись подле брата». Брат был тоже адмирал и славился обжорством.

Корабли втянулись в гавань и «развооружались», готовясь к зимовке. Кронштадтские рейды опустели, но зато затихшие летом улицы оживились.

«Кобчик» еще не вернулся из плавания. Его ждали со дня на день.

В квартире у Лузгиных стоит тишина, та подавляющая тишина, которая бывает в домах, где есть тяжелобольные. Все ходят на цыпочках и говорят неестественно тихо.

Шурка болен и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корь. Вот уже две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, с осунувшимся личиком и лихорадочно блестящими глазами,

большими и скорбными, покорно притихший, точно подстреленная птица. Доктор два раза ходит в день, и его добродушное лицо при каждом посещении делается все серьезнее и серьезнее, причем губы как-то комично вытягиваются, точно он ими выражает опасность положения.

Все это время Чижик находился безотлучно при Шурке. Больной настоятельно требовал, чтобы Чижик был при нем, и рад был, когда Чижик давал ему лекарство, и улыбался подчас, слушая его веселые сказки. По ночам Чижик дежурил, словно на вахте, на кресле около Шуркиной кровати и не спал, сторожа малейшее движение тревожно спавшего мальчика. А днем Чижик успевал бегать и в аптеку и по разным делам и находил время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимца. И все это делал как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светилось выражением чего-то спокойного, уверенного и приветливого, что успокоительно действовало на больного.

И в эти дни сбылось то, о чем говорил в саду Шурка. Обезумевшая от горя и отчаяния мать, сама похудевшая от волнения и недосыпавшая ночей, только теперь начала узнавать этого «бесчувственного, грубого мужлана», невольно дивясь той нежности его натуры, которая обнаружилась в его неустанном уходе за больным и невольно заставила мать быть благодарной за сына.

В этот вечер ветер особенно сильно завывал в трубах. В море было очень свежо, и Марья Ивановна, подавленная горем, сидела в своей спальне... Каждый порыв ветра заставлял ее вздрагивать и вспоминать то о муже, который шел в эту ужасную погоду из Ревеля в Кронштадт, то о Шурке.

Доктор недавно ушел серьезнее, чем когда-либо...

— Надо ждать кризиса... Бог даст, мальчик вынесет... Давайте мускус и шампанское... Ваш денщик — отличная сиделка... Пусть он продежурит ночь около больного и дает ему, как приказано, а вам следует отдохнуть... Завтра утром буду...

Эти слова доктора невольно восстают в памяти, и слезы льются из ее глаз... Она шепчет молитвы, крестится... Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — надеждой.

Вся в слезах, она прошла в детскую и приблизилась к кроватке.

Федос тотчас же встал.

— Сиди, сиди, пожалуйста,— шепнула Лузгина и заглянула на Шурку.

Он был в забытьи и прерывисто дышал... Она приложила руку к его голове,— от нее так и пышало жаром.

— О господи! — простонала молодая женщина, и слезы снова хлынули из ее глаз...

В слабо освещенной комнате царила тишина. Только слышалось дыхание Шурки да порою доносился сквозь закрытые ставни заунывный стон ветра.

— Вы бы шли отдохнуть, барыня,— почти шепотом проговорил Федос,— не извольте сумлеваться... Я все справлю около Лександра Васильича...

— Ты сам не спал несколько ночей.

— Нам, матросам, дело привычное... И я даже вовсе спать не хочу... Шли бы, барыня! — мягко повторил он.

И, глядя с состраданием на отчаяние матери, он прибавил:

— И, осмелюсь вам доложить, барыня, не приходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет.

— Ты думаешь?

— Беспременно поправится! Зачем такому мальчику умирать? Ему жить надо.

Он произнес эти слова с такою уверенностью, что надежда снова оживила молодую женщину.

Она посидела еще несколько минут и поднялась.

— Какой ужасный ветер! — проронила она, когда снова с улицы донесся вой.— Как-то «Кобчик» теперь в море?.. С ним не может ничего случиться? Как ты думаешь?

— «Кобчик» и не такую штурму выдерживал, барыня. Небось взял все рифы и знай покачивается себе, как бочонок... Будьте обнадежены, барыня... Слава богу, Василий Михайлыч форменный командир...

— Ну, я пойду вздремнуть... Чуть что — разбуди.

— Слушаю-с. Покойной ночи, барыня!

— Спасибо тебе за все... за все! — прошептала с чувством Лузгина и, значительно успокоенная, вышла из комнаты.

А Чижик всю ночь бодрствовал, и когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся Чижику и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал Шурку и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы.

На другой день вернулся Василий Михайлович.

Узнавши от жены и от доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, Лузгин, счастливый, что обожаемый сын его вне опасности, горячо благодарил матроса и предложил ему сто рублей.

— При отставке пригодятся,— прибавил он.

— Осмелюсь доложить, вашескобродие, что денег взять не могу! — проговорил несколько обиженно Чижик.

— Почему это?

— А потому, вашескобродие, что я не из-за денег за вашим сыном ходил, а любя...

— Я знаю, но все-таки, Чижик... Отчего не взять?

— Не извольте обижать меня, вашескобродие... Оставьте при себе ваши деньги.

— Что ты?.. я и не думал тебя обижать!.. Как хочешь... Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал! — несколько сконфуженно проговорил Лузгин.

И, взглянув на Чижика, вдруг прибавил:

— И какой же ты, я тебе скажу, славный человек, Чижик!..

XIX

Федос благополучно пробыл у Лузгиных три года, пока Шурка не поступил в Морской корпус, и пользовался общим уважением. С новым денщиком-поваром, поступившим вместо Ивана, он был в самых дружеских отношениях.

И вообще жилось ему эти три года недурно. Радостная весть об освобождении крестьян пронеслась по всей России. Повеяло новым духом, и сама Лузгина как-то подобрела и, слушая восторженные речи мичманов, стала лучше обходиться с Анюткой, чтобы не прослыть ретроградкой.

Каждое воскресенье Федос отпрашивался гулять и после обедни шел в гости к приятелю-боцману и его жене, философствовал там и к вечеру возвращался домой хотя и порядочно «треснувши», но, как он выражался, «в полном своем рассудке».

И госпожа Лузгина не сердилась, когда Федос, случалось, при ней говорил Шурке, отдавая ему непременно какой-нибудь гостинец:

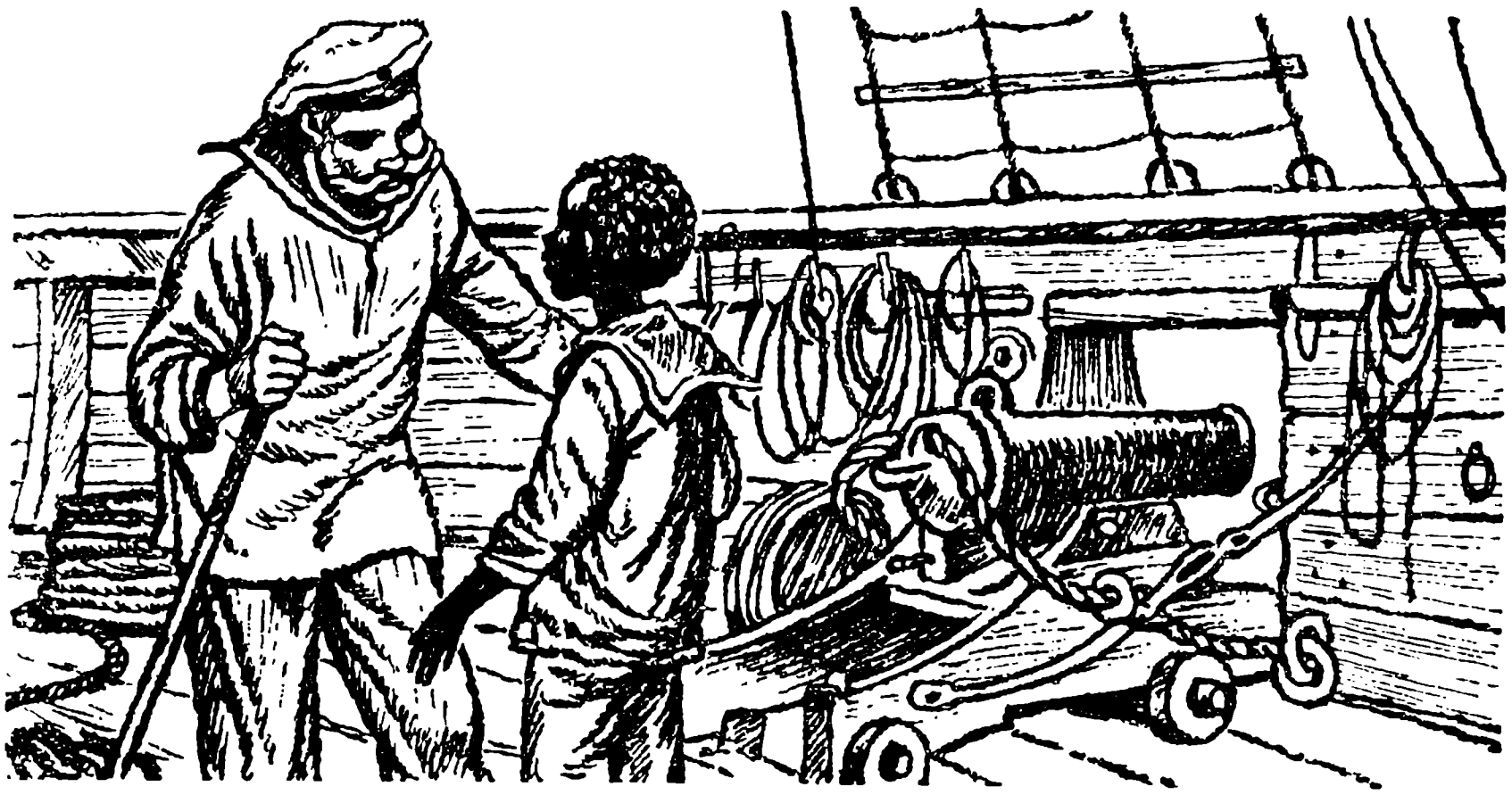
— Ты не думай, Лександра Васильич, что я пьян... Не думай, голубок... Я все как следует могу справить...

И, словно бы в доказательство, что может, забирал сапоги и разное платье Шурки и усердно их чистил.

Когда Шурку определили в Морской корпус, вышла и Федосу отставка. Он побывал в деревне, скоро вернулся и поступил сторожем в петербургском адмиралтействе. Раз в неделю он обязательно ходил к Шурке в корпус, а по воскресеньям навещал Анютку, которая после воли вышла замуж и жила в няньках.

Выйдя в офицеры, Шурка, по настоянию Чижика, взял его к себе. Чижик вместе с ним ходил в кругосветное плаванье, продолжая быть его нянькой и самым преданным другом. Потом, когда Александр Васильевич женился, Чижик нянчил его детей и семидесятилетним стариком умер у него в доме.

Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича. И сам он, с глубокою любовью вспоминая о нем, нередко говорит, что самым лучшим воспитателем его был Чижик.



МАКСИМКА

Посвящается Тусику

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющегося паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая

рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и родного севера.

Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда «горластый» боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившаяся по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою ночною сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас — по румбу ли правят рулевые, или на паруса — хорошо ли они стоят, или на горизонт — нет ли где шквалистого облачка.

Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чая со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестественно-громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:

— Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.

— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.

— Вон,— указывал дрогнувшей рукой матрос.— Теперь скрылся. А я сейчас видел, братцы... На мачте держался... привязан, что ли,— возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.

— Видишь? — спросил молодой лейтенант.

— Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

— Не теряй из глаз человека!

— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым басом боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.

Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны. «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

— С богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.

Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было и в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупкою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькою черною точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

— Потопнуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью...

— А то и сгорел.

— И всего-то один человек остался, братцы!

— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли...

— Живой ли он?

— Вода теплая. Может, и живой.

— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

— Д-да, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

— Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

— Есть на нем спасенный?

— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.

— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою черною заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими,— недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:

— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

— Но его не видно на баркасе.

— Быть может, внизу лежит, потому и не видно... А впрочем-с, скоро узнаем...

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе.

И на сердитом лице капитана засветилась довольная улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости.

Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр, лет десяти-одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку,— докладывал капитану офицер, ездивший на баркасе.

— Скорей его в лазарет! — приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.

— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

— И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

— Доктор отхаживает. Небось выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа...

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, значит, пустой, безо всего, так отвар быдто,— с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

— Фершал, братцы, сказал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрет, мол.

— Что ж арапчонок?

— Ничего, покорился...

В эту минуту к кадке с водою подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил окурок капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной

тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав с важным видом, не без пренебрежения прибавил:

— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

— Дикие не дикие, а всё божья тварь... Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

— А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.

— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось дознаются, откуда он,— ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

— Тоже вестовщина. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкой, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульона, наблюдая, с какою жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали «Петенькой».

— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь, проговорил доктор.— Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу»,— вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал своего слугу «боем»[1], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну. Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин — или, как все его звали, Артюшка,— передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец-капитан.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку,— а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой

---

[1] Воу — по-английски мальчик. *(Прим. автора.)*

ремешки,— и давай лупцевать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственною фантазией, вызванною желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде.— Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра... У бедняги и посейчас вся спина исполосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уж не сожрали акулы.

— Небось у нас уже объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.

— То-то, есть!

— Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос.

— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании.— Из-за этого самого у их промеж себя и война идет[1]. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов,— ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.

— Небось господь им поможет... И арапу на воле жить хочется... И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряженным вниманием слушал разговор и, наконец, спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Черта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

---

[1] Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах. *(Прим. автора.)*

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.

— То-то и есть! — радостно воскликнул чернявый матрос-первогодок.

И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропической ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об «арапчонке».

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

— No, no, no.

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати.— Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали...

— Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен,

вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие,— заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее, или, как матросы говорили, «позанозистее».

— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.

— Да так-с... «обоюдно»... Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер.— Удобно и хорошо, значит.

— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока я не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

— Очень даже возможно хороший костюм сшить... На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

— Так устраивай свой обоюдный костюм!

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

— Кто там? Входи! — крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными, живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов — и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие,— проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

— Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

— Никак нет, вашескобродие,— я вот платье арапчонку принес... Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец... Очень рад,— говорил доктор, несколько изумленный.— Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем.

— Способное время было, вашескобродие,— как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одежа самая, братец ты мой, веригут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимкой зовешь? — рассмеялся доктор.

— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапчонка нет, а надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая его матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Небось теперь забудет идола мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим... И башмаки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».

О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст

матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере,— о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы».

Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких «первогодков» матросов,— что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит «сироту», то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

— Небось искровяню морду в самом лучшем виде! — прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело.— Забижать дитё — самый большой грех... Какое ни на есть оно: хрещеное или арапское — а всё дитё... И ты его не забидь! — заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.

Где, мол, такому «отчаянному матрозне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?

И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:

— Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

— То-то за няньку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки.— Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить... другую смену одежи сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали... Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его, беспризорного, на Надежном мысу. По крайности не голый будет ходить.

— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Небось договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин.— Он даром что арапского звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он поймет.

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утрен-

ние работы и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением»,— Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!», и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

— Бон водка! Вери-гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

— Вери-гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

— Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь... А теперь валим, мальчонка, обедать... Небось есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, все понимает! Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Максимку?

— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! — проговорил старый плотник Захарыч.

— Может, другие которые... Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкин.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.

И со всех сторон раздались шутливые голоса:

— Небось не объест твой Максимка!

— И всю солонину не съест!

— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.

— Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещеный, значит,— промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку,— но только я полагаю, что у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется...

— А то как же? Господь на земле всех терпит... Небось не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая на ложку.

Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол мериканец! — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

— Вот это бон, Максимка. Вери-гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, представляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.

И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь. Тишина и на клипере. «Команда отдыхает», и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов — таков давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин «здоров спать».

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

И что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину: бесшабашного пьянства и порок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг

всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — То-то она и загвоздка!

К какому обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот,— решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:

— И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем «для верности», по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда «горластого» боцмана Василия Егоровича, или «Егорыча», как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матроссски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был, по убеждению Лучкина, «добер» и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.

— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка... Ишь глупый... всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусинный чемоданчик, наполнен-

ный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку, и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю,— который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навыкате глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы, или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза. Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне,— до того они непохожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

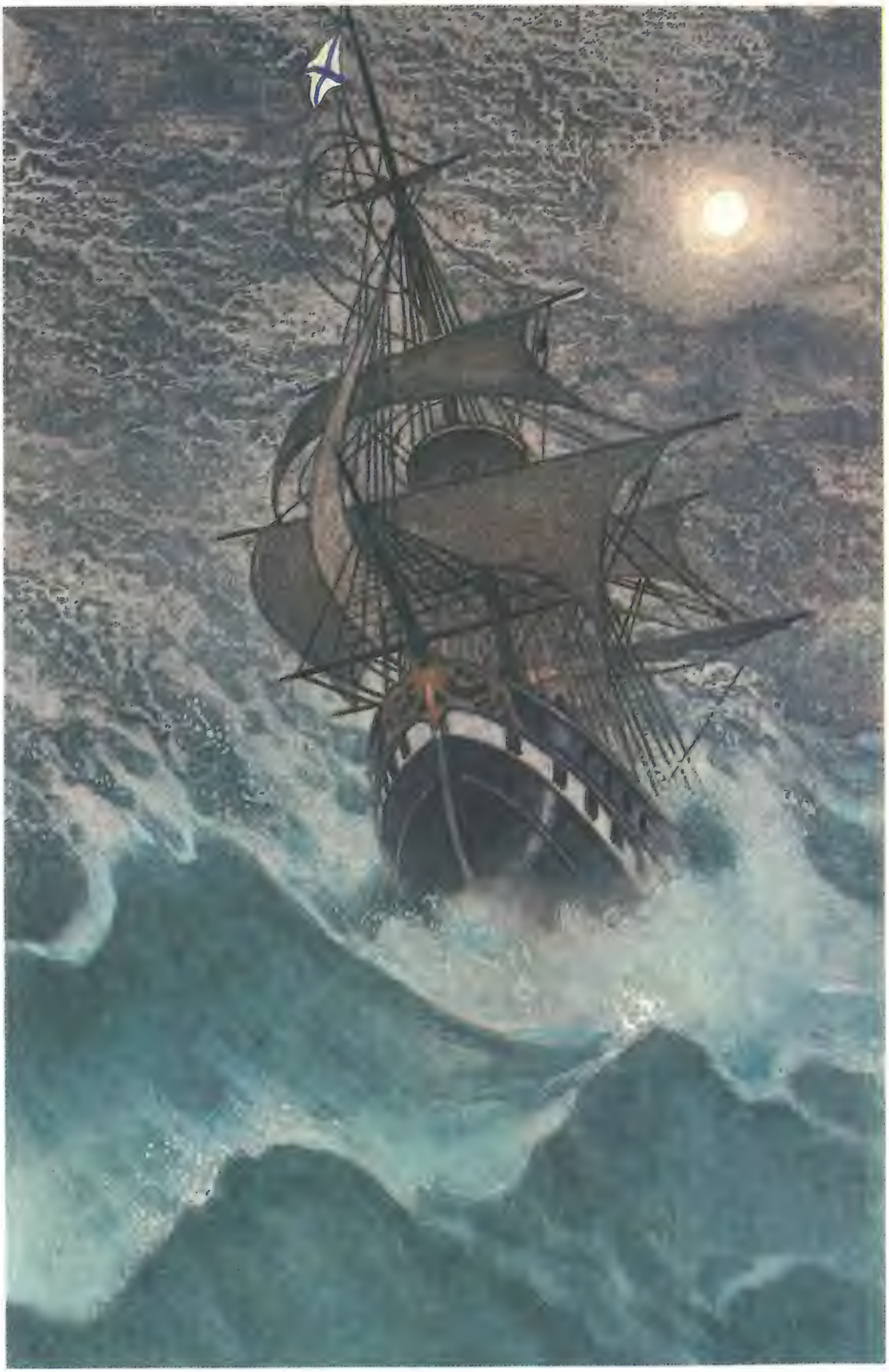
Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахара и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшею нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке.— Ешь сахар-то. Скусный! — прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к



К стр. 473

орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормою «Бетси», когда она, спустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала и таким образом его мучитель капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми[1].

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — признаться — не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения,— каковым он считал знание имени,— что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.

---

[1] В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших. *(Прим. автора.)*

Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их в исполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» — и, когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:

— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем,— попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкина друга зовут Лучкин.

— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше благородие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

— Теперь знает!.. Ну-ка, спроси.

— Максимка!

Маленький негр указал на себя.

— Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин! — снова обратился он к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:

— Арапчонок в науку входит...

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.

— Еще как поймет-то! До Надежного мыса ходу никак не меньше двадцати ден... А Максимка понятливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

— Ишь твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы роздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке с подушкой под головой, и под одеялом,— все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров... и смолкли.

Вдруг Лучкин спросил:

— И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство,— категорически ответил:

— Ни в жисть!

— Вовсе, значит, не касался?

— Разве когда стаканчик в праздник.

— То-то и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

— Деньги-то, братец, нужнее... Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься...

— Это что и говорить...

— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос...

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

— Сказывают: заговорить можно от пьянства?

— Заговаривают люди, это верно... На «Кобчике» одного

матроса заговорил унтерцер... Слово такое знал... И у нас есть такой человек...

— Кто?

— А плотник Захарыч... Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.

— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...

— Попробуй пить с рассудком...

— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!

— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия! — внушительно заметил Леонтьев.— Каждый человек должен себя понимать... А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет... Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.

— То-то и я полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Капштоуна, но попасть в него не мог. Свежий, противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, пыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Капштоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясниться кое-как по-русски.

Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости,— одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил, наконец, Лучкин.

— Зачем прощай? — удивился Максимка.

— Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.

— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:

— Мой нет берег... Мой здесь, Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

— Хочешь, Максимка, русска матрос?

— Да, да,— повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек... Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться... Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу... Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан... Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле... Как бы не было в этом загвоздки...

— Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

— Как так?

— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

— Это, видно, Лучкин хлопочет?

— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти...

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас переменил решение и сказал:

— Что ж, пусть остается. Сделаем его юнгой... А вернется в Кронштадт с нами... что-нибудь для него сделаем... В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой... пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку,

все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! — смеясь, заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

— Может, из-за Максимки и я вовсе тверезый вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяный, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

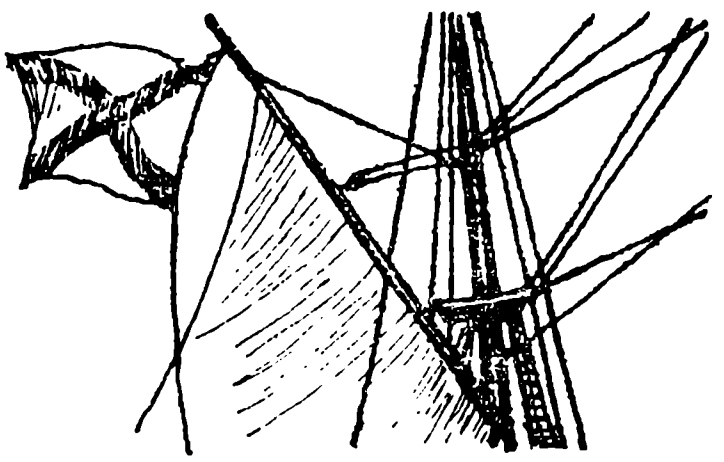
— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?

И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — «Забиякин».

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману «Петеньке», который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».



ПЕРВОГОДОК

(Очерк из былой морской жизни)

I

Когда на пятый день после ухода из Кронштадта корвета «Ястреб» в кругосветное плавание «засвежело», как говорят моряки, и корвет бросало, точно щепку, со стороны на сторону по волнам разбушевавшегося Немецкого моря, молодой матросик Егор Певцов струсил не на шутку.

Это было первое его знакомство с бурей на море, его морское крещение.

Певцов был в числе вахтенных и потому в это осеннее непри-ветное утро находился наверху, на палубе «Ястреба», который под зарифленными парусами, поднимаясь с волны на волну и раскачиваясь, несся с крепким попутным ветром, доходящим до степени шторма, верст по семнадцати в час.

На нем было сто семьдесят пять матросов, пятнадцать офицеров, священник и доктор.

Бледный как смерть, с помутившимся взглядом серых больших глаз, стоял матросик у грот-мачты, крепко вцепившись рукой в снасти, чтобы не упасть на качающейся палубе, которая словно бы уходила из-под его ног, еще не привычных сохранять равновесие во время качки,— и, полный страха, взглядывал на высокие заседевшие волны, бросавшиеся со всех сторон на «Ястреба» и с грозным гулом разбивающиеся одна о другую.

Далеко-далеко раскинулось бурное море, вздымаясь высокими холмами. Белоснежные гребни их пенились и, срываемые ветром, рассыпались жемчужною пылью.

Идет непрерываемый морской гул, сливающийся с воем ветра, который то стонет, то гудит, проносясь по мачтам, парусам и снастям и потрясая веревки. Небо покрыто низкими, черными, быстро несущимися облаками. Горизонт застлан мглою.

Мрачно, тоскливо и холодно кругом.

Щемящая тоска и на сердце матроса, впервые увидавшего бушующее море и в страхе преувеличивающего опасность. Оно чужое ему, страшное и постылое, и он думает, что нет постылей морской службы. То ли дело на сухом пути!

И, когда корвет в своих стремительных размахах ложится боком и верхушки волн вливаются через борт на палубу, молодой матрос в ужасе широко открывает глаза и весь замирает.

Ему кажется, что корвет не поднимется, что вот-вот эти свинцовые водяные горы, которые тут, так близко, в нескольких шагах, поглотят судно со всеми людьми, и нет спасения. Смерть неминуема,— она глядит, холодная и страшная, из этих холодных и страшных волн.

А жить так хочется, так страстно хочется. За что умирать?

И матросик шепчет побелевшими, вздрагивающими губами:

— Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй!

Но корвет уже поднялся одним боком и стремительно ложится другим.

И в эти мгновенные промежутки надежда закрадывается в потрясенную душу матроса.

II

Егор Певцов первогодок.

Всего только шесть месяцев тому назад, как его, неуклюжего, крепкого и приземистого, белобрысого двадцатиоднолетнего паренька, с большими добродушными серыми глазами, в числе других новобранцев привели в Кронштадт из глухой деревушки Вологодской губернии.

Он сделался матросом, никогда в жизни не видавши не только моря, но даже и озера. Видал он только маленькую речонку Выпь, протекавшую у деревни.

Его поместили в казарму, одели в матросскую форму, и на другой же день экипажный командир, осматривавший новобранцев, оглядев Певцова, проговорил, обращаясь к командиру роты, в которую был назначен Певцов:

— Из этой «деревни» хороший марсовой выйдет!

И затем спросил Певцова:

— Как зовут?

— Егором! — испуганно отвечал новобранец.

— Фамилия?

Матросик в недоумении моргал глазами.

— Прозвище как?

— Певцов...

— Вологодский?

— Вологодские будем.

— Ну, братец, служи хорошо!.. Будь молодцом... Все, смотри, будьте молодцами! — подбодрил экипажный командир новобранцев.

И вслед за тем прибавил суровым тоном:

— А не то...

Он не досказал и ушел.

Но все новобранцы поняли, в чем дело. Они уже слышали, когда шли в партии, что на службе спуска не дают.

Действительно, в те времена спуска не давали и матросов учили при помощи очень суровых наказаний.

После крестьянской жизни трудно было Певцову привыкать к казарме.

Он первое время находился в постоянном страхе и, что называется, лез из кожи вон, чтобы не навлечь на себя наказания. Но по тем временам это не всегда было возможно.

Унтер-офицер Захарыч, назначенный обучать новобранцев выправке и ружейным приемам, добродушный вне службы пожилой человек, не отличался большим терпением и, сам выученный далеко не ласково, находил, что без боя «никак невозможно обломать деревенщину» и, как он выражался, привести в «форменный рассудок».

И этот унтер-офицер нередко зверел во время учебы. Ему все казалось, что «деревня» необыкновенно упорна и не «обламывается» с тою скоростью, с какою бы ему хотелось: и грудь не выпячена, и молодцеватого вида нет... Одним словом, новобранцы — мужики мужиками. Пожалуй, и ротный за это не похвалит и велит «всыпать» учителю.

И глаза учителя наливались кровью; его красноватое лицо с багровым от пьянства носом перекашивалось, и он начинал «крошить».

Матросик покорно выдерживал удары озверевшего унтер-офицера и только бледнел и жмурил глаза. Но потом целый день был сам не свой. Полный тоски и обиды, забивался он куда-нибудь в угол и думал горькие думы о безвыходности своего положения.

Подобная муштровка происходила ежедневно. Несмотря на старания Певцова угодить своим усердием Захарычу, редкий день обходился без того, чтобы матросик не был избит.

А Захарыч вдобавок еще говорит:

— Это еще что!.. на сухой пути... А в море будет вам, подлецы, настоящая разделка!

Подтверждение этих слов о настоящей «разделке» в море молодой матрос не раз слышал в казарме из обычных разговоров, которыми коротали вечера матросы. Наслушался он о строгостях на судах, о разных командирах и старших офицерах, которые за всякую малость приказывали полировать спину, и о том, как тяжела и опасна матросская служба в море, и о том, какие бывают в море штормы и ураганы.

Отчаяние и страх закрадывались в сердце молодого матроса; и в голову его пришла мысль о побеге.

Мысль эта не покидала первогодка. Его манил к себе густой старый лес, который он так любил и куда, бывало, ходил стрелять рябчиков из своего скверного ружьишка. Его манили поля... манила деревня с черными покосившимися избушками.

Там все свое, родное, к чему он привык с детства... Здесь все чужое... и это море...

О, каким постылым показалось ему оно, когда он увидал его однажды со стенки Купеческой гавани в одно из воскресений, когда был отпущен из казарм погулять!

III

Жестокое наказание, которому при всей роте был подвергнут один «отчаянный» матрос, пропивший все казенные вещи, бывшие на нем, произвело потрясающее впечатление на Певцова.

После этого случая мысль о побеге не давала покоя матросику.

И ровно через месяц после того, как Певцов был приведен в Кронштадт и выучивался у Захарыча, он в одно из воскресений, отпущенный гулять, решился не возвращаться более в казармы.

Кронштадтский босяк, с которым познакомился Певцов на рынке и потом зашел с ним в кабак, уверил молодого матроса, что в Питере паспорт легко раздобыть, стоит только найти там Вяземскую лавру; а с паспортом живи где угодно.

Часу в десятом утра Певцов с заветным рублем в кармане, рублем, принесенным из деревни, шел по льду, через море, в Ораниенбаум.

Шел он не по дороге, а стороной от нее, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

Уже Певцов был на половине дороги, порядочно прозябши в рваном армяке, который ему дал босяк в обмен на казенную шинель, как увидал, что навстречу ему идет матрос, лицо которого было почти закрыто башлыком.

Скоро они сблизились. И вдруг встречный остановился и крикнул:

— Егорка! стой!

Матросик так-таки и обомлел: перед ним стоял Захарыч. Изумлен был и Захарыч.

— Положим, я выпивши... У кумы в Рамбове был. Но только по какой причине ты в таком виде? Обсказывай, Егорка!

— Не погуби, Захарыч!

— Я не душегуб, Егорка... Я совесть имею. Говори сей секунд, что это ты задумал... Никак бежать?

— Силушки моей не стало, Захарыч...

— В отчаянность пришел?..

— В отчаянность...

— Из-за чего?.. Из-за меня?..— дрогнувшим голосом произнес Захарыч.

— Изо всего... И из-за тебя... Захарыч...

— А я не с сердцов, Егорка,— виновато сказал Захарыч.— Надо обламывать тебя... форменного матроса сделать... Мне и невдомек, что ты такой... обидчивый... А я вот что тебе скажу: не бегай, Егорка!.. Не бегай, дурья голова!.. Я тебе добром говорю... Никому не доложу, что встретил тебя... Иди, коли хочешь, с богом, но только пропадешь ты... Поймают тебя и скрозь строй... за бега... А слышал ты, как это скрозь строй гоняют?

— Слышал...

— То-то и есть... Не дай бог!

— Все равно пропадать... И теперь ежели вернуться, пропал я.

— Пропал?! Я тебе не дам пропасть... Ежели я тебя до такой отчаянности довел боем, что ты вон в армячишке рваном бежать решился, то я и вызволить тебя должен, Егорка... Небось не пропадешь... Совесть-то у меня есть... Валим в Рамбов!.. Там я тебя опять как следует одену, и будешь ты снова матрос... И ни одна душа не узнает.

Матросик не верил своим ушам. Захарыч, который мучил его, так ласково говорит, жалеет его.

И, тронутый этой лаской до глубины души, он мог только взволнованно проговорить:

— Захарыч... Спасибо!

— И чувствительный же ты парень, Егорка!.. Так валим, что ли? Ишь ведь, зазяб!

Они пошли вместе в Ораниенбаум и скоро были у кумы.

— Здорово, кума! Опять обернулся! Надо с тобой обмозговать одно дело!.. Только прежде поднеси шкалик парню. Зазяб больно. И мне по спопутности! — весело говорил Захарыч куме, не старой еще женщине, вдове боцмана.

После того как оба выпили по шкалику, Захарыч о чем-то зашептался с кумой, и она тотчас же куда-то исчезла.

Вскоре она вернулась с форменной матросской шинелью и фуражкой, и матросика обрядили.

— Ну, теперь айда домой, Егорка!.. Только прежде еще по шкалику... Не так ли, кума? И провористая же баба моя кума, Егорка!..

Выпили еще и пошли в Кронштадт.

И, когда матросик вернулся в казарму, она была ему уж не так постыла.

На другой день все новобранцы, бывшие в учебе у Захарыча, заметили, что он не так уже зверствует, как раньше. Правда, ругань по-прежнему лилась непрерывно, и одного непонятливого он съездил по уху, но съездил легко и вообще дрался с рассудком.

А Певцова, старавшегося изо всех сил, даже похвалил и вечером позвал пить чай.

Когда месяца через три матросика назначили в кругосветное плавание и он затосковал, Захарыч, тоже назначенный на «Ястреб», старался утешить своего любимца и обещал сделать из него хорошего марсового.

— Главное дело, не бойся! Вначале будто боязно, когда тебя, примерно, на рее качает; а потом ничего... Видишь, что другие матросики не боятся, стараются... Чем же ты хуже их? Я, братец ты мой, десять лет был марсовым и, как послали меня в первый раз марсель крепить, тоже полагал, что тут мне и крышка. Либо в море упаду, либо башку размозжу о палубу. А вот, как видишь, цел вовсе.

— Сказывают, строгость большая на море, Захарыч?

— Как следует быть... Но только, ежели ты сам держишь себя в строгости, то не за что тебя и драть как сидорову козу, коли командир и старший офицер наказывают не зря или в беспамятстве ума, а по чести и с рассудком... Без взыску нельзя... Такая уж взыскательная флотская служба...

— А как наш командир и старший офицер? Очень строгие? — с жадным любопытством спросил молодой матрос.

— То-то нет... Тебе на первый раз посчастливилось, Егорка! И жалостливые и матросом не брезгуют... Понимают, что у матроса не барабанная шкура, и задарма нет у них положения разделывать спину. Особенно капитан... Я с ним плавал одно лето... С большим понятием человек... С им не нудно служить...

— А старший офицер?..

— Ишь ведь пужливый ты... допытываешься! — добродушно усмехнулся Захарыч.

И, помолчав, продолжал:

— Матросы, кои служили с ним раньше, сказывали, что добер... Однако любит при случае по зубам пройтись. Да ты, Егорка, не сумлевайся насчет этого! — вставил Захарыч, заметив испуг на лице первогодка.— У его рука, сказывали, легкая! А порет по справедливости, если кто свиноватил. А чтобы по-

напрасну обескураживать человека — ни боже мой! Да чего бояться? Ты у меня исправный и старательный матросик. За что тебя драть? И вовсе не за что! Так-то, Егорка! Счастье твое, что попал ты на судно к такому доброму капитану!

Эти слова, а главное, тон их, ласковый и душевный, очень подбодрили молодого матроса.

IV

И первые дни плавания не показались ему страшными.

Несмотря на позднюю осень, погода стояла тихая, и в Финском заливе и в Балтийском море не было ни ветра, ни волнения. Стоял штиль, и корвет, не покачиваясь, шел себе под парами, попыхивая дымком из горластой трубы.

Первогодок был назначен во вторую вахту. Он должен был находиться на палубе, у грот-мачты, в числе «шканечных» и исполнять работы, требующие только мускульного труда, то есть тянуть, или, как говорят матросы, «трекать» снасти (веревки).

Наверх взбираться, на ванты, и крепить паруса его не посылали еще.

Привык он и к судовой жизни, к жизни по точному расписанию. Привык по свистку боцмана вскакивать в пять часов утра из своей койки, подвешенной вместе с другими в междупалубном пространстве, называемом «жилой палубой», скатывать койку, нести ее наверх и класть в бортовое гнездо, затем петь во фронте утреннюю молитву и после кашицы и чая приниматься за обычную уборку палубы: скоблить ее камнем, проходить шваброй, окачивать водой — словом, доводить до той «каторжной», как говорят матросы, чистоты, которою щеголяют военные суда.

После мытья палубы начиналась чистка орудий, бортов и всех медных вещей, находящихся на палубе: поручней, кнехтов, уток и т. п. Суконок и кирпича не жалели.

И во время этой «убирки», то есть до восьми часов утра, когда поднимался флаг и начинался судовой день, молодой матрос привык видеть небольшую, круглую фигуру старшего офицера, который носился по корвету, заглядывая то туда, то сюда, покрикивая своим тоненьким тенорком и иногда «смазывая» лица лодырей матросиков, которые вместо работы болтали.

Привык Егор и слушать, как заливается «соловей». Так называли матросы старого боцмана Зацепкина, который во время уборки почти не переставая «заливался», то есть ругался, выпуская такие затейливые словечки, которые вызывали нередко веселое настроение в матросиках. До того эти вариации были неожиданны и затейливы.

К восьми часам уборка кончалась, и начинался день.

Благодаря гуманному отношению командира и дни не казались тяжелыми Егору.

До одиннадцати часов утра он вместе с другими матросами занят был какой-нибудь нетрудной работой наверху. Ему поручали или плести мат, или скоблить шлюпку, или разбирать по сортам пеньку. Каждый был занят делом. И тогда слышно было, как на палубе за работой мурлыкались вполголоса песни.

А в одиннадцать уже шабашили, и в начале двенадцатого два боцмана и все унтер-офицеры становились в кружок и долгим свистом возвещали о раздаче водки. Выносилась на палубу большая ендова, и каждый, по вызову, подходил и пил чарку. Выпивал и молодой матросик и с аппетитом ел вкусные матросские щи, мясо из них и затем кашу. Кормили отлично в море, и Егор отъедался на хороших харчах.

После обеда, если Егор не стоял на вахте, он вместе с другими отдыхал, растянувшись в жилой палубе, пока в три часа свисток боцмана не будил спавших. От трех до четырех шло обучение грамоте, и Певцов с особенной охотой занимался с одним из молодых офицеров и слушал, когда этот же офицер читал матросам что-нибудь вслух.

После этих занятий было какое-нибудь ученье — парусное или артиллерийское,— но недолгое благодаря распоряжению капитана не изнурять людей, и без того устававших во время вахт. А на вахте приходилось стоять по шести часов.

С пяти часов работ уж не было, и в это время матросы обыкновенно собирались на баке, слушали хор песенников и вели между собою беседы. В шесть ужинали и в восьмом часу уже свистали на молитву, а после молитвы отдавалось приказание брать койки.

И подвахтенные отправлялись спать и спали крепким сном наработавшихся за день людей до утра, если только среди ночи не раздавался в палубе тревожный свисток в дудку и вслед за тем зычный окрик боцмана:

— Пошел все наверх рифы брать!..

Такой окрик раздался в шестую ночь после выхода из Кронштадта, когда корвет вошел в неприветное Немецкое море, отличающееся неправильным и очень беспокойным волнением.

Егор проснулся, соскочил с койки и едва устоял на ногах — так сильно качало. Испуганный, он крестился и в первую минуту растерялся.

— Живо... живо! Копайся у меня! — раздался грозный окрик боцмана Зацепкина.

И его здоровая, широкоплечая фигура носилась в слабо освещенной несколькими фонарями жилой палубе, и палуба оглашалась руганью.

— Вали наверх, черти! Лётом, идолы!.. Не то подгоню!

Матросик торопливо надевал короткое пальто-буршлат и искал шапку.

Из открытого люка доносился шум ветра.

Матросы стремглав выбегали наверх, а Егор, не привыкший ходить по качающейся палубе и растерянный, замешкался.

В эту минуту сверху спустился бывший на вахте Захарыч и подошел к нему.

— Иди... иди... не бойся, Егорка! А то боцман тебя не похвалит!..— проговорил Захарыч.

И Певцов, с трудом перебирая ногами, чтобы не упасть, вышел одним из последних на палубу, направляясь к своему месту, к грот-мачте.

Его охватил резкий, холодный ветер, и у бака обдало солеными брызгами.

То, что увидал он при слабом свете луны, наполнило его сердце страхом.

А между тем ничего особенно страшного еще не было. Ветер только еще начинал крепчать, разводя большое волнение, и корвет порядочно таки качало. Море гудело, но рев его еще не был страшен.

— Марсовые, к вантам! По марсам! — раздался звонкий, крикливый тенорок старшего офицера.

Стоявший на палубе первогодок увидал, как полезли наверх матросы, как затем расползлись по реям и стали делать свое трудное матросское дело: брать рифы у марселей. Их маленькие черные перегнувшиеся фигуры раскачивались вместе с реями, и молодому матросу казалось, что вот-вот сию минуту кто-нибудь сорвется с реи и упадет в бушующее море или шлепнется на палубу.

И сердце его замирало, и вместе с тем он удивлялся смелости матросов.

Вместе с другими Егор «трекал» снасть. И сосед его, тоже первогодок, пожаловался:

— С души рвет. Моченьки нет. А тебя, Егорка?

— Мутит.

— И, страсти какие... Господи!

— Не разговаривать! — сердито крикнул офицер, заведовавший грот-мачтой.

— Я тебе поговорю! — прошептал унтер-офицер, грозя кулаком.

Молодые матросы притихли.

Аврал продолжался долго.

Взяли четыре рифа у марселей, убрали нижние паруса, спустили стеньги, закрепили покрепче орудия.

И, когда корвет был готов встретить шторм, просвистали: «Подвахтенных вниз».

Егор спустился в душную палубу, забрался в койку и испуганно озирался.

— Спи, спи, деревня! — насмешливо кинул ему сосед по койке...

— Страшно...

— Это какое еще страшно!.. Это что еще... А вот что завтра бог даст!..

— А что завтра?..

Но сосед отвечал громким храпом.

Скоро заснул и Егор.

Когда с восьми часов он вступил на вахту, буря уже разыгралась, и первогодок был в ужасе.

V

Он все еще цепенел от страха во время размахов корвета, но страх понемногу ослабевал, и нервы его словно бы притупились. Но, главное, он видел, что старые матросы, хоть и были сосредоточенны и серьезны, но никакого страха на их лицах не было.

И капитан, и старший офицер, и старший штурман, и молодой вахтенный мичман, тот самый мичман, который учил Егора грамоте,— все они, по-видимому, спокойно стояли на мостике, уцепившись за поручни и взглядывая вперед.

А боцман Зацепкин, находившийся на баке, кого-то ругал с такою же беззаботностью, с какою он это делал и в самую тихую погоду.

Все это действовало успокаивающим образом на смятенную душу матроса.

И как раз в эту минуту подошел к нему Захарыч.

— Ну что, брат Егорка? — участливо спросил он.

— Страшно, Захарыч! — виновато отвечал матросик.

— Еще бы не страшно! И всякому страшно, ежели он в первый раз штурму видит... Но только страху настоящего не должно быть, братец ты мой, потому судно наше крепкое... Что ему сделается?.. Знай себе покачивайся... И я тоже, как первогодком был да увидал бурю, так небо мне с овчинку показалось... Гляди... капитан наверху. Он башковатый. Он, не бойсь, и не в такую бурю управлялся... А с этим штурмом управится шутя... Он дока по своему делу!..

И матросик после этих успокоительных слов уж без прежнего страха глядел на высокие волны, грозившие, казалось, залить корвет.

А положение между тем было серьезное, и Захарыч это отлично понимал, но не хотел смущать своего любимца.

VI

Шторм усиливался.

Лицо капитана, по наружности спокойное, становилось все напряженнее и серьезнее по мере того, как волны все чаще и чаще стали перекатываться через палубу.

К полудню шторм достиг высшей степени своего напряжения. Нос корвета начинал зарываться в воде.

Капитан побледнел и тихо отдал приказание старшему офицеру приготовить топоры, чтобы рубить мачты для облегчения судна.

И старший офицер так же тихо и спокойно отдал это приказание унтер-офицерам.

И несколько человек стали у мачт, готовые по команде рубить их.

А Егор именно теперь, во время такой серьезной опасности, и не подозревал, что смерть близка, и надежда не покидала его.

Корвет метался среди волн и плохо слушался руля. Нос тяжело поднимался и чаще зарывался в воду.

— Руби фок-мачту! — раздался в рупор голос капитана.

Раздался стук топоров, и скоро фок-мачта упала за борт.

Нос облегчился, и волны перестали заливать корвет.

Егор, не понимавший, в чем дело, увидал только, что лицо капитана просветлело. И лица старых матросов оживились. Многие крестились.

— И молодца же наш капитан,— сказал Егору, снова подходя к нему, Захарыч.— Вызволил!

— А разве опасно было?

— Еще как!... Потопнуть могли... Штурма форменная!..

Егор ахнул, понявши, от какой он избавился опасности, и спросил:

— А теперь?..

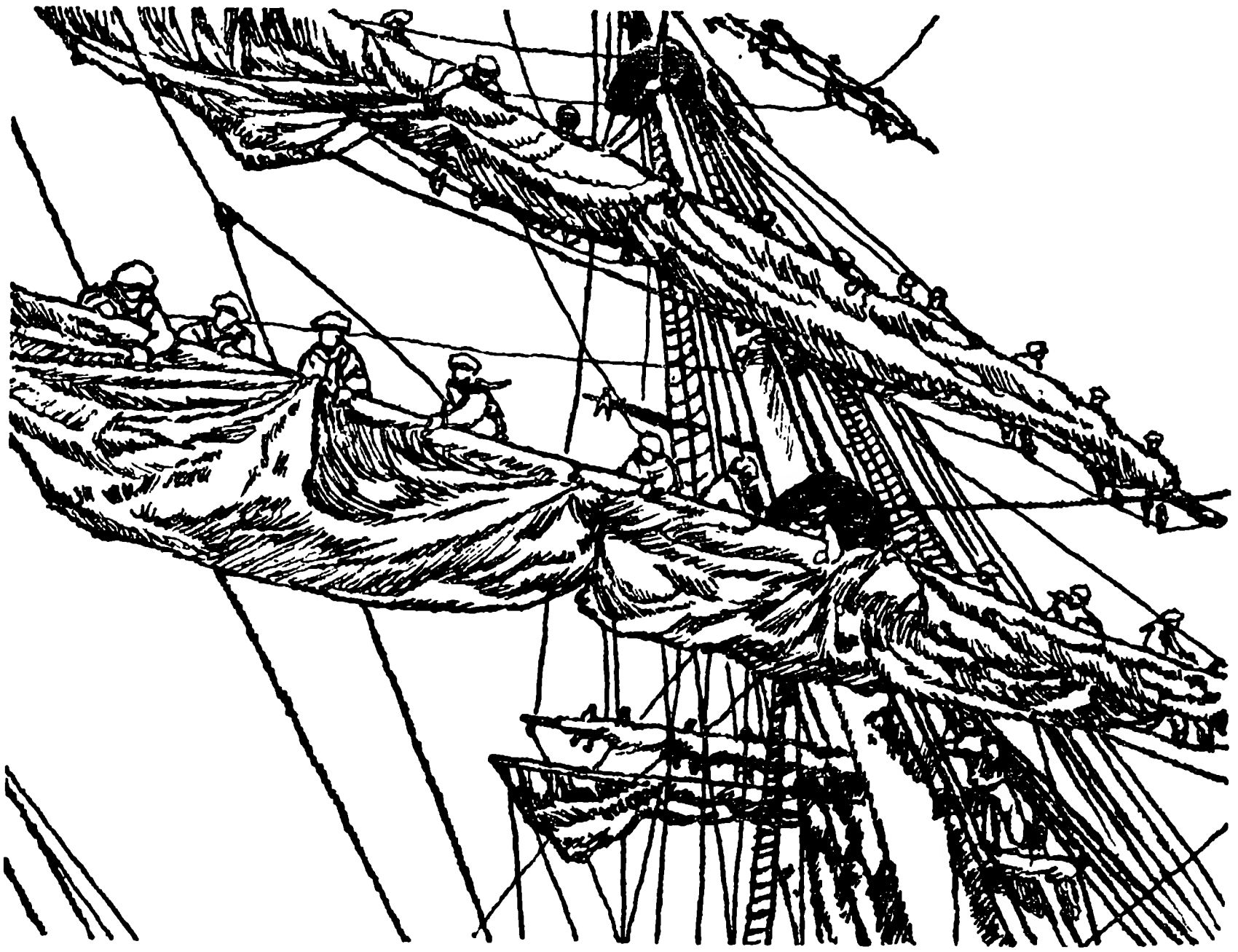
— Теперь... Теперь слава богу!.. Да и штурма затихает.

Действительно, после полудня шторм стал утихать, и к вечеру корвет шел под парами, направляясь к Копенгагену.

— А зачем ты, Захарыч, не сказал мне тогда всей правды про бурю? — спрашивал в тот же вечер Егор Захарыча в жилой палубе.

— Зачем?.. А не хотел пугать тебя, Егорка... По крайности ты раньше не мучился бы страхом, если б, сохрани бог... Жалко мне тебя было, Егорка... вот зачем... А теперь ты сам знаешь, какие бури бывают... И после того, как видел настоящую штурму, станешь форменным матросиком, как и другие... Правильно я говорю?..

— Спасибо, Захарыч!.. Добрый ты!.. Век тебя не забуду! — дрогнувшим голосом отвечал молодой матросик.



БЛЕСТЯЩИЙ КАПИТАН

I

Был девятый час сентябрьского утра.

Тулонский рейд точно млел в мертвом штиле. Солнце еще не томило жгучими лучами.

Капитан «Витязя», стоявшего рядом с флагманским кораблем французской эскадры, только что принял обычные утренние рапорты и, оставшись на мостике, радостно, почти что влюбленно любовался своим красавцем корветом, с изящными линиями обводов, стройным, с высоким рангоутом, белоснежною трубой и сверкавшею белизной палубой.

Капитан-лейтенант Ракитин, молодой моряк, впервые назначенный командиром, еще переживал медовые месяцы власти и командования одним из лучших судов балтийского флота и щеголял безукоризненным порядком, умопомрачительной чистотой «Витязя» и «идеальной» быстротой работ на нем.

И «Витязь» приводил в восторг даже иностранных моряков.

То было время обновления и во флоте. Только что были отменены телесные наказания. Капитан умел и без жестокости властвовать командой, и его «молодцы», как он называл матросов, рвались на работах изо всех сил, рискуя из-за «идеальной» быстроты на учениях увечьями и даже жизнью ради самолюбивого щегольства и желания отличиться блестящего капитана. И он был доволен «молодцами». Они не осрамят «Витязя».

Щеголевато одетый, весь в белом, стройный и хорошо сложенный блондин лет под тридцать, красивый, с самоуверенным лицом, с шелковистыми светло-русыми усами и бакенбардами, Ракитин взял бинокль и смотрел на флагманский французский корабль. И торжествующая победоносная улыбка играла на его лице.

Он отвел бинокль и, щуря голубые глаза, кинул, обращаясь к вахтенному офицеру, мичману Лазунскому:

— У французов, верно, сегодня парусное ученье.

— И у нас будет, Владимир Николаич? — почтительно и весело спросил мичман.

— Конечно.

— Опять французы «опрохвостятся», Владимир Николаич! — возбужденно проговорил мичман.

И его юное безбородое и жизнерадостное лицо светилось счастливой улыбкой победителя.

Но Ракитину, щепетильно оберегающему свое капитанское достоинство, вдруг показалось, что мичман фамильярен, вступая с капитаном в разговоры. И Ракитин оборвал мичмана, проговорив резким тоном:

— Сигнальщик пусть не спускает глаз с крюйс-брам-стеньги адмирала!

— Есть, смотрит! — мгновенно делаясь серьезным, отвечал мичман.

— И вы посматривайте. Не прозевайте сигнала.

— Есть! Не прозеваем! — еще серьезнее, тоном служебной аффектации, ответил несколько обиженный мичман.

И несмотря на то, что сигнальщик не спускал подзорной трубы с адмиральского корабля, мичман крикнул ему:

— Хорошенько смотри на адмирала!

«Зря кричишь!» — подумал сигнальщик и крикнул:

— Есть! Смотрю!

Капитан не сходил с мостика и то и дело взглядывал на флагманский корабль, по юту которого расхаживал невысокий худощавый адмирал, горбоносый, с седой эспаньолкой, в темно-синем длинном форменном сюртуке, с отложными воротничками белоснежной сорочки, необыкновенно любезный и вежливый старик орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем.

Ракитин нетерпеливо теребил бело-русую жидкую бакенбарду в ожидании торжества «Витязя». Еще бы! Не раз уже «Витязь»

возбуждал профессиональную зависть и национальную досаду иностранных моряков и тешил самолюбие русского блестящего капитана.

Когда «Витязю» приходилось стоять в каком-нибудь рейде с французской или английской эскадрой, Ракитин, соблюдая любезность международного этикета, по сигналу иностранного адмирала делал на «Витязе» те же учения, какие делались и на чужих эскадрах. И большей частью русский корвет оставался победителем. Все на «Витязе» радовались. Даже доктор и батюшка торжествовали, что на корвете ставили и убирали паруса минутой или полминутой раньше французов или англичан.

II

— Сигнал! — крикнул во весь свой голос сигнальщик.

На крюйс-брам-стеньге флагманского корабля «Terrible» взвились три комочка и у верхушки развернулись сигнальными флагами: «Поставить все паруса».

В ту же секунду на всех судах французской эскадры поднялись ответные сигналы, и среди тишины рейда раздались командные французские слова.

— Свистать всех наверх! Паруса ставить! — неестественно громко и взволнованно крикнул мичман, срываясь с голоса, которым старался напрасно басить.

Засвистали дудки. Прозвучали голоса боцманов и унтер-офицеров.

Словно вспуганное стадо, бросились матросы к своим местам. Офицеры стремглав выбегали из кают-компании и неслись к мачтам. Старший пожилой штурман рысцой побежал на мостик, а младший тем же аллюром пронесся за ним и взял в руки минутную склянку, чтобы усчитать время маневра.

Старший офицер «Витязя», Василий Леонтьевич, маленький, кругленький, толстенький и свежий, как огурец, лейтенант, лет за тридцать, уже взбежал на мостик и расставил свои короткие ноги, подавшись всем своим корпусом через поручни.

Все стихло.

— Марсовые к вантам! По марсам и по салингам! — громко, весело, задорно и точно грозя кому-то вызовом, скомандовал густым и сочным баритоном Василий Леонтьевич.

С этой командой он бросил взгляд быстрых и острых, как у мышат, карих глаз на «француза»: побежали ли там по вантам.

Нет еще! Слава богу!

А марсовые «Витязя» уже ринулись как бешеные по натянутым вантинам. Лишь мелькали голые пятки. Одни уже были на

марсах, другие бежали выше — на салинги, когда французские матросы еще только добегали до марсов.

И шустрый живчик Волчок, как называли на баке Василия Леонтьевича, нетерпеливее и громче крикнул:

— По реям!

Белые рубахи разбежались по марса- и брам-реям, придерживаясь рукой за выстрелы (вроде перекладины поверх реи) для баланса, с такой смелой быстротой, словно бы они бежали по полу, а не по круглым поперечным деревам — реям, которые своими серединами висели на страшной высоте над палубой, а ноками (концами) — над морем.

Матросы точно и не думали, что малейшая неосторожность — и сорвешься, чтобы размозжить голову о палубу или нырнуть с высоты в море и не вынырнуть на свет божий.

— Отдавай!.. Пошел шкоты! С марсов и салингов долой!

Голос старшего офицера звучал нервнее и нетерпеливее.

Капитан, не спускавший глаз с рей, едва сдерживался от нетерпения и самолюбивого волнения. Ему казалось, что вот-вот — и позор: «Витязь» не обгонит французов...

— Сколько минут? — вздрагивавшим голосом крикнул он.

— Две с половиной! — ответил младший штурман.

«И чего эти подлецы копаются!» — думал Ракитин, словно бы забывая, с какою быстротой и с какою смелой удалью делали матросы свое трудное и опасное дело.

— Василий Леонтьич! Скоро ли?! — с упреком воскликнул капитан.

Старший офицер пожал плечами.

— И без того люди рвутся! — ответил Василий Леонтьевич.

Еще минута, бесконечная минута...

И «Витязь» сверху донизу, и с боков и впереди по бугшприту, оделся парусиной и походил на гигантскую птицу с опущенными крыльями.

По-прежнему на корвете царила тишина.

Минуту спустя поставлены были паруса и на судах французской эскадры.

Но торжество капитана было неполное.

Он сердился. Самолюбие блестящего капитана было уязвлено.

Еще бы!

Сегодня на «Витязе» поставили не с обычной сказочной быстротой, приводившей в изумление моряков, а на сорок секунд позже, и «Витязь» опередил французов только на минуту.

— Прикажите команду во фронт, Василий Леонтьевич.

— Есть!

Через минуту матросы стояли во фронте.

Быстрой и решительной походкой, приподняв голову, подошел Ракитин к средине фронта. Все глаза были устремлены на капи-

тана. В напряженных взглядах матросов была подавленность. Несколько секунд Ракитин молчал, остановив прищуренные серьезные глаза на одном матросе, стоявшем против него. И молодой марсовой еще больше и бессмысленнее выпячивал глаза на капитана.

— Не ожидал от вас, ребята! Подгадили сегодня. Копались! — проговорил капитан строго и торжественно-мрачно.

И матросы словно бы почувствовали себя виноватыми. Лица стали еще напряженнее. Эффект вполне удовлетворил капитана; и он, уж смягчая голос, продолжал:

— Смотри!.. Впредь не осрамитесь и меня не осрамите перед французами. Уверен... Вы ведь у меня молодцы...

— Рады стараться, вашескобродие! — облегченно и весело рявкнули матросы.

Капитан велел разойтись, успокоенный, что «молодцы» не осрамят его и ценят слова капитана.

III

Матросы считали Ракитина «молодчагой» по флотской части командиром.

Обрадованные «отдышкой» после прежнего капитана, типичного «мордобоя», с расточительностью наказывавшего людей линьками, матросы находили, что новый командир хоть и донимает службой и спешкой куда больше «мордобоя», но зато «добер». Дрался редко и «с рассудком», зря в штрафные не переводил «для всыпки», не очень уважал, чтобы офицеры занимались сильным «боем», и не взыскивал за пьянство на берегу.

Они, почти не знавшие отдыха и работавшие как бешеные, в самом деле поверили, что «подгадили» из-за сорока секунд и мало стараются, чтобы не осрамить капитана и не осрамиться перед «французом».

И старый боцман Терентьич, сам взвинченный словами капитана, возбужденно говорил на баке матросам:

— Ужо постарайтесь, черти! Не осрамите капитана перед французом, дьяволы! Другой по форме вышиб бы всем марсовым зубы, а капитан — «молодцы, мол»! Небось при «мордобое» лупцевали бы ваши спины, и не была бы у меня цела морда, если бы он распалился за что-нибудь... Еще счастье, что за секунд не взыскивал...

Многие марсовые успокаивали боцмана.

— Не бойся, Терентьич. Постараемся!

— Строг на спешку, а добрым словом...

— Обнадежил, значит... Молодцы, мол.

— И не зудил... Не осрами — и шабаш.

— Покажем, братцы, как закрепим паруса.

— То-то покажем! — подхватили многие голоса.

И громче и возбужденнее прозвучал голос молодого, красношекого и жизнерадостного марсового Никеева с большими ласковыми черными глазами.

IV

В то же время капитан говорил в своей каюте старшему офицеру:

— Надеюсь, Василий Леонтьич, мы утрем нос французам при уборке парусов... Не подгадим. Прикажете сигару?

— Благодарю... я папироску... Чем же подгадили, Владимир Николаич? Разве что на сорок секунд позже закрепили... Невелико опоздание...

— Невелико, а могло его не быть, Василий Леонтьич... И не должно быть... У нас команда — молодцы! С ними можно и без порки... Умей только понимать психологию русского матроса... Я, слава богу, знаю его! — самоуверенно произнес Ракитин.

— Золотой народ! — горячо проговорил Василий Леонтьевич. И виновато прибавил: — Иногда и ударишь... привычка... Но если за дело — не обижаются.

— А все лучше бы господам офицерам полегче... Того и гляди еще в «Колокол» попадем... Неловко...

Шпилька была направлена в старшего офицера.

Он понял, но ничего не сказал:

— Кто это мог сообщить про бывшего командира «Витязя»?.. Читали?

— Читал... А кто сообщил — и не думал.

— Пожалуй, младший механик Носов отличился. Тоже либерал этот сынок старшего писаря! — с презрительным высокомерием проговорил Ракитин. И, поморщившись, продолжал: — В кают-компании он проповедует глупости... Какой-то механик, а тоже... Вы, Василий Леонтьич, не очень-то позволяйте этому механишке... Мы на военном судне... Чтобы он и не думал заниматься обличительной литературой... Живо сплавлю! — прибавил капитан, с каким-то особенным удовольствием подчеркивая о своей власти «сплавить».

Василий Леонтьевич далеко не уважал этого «бесшабашного карьериста», каким считал Ракитина. Он возмущался и его требованиями какой-то сказочной быстроты, и его высокомерием, и хвастовством, что может офицера сплавить, и самомнением человека, воображающего, что он один сделал «Витязь» таким образцовым судном, и пролазничеством, и нахальством...

«Ишь задается хлыщ! И мне еще ни за что делает выгово-

ры!» — подумал старший офицер. Он вспыхнул и, сдерживая себя суровой школой дисциплины, официально-сухо ответил:

— Андрей Петрович Носов,— нарочно назвал старший офицер механика по имени и отчеству,— не говорил в кают-компании возбудительных речей, за которые я был бы вправе его остановить. А что он говорит в своей каюте или на берегу, до этого мне нет дела. Я старший офицер, а не сыщик-с! И если вам угодно не позволить ему писать, коли Андрей Петрович пишет, то извольте ему приказать или прикажите мне передать ваше приказание...

Блестящий капитан дорожил Василием Леонтьевичем, как отличным старшим офицером, понял свою бестактность перед ним и в первое мгновение был огорошен словами Василия Леонтьевича, казалось, недалекого и покладливого служаки.

Тем было досаднее Ракитину, что он не смел оборвать старшего офицера, который так настойчиво противоречил капитану и отказался исполнить его приказание, выраженное в форме совета.

И Василий Леонтьевич, видимо не желавший сближения с Ракитиным с первого же дня его командирства, вызывал в капитане теперь злобное чувство мелкой самолюбивой душонки.

Струсивший служебного разрыва, Ракитин и не показал вида неудовольствия. Напротив, словно бы удивленный, он самым любезным товарищеским тоном, желая очаровать старшего офицера, проговорил:

— Да что вы, Василий Леонтьич?.. Извините, если я вас без намерения обидел... Я и не думал делать вам замечания... И не имею повода... На днях слышал с мостика через открытый люк кают-компании слова механика, и мне показалось... Вас, верно, не было... Я ведь знаю, что вы не допустите чего-нибудь предосудительного... Точно я не знаю, какой вы идеальный старший офицер и незаменимый помощник, Василий Леонтьич!

«Экий подлец! Без всяких правил»,— подумал Василий Леонтьевич.

И, сам честный человек, имевший правила, от которых не отступал, он смягчился от комплиментов и извинения блестящего капитана.

— Я в частном разговоре, по-товарищески, высказал вам, Василий Леонтьич,— говорил капитан еще мягче и вкрадчивее,— свое мнение о механике.

Пустив душистым дымком хорошей гаваны, продолжал:

— Между нами говоря, не люблю я штурманов, механиков и артиллеристов... Порядочные таки хамы...

И сколько презрения к этим париям флота было в тоне Ракитина и сколько уверенности, что старший офицер вполне с ним согласен!

Хотя и Василий Леонтьевич не был лишен кастового пред-

рассудка, но далеко не был таким ненавистником офицеров корпусов, как Ракитин.

И старший офицер сказал:

— Наши штурмана, механики и артиллерист достойные офицеры, Владимир Николаич!

— Еще бы были у меня лодыри!..

— И вполне порядочные люди... А если не особенно показные... не светские... Так ведь это, я думаю, не порок, Владимир Николаич! — проговорил Василий Леонтьевич.

— Очень рад слышать такой отзыв... Значит, наши... приятное исключение...

Наступило молчание.

Старший офицер поднялся с кресла и спросил:

— Я вам больше не нужен, Владимир Николаич?

— Нет, Василий Леонтьич...

Когда Василий Леонтьевич вышел из каюты, Ракитин ненавидел своего старшего офицера.

V

На флагманском корабле поднят был сигнал: «Убрать паруса».

Матросы «Витязя» превзошли ожидания даже Ракитина. Они уже кончали крепить марселя и брамселя, когда французские матросы еще только расходились по реям.

— Экие бабы! — произнес с веселой улыбкой капитан и стал смотреть на реи «Витязя».

Марсовые точно волшебством забирали мякоть подобранных парусов марселей и связывали их сезнями (бечевами), упираясь ногами на перты — веревки, протянутые вдоль рей.

Обещавшие не «осрамить» капитана, марсовые с возбужденными, вспотевшими и раскрасневшимися лицами торопились, словно обезумевшие, для которых мгновение — сокровище. Казалось, в эти секунды они не знали чувства самосохранения и забыли, что тонкие веревочные перты, качавшиеся от движения сильных и цепких ног, были опасной опорой, требующей осторожности и владения нервами.

А восхищенный капитан, предчувствовавший торжество победы, только любовался, как бешено рвутся и «идеально» крепят марселя «молодцы», покачивающиеся на высоте рей.

Старший офицер, напротив, взволнованный, с тревогой смотрел наверх. Бешеная торопливость марсовых возбуждала опасения, и совесть его была неспокойна. И он взволнованно крикнул:

— Марсовые! Осторожнее! Крепче держись, братцы!

Ракитин метнул на старшего офицера злой взгляд и насмешливо кинул ему:

— Марсовые не бабы, Василий Леонтьич!

— Люди, Владимир Николаич! — значительно и возбужденно ответил он.

— Знаю-с, что люди! — надменно сказал капитан, краснея от негодования, что его учат.

И только что он это сказал, как перед его глазами с грот-марсареи сорвался человек.

Что-то белое ударилось о ванты, отбросилось вбок и звучно шлепнулось о палубу.

Ни крика, ни стона.

Работавшие на шканцах матросы ахнули и отвернулись от недвижного человека, вокруг которого палуба окрасилась кровью.

Голова была размозжена, но красивое молодое лицо марсового Никеева уцелело. Большие черные глаза выкатились, померкнувшие в застывшем взгляде ужаса.

Многие торопливо перекрестились.

Грот-марсовые невольно взглянули вниз и снова стали вязать сезни.

Безумный пыл исчез. Явилось вдруг чувство самохранения.

— В лазарет человека! — скомандовал старший офицер.

Голос его дрогнул. Василий Леонтьевич не смотрел на убитого.

Боцман Никитич уже прикрыл размозженную голову, и двое шканечных отнесли Никеева вниз. Матросы отводили глаза от убитого, крестились и снова трекали снасти. Офицеры поторапливали. Прибежал бледный и испуганный судовой врач. Какой-то старый баковый матрос, забулдыга и пьяница Кобчиков, крепивший кливер, промолвил вполголоса:

— Тоже спешка. Вот и спешка!

— Молчать! — окрикнул первый лейтенант, распоряжавшийся на баке.

Работы горели.

— Марсовые с марсов и салингов долой! — скомандовал Василий Леонтьевич.

В его команде не было прежнего возбуждения. Убитый не выходил из его головы.

«Витязь» был победителем.

Еще на французской эскадре не были убраны паруса, а «Витязь» красовался с оголенными мачтами. Снасти были убраны.

Несмотря на торжество русского корвета, на палубе стояла зловещая тишина только что бывшего несчастья.

Потрясенные матросы притихли и угрюмо молчали, стоя у своих снастей.

Только забулдыга Кобчиков тихо говорил с иронической ноткой в сиплом пропитом голосе двум товарищам:

— А вы рвись, такие-сякие... Подыхай из-за секунда!.. Зато

молодцы! А ему начхать, что Егорка расшибся... Ты погляди, что ему... Это не Волчок... У того душа!

Действительно, блестящий капитан был под впечатлением торжества.

Напрасно он старался принять озабоченный вид. В его еще торжествующем лице было лишь выражение досады, когда он произнес, обращаясь к старшему офицеру:

— Экий неосторожный матрос...

И, не получив ответа, спросил:

— Кто сорвался, Василий Леонтьич?

— Егор Никеев... Уже второе несчастье в течение месяца! — взволнованно-сердито проговорил старший офицер...

И скомандовал:

— Подвахтенные вниз!

Капитан, раздраженный и еще выше поднявший голову, ушел в каюту.

Разговаривая между собой, офицеры спускались в кают-компанию.

Мичман Лазунский вскочил на мостик, вступая на вахту.

Расстроенный и грустный, словно бы желая поделиться с кем-нибудь тяжелым настроением, он сказал старшему офицеру:

— И если бы вы знали, Василий Леонтьич, какой был славный Никеев!

— Знаю. Всякого было бы жаль. Человек! — раздумчиво и серьезно промолвил Василий Леонтьевич.

— Еще бы... Конечно, всякого, Василий Леонтьич...

И, мгновенно вспыхивая, чуть не со слезами в голосе, точно боялся, что Василий Леонтьевич может дурно подумать о мичмане, Лазунский торопливо и застенчиво прибавил:

— Вы не подумайте обо мне, Василий Леонтьич, будто я...

— Что вы, что вы, Борис Алексеич?.. Я думаю... я уверен, что вы славный юный мичман... Таким и останьтесь, когда будете капитаном! — ласково сказал Василий Леонтьевич... И уходя, прибавил: — Панихида будет в одиннадцать... Дайте знать капитану в одиннадцать... И половину вахтенных отпустите вниз...

— Есть, Василий Леонтьич! — ответил мичман.

А глаза его говорили:

«И какой добрый этот Василий Леонтьевич».

VI

Через полчаса старший офицер прошел в лазарет. У двери стояла толпа, ожидая очереди. В маленькой каюте лазарета толпились матросы, пришедшие взглянуть на покойника и, перекрестившись, поцеловать его лоб.

Уже обмытый и одетый в чистые штаны и рубаху, с парусинными башмаками, он лежал на койке. Голова покоилась на подушках. Глаза были закрыты, и уже мертвенно пожелтевшее лицо казалось спокойным, с тем выражением какого-то важного недоумения, которое часто бывает у покойников. Образной читал псалтырь.

Василий Леонтьевич постоял минуту-другую, не спуская глаз с покойника, потом перекрестился, поклонился ему и вышел, испытывая тяжелое чувство виноватости.

— Послать ко мне в каюту боцмана! — приказал вестовому Василий Леонтьевич.

Через минуту Никитич вошел в каюту старшего офицера.

Василий Леонтьевич велел покойника перенести в палубу перед образом и сказал, что панихиды будут два раза в день, а через день его похоронят на французском кладбище.

— Чтобы взвод провожал, и может идти на похороны кто пожелает.

— Есть, ваше благородие...

— Да вот еще что, Кириллов... Узнай, из какой деревни покойный Никеев и живы ли у него родители?..

— Никого у его в живых, ваше благородие...

— Так, может, близкие кто у него на родине?..

— Точно так, ваше благородие, и по той причине дозвольте разрешить...

— Что?

— Собственные вещи Никеева отправить на родину. Покойник беспременно наказывал своему земляку Иванову... Ежели, говорит, случаем расшибусь, отпиши в Кронштадт и без промедления отправь вещи...

— Хорошо. Я отправлю. А какие вещи?..

— По малости бабьи гостинцы, ваше благородие! На платье штучка, два колечка, платок и сорок франоков... Покойный не занимался вином, ваше благородие.

— Ладно. Принеси мне. И адрес дай.

— Очень благодарны, ваше благородие... Душевный был матросик. Простой. Вся команда жалеет... Горяч был на работе. Из-за горячности и сорвался. Хвастал не осрамить капитана. И не осрамил, ваше благородие!

— А кому же послать?.. Кто она?..

— В законный брак с ей собирался, ваше благородие, как «Витязь» вернется. Той самой невесте и копил гостинцы. Пригвоздила, значит, покойного Егорку эта вроде не то, с позволения сказать, вроде девицы, матросская дочка. И сама пригвоздимшись... Три года с им зналась, как мужняя жена... И часто отписывала ему... Только и была близкая ему.

— А отчего Никеев, такой молодец, думал, что убьется?..

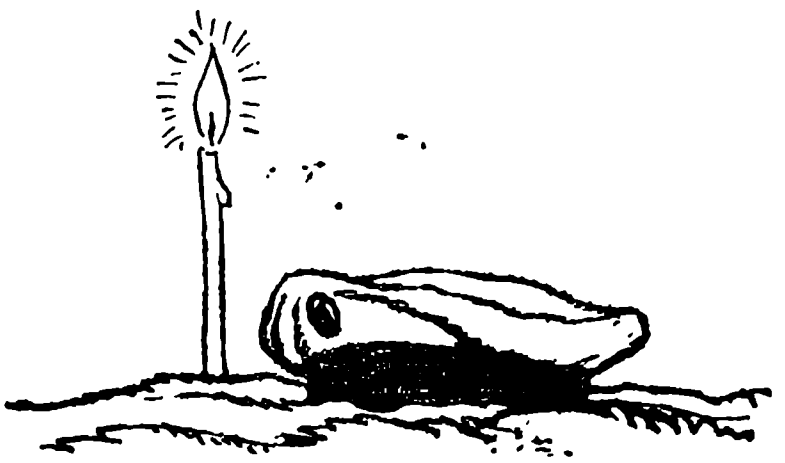
— Так, зря болтал, а вышло быдто чуял судьбу, ваше благородие... Азартный был сердцем. А капитан еще давеча приказывал не подгадить... И лестно так... Никеев и распалился... И дозвольте, ваше благородие, еще доложить...

— Что?.. Говори!

— Очень эта спешка самая может извести команду... Так попросили бы командира... Он добер... Даст ослабку, ваше благородие...

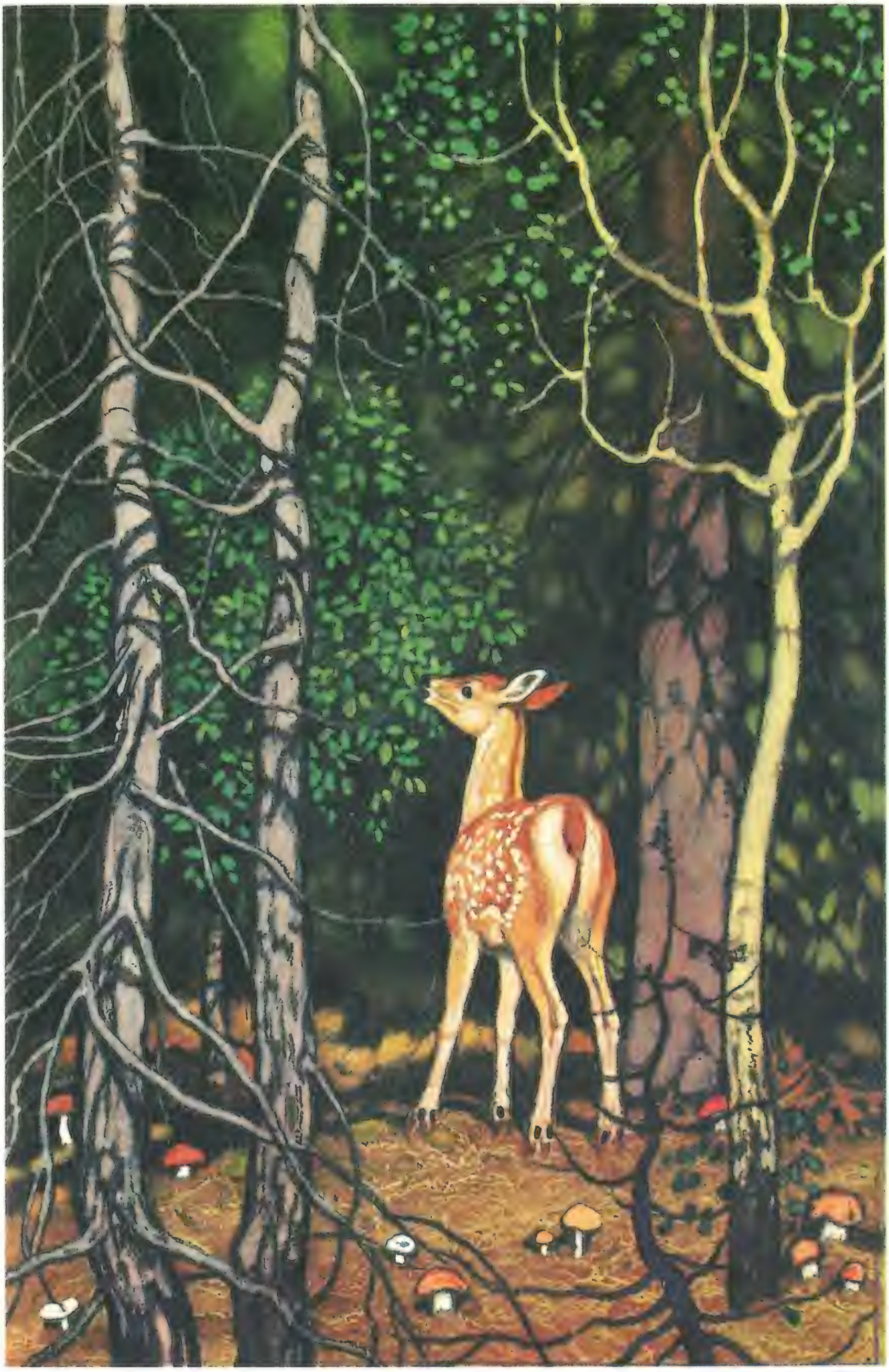
Василий Леонтьевич сморщился и обещал поговорить.

После похорон матроса старший офицер осторожно поговорил с капитаном... и разговор кончился тем, что Василий Леонтьевич на другой же день списался с корвета и уехал в Россию.

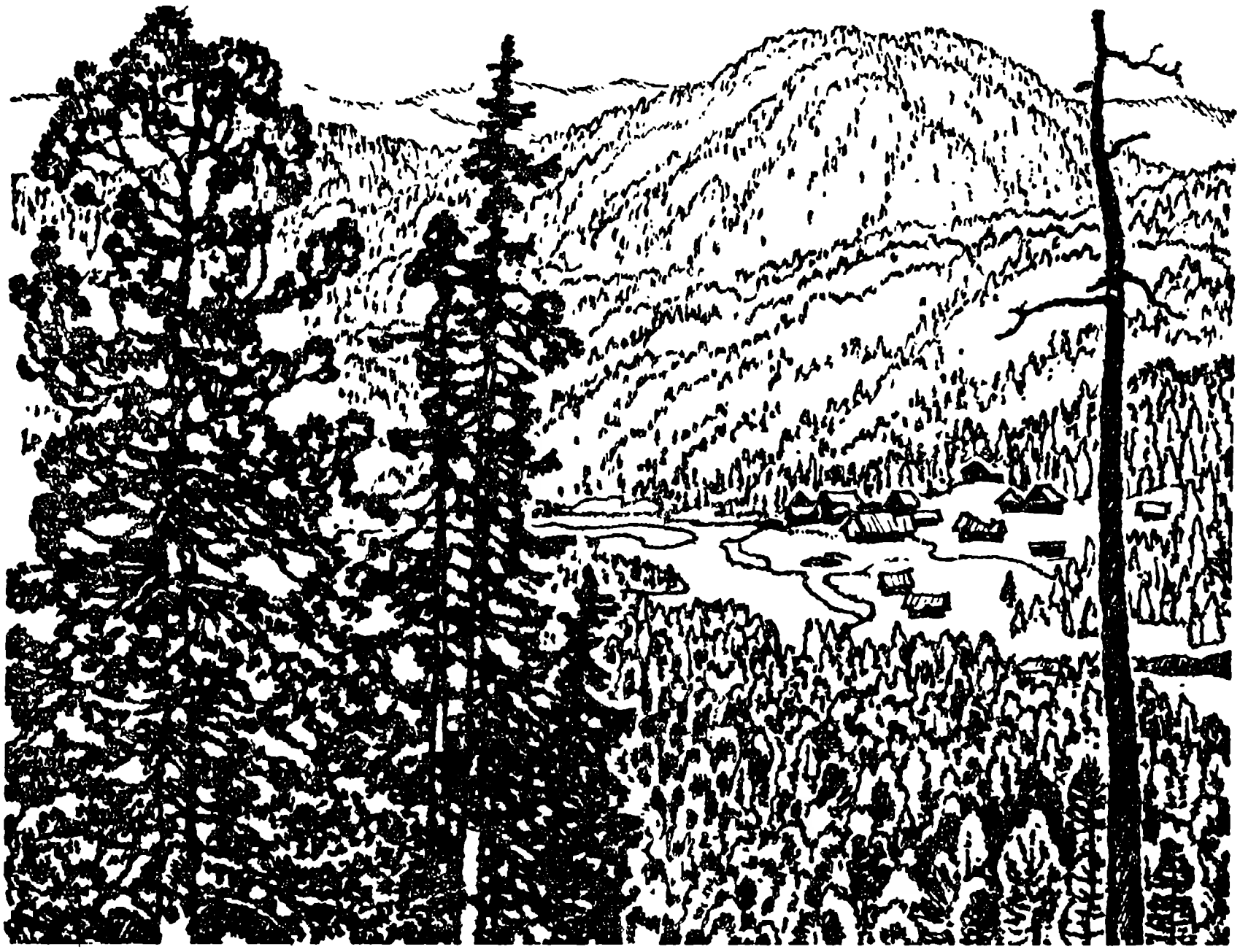


Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Рассказы



К стр. 502



ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет

улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!..— с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером.— Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук,— ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню,— больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка...— думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть.— Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длин-

ными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался,— говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня...— говорил Емеля внуку на прощанье.— За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком,— все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нем с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи...— говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали другие охотники»,— думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвис-

тые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет,— рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью.— Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком,— думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт.— Сегодня утром был здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка... И непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугли-

во смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит»,— думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка,— шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками, красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул,— маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун...— говорил старик, задумчиво улыбаясь.— Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу,— только его и видел. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук,— прибавил Емеля, кончив рассказ.— Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь,— это просился Музгарко, небольшая пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!..— заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой.— Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!..— обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял,— отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!..— ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз.— Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня.— Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись,— ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой.— Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит,— объяснил

старик собаке на ходу.— Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось,— лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик.— Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу.— А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет,— объяснил старик собаке.— Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму,— думал старик вслух, постукивая топором в стену.— А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солновосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко,— говорил старик, гладя собаку по спине.— Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все

смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной,— смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем,— вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя,— что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками,— одним словом, пришла беда неминучая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к

знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники.— Там на реке Студеной зимовье,— так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство...— замялся Елеска.— Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли,— объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком.— А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с то-

бой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была — не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил,— какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати,— где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в Петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро,— два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина — как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик.— Проспал обоз... ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял,— заметил с грустью старик.— И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других,— шла дорогая печорская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и

спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— А бог мне ее послал... Не ладно это про пса говорить, а только оно похоже. Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку — все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай,— ни-

чего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь — перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволенье... Человеку так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволенье, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка,— весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка,— весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями.— Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку.— Только твоего и ремесла, што лаять... А вот ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой...— плачет старик и целует верного друга.— Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до Крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке,— Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко...— повторял несчастный старик, целуя мертвого друга.— Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарко, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарко. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

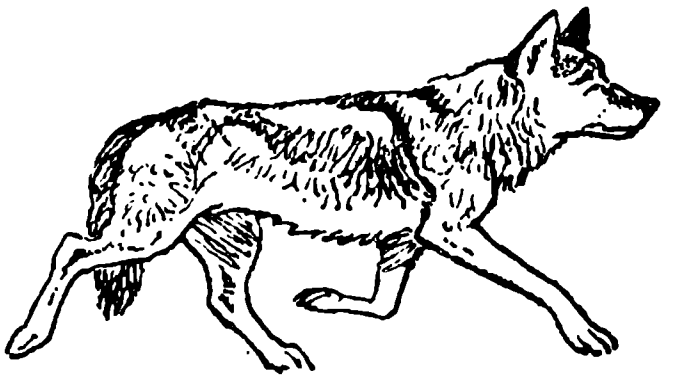
Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей взлаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется.— Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.



ПОСТОЙКО

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома,— его выпускали погулять в это время.

— А ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой.— Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, свернутый кольцом, ощетинился и смело пошел на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть равнодушно кудластого дворового пса, а тот в свою очередь сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных

собак. Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стремглав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все было еще заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами,— пропищала болонка, сторонясь от уличных собак.— Моя генеральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и Постойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спокойнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обратилась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом.— Здесь так грязно, а я не привыкла... Наконец какое общество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь отвратительно...

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмотрел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня,— ответил за него один из мопсов, приятно оскалясь.— Случилось простое недоразумение... Мы все попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку,— откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился от страха.— Я уже раз был на выставке и могу сказать, что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там повесят,— сообщила она приятную новость всей собачьей компании.— Я даже

видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно...— запищала болонка.— Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза.— Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услыхал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он хотел подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят,— думал Постойко,— только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится больше всего только о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решеткой отворялась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой,— сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон все катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой...— заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я, по крайней мере, не имею никакого желания болтаться на веревке... Впрочем, меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался

такой жалобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон,— хвастался верзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам...— приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка.— Выпустите меня, пожалуйста: мне уж надоело сидеть в вашем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.

— Вот невежа!..— ворчала болонка.

Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, там поднялись такой лай, визг и вой, что сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фургона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление новичка на время утишало бурю. Последним был выведен водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью встречали новичков сидевшие в заключении собаки,— точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и ласкали, как родных. Постойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?

— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Постойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай и вздергивали на веревку. Постойко был ужасно огорчен: оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужасно... И все из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но все-таки утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить всего один день,— сообщал Барбос.— А вот той, пестрой,— сегодня...

— А тебе?

— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка... Кушанье, прескверное, но приходится жрать всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты все-таки закуси,— советовал Барбос.— Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря — увидал деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть, и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойка с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласкала,— они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках.

— Что же, можно и в городе жить,— согласился Барбос.— Только я одного не понимаю: за что такая честь этим моськам и болонкам? Даже обидно делается, когда на них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы — те другое дело. Положим, они важничают, но все-таки — настоящие собаки. А то какая-нибудь моська!.. тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в очередь, а ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто-нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто несправед-

ливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы задал моськам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смотритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби»,— объяснила горничная.

— Я здесь,— запищала жалобно болонка.

— Ну, слава богу,— обрадовалась горничная.— А то генеральша пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.

— Вот видишь,— заметил сердито Барбос.— Всегда так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и холят.

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто колотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом все смолкало разом, когда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в нее врывался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом,— он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришел!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин.— То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете,— с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут...— говорил он утром.— Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут,— успокаивал его Постойко.— Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов,— говорили с отчаяньем эти добрые собачьи глаза.— Всего несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!..— крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведенный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его,— сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже: еще два дня, и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги, и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаянья он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть?

— Да масти нет никакой... так,— хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите,— уж я узнаю...

— Ее Постойком зовут,— прибавил детский голос.

Постойко не поверил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш! — заговорила Андреевна, указывая на него.— Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойке,— говорил смотритель.— Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

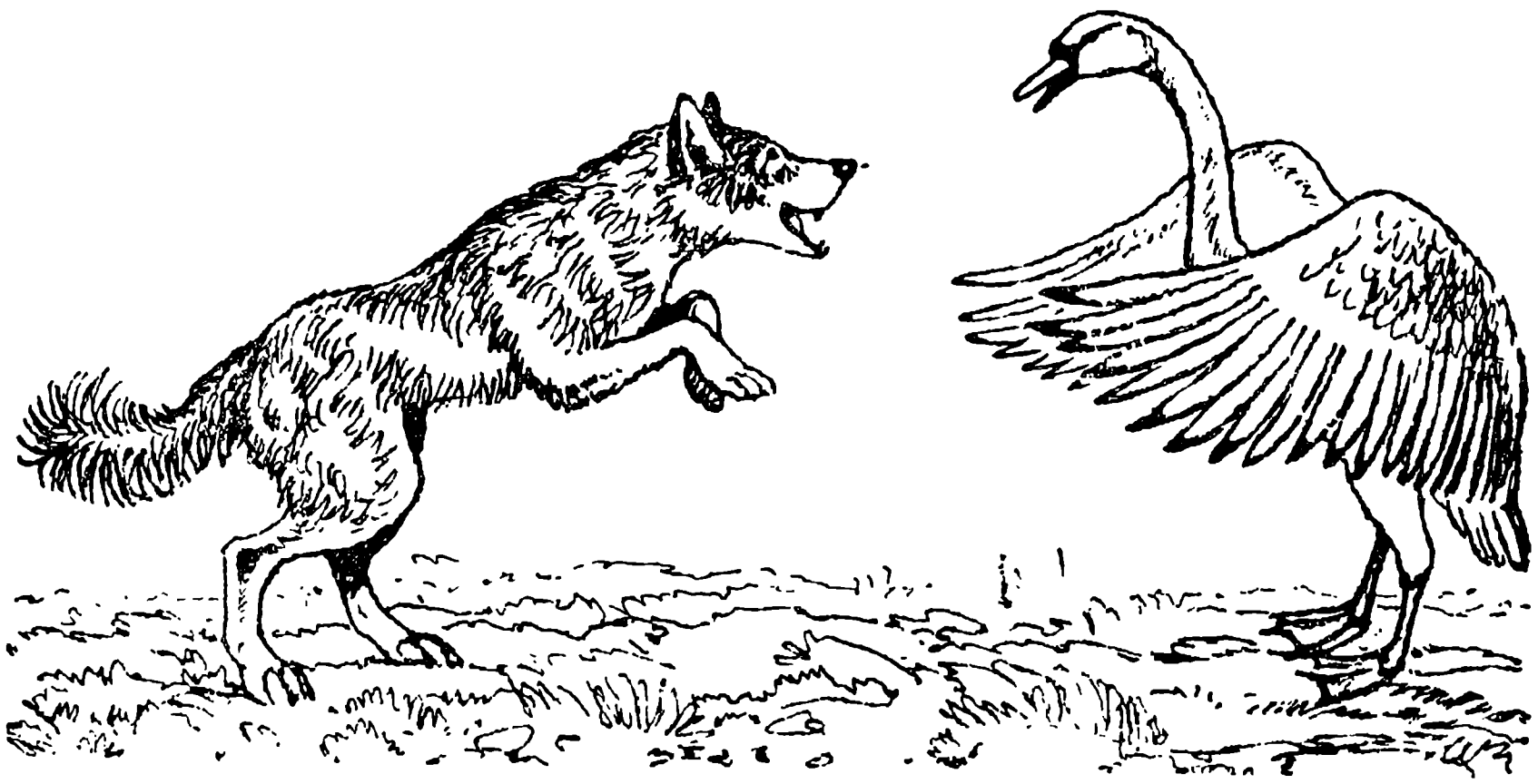
Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал Аргуса.

— Прощай, братец,— проговорил он, виляя хвостом.— Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли...— уныло ответил Аргус, провожая счастливца своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около нее Постойке.— Смотри у меня, пострел.



ПРИЕМЫШ

Из рассказов старого охотника

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме[1] Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы, еще немножко — и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излу-

---

[1] Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (*Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

чине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса,— на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой,— это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся,— а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Во-

да в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух.— Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя,— одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу.— Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за *Приемышем* плавал, за лебедем... Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет, а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка...— заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу.

Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

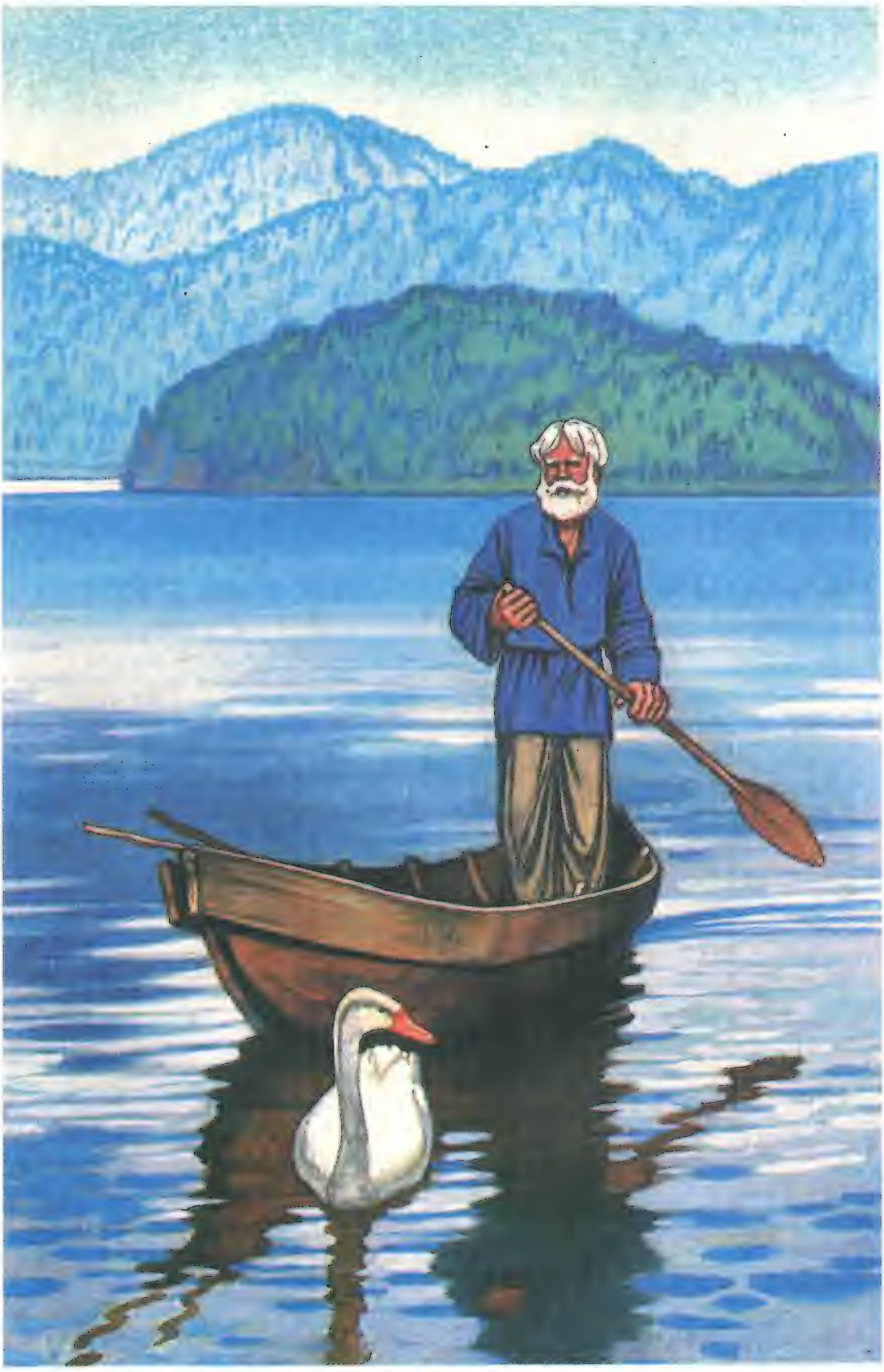
Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым,— вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине нескольких сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати верст да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, а Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли.— Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Все у меня есть. И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..



К стр. 526

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица,— объяснил он.— Помани его кормом, да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой карахтер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи,— говорил старик на прощанье.— Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он казался те-

перь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Соболько́м остались одни... Да, не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру,— я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот все равно как человек то́скует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

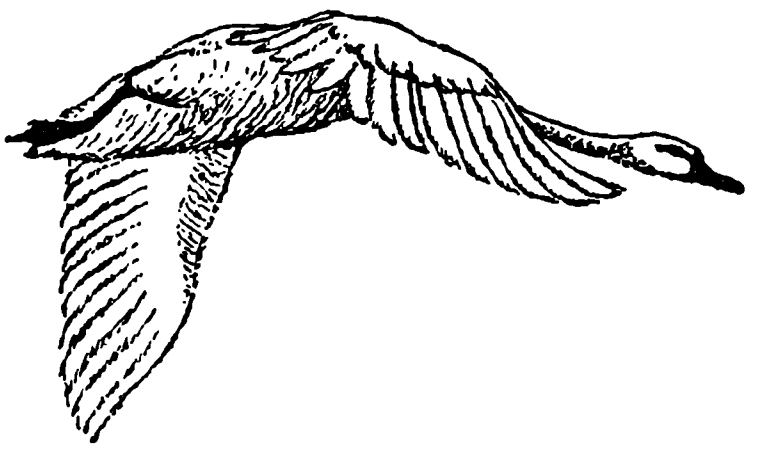
— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята,— отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить,— с грустью заговорил он.— Все

равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Соболько́м одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.



В ГЛУШИ

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия Шалаевы. Собственно, даже и фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду по книге записывать? — говорил священник.— Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами,— две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку,— объяснял староста,— все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать,— советовал священник.— Оно для вас же удобнее.

— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испо-

кон веку и друг дружку знаем... А покойников на том свете господь батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки,— избы стояли на самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, благо, лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям[1] или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно было видеть разлив реки Чусовой верст на пять, потому что она делала здесь довольно тихое плесо. Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света. Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат.— О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Невелика радость!..

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку? Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки[2] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец — Егор, да второй брат — Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти

[1] Широкие поляны в лесу. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» — «деушка». *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать Авдотья управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем» умом. С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень, и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна и стала «не совсем» умом. Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так — все равно, что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет?..

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он напугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки — тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его на работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавляли бревна на нижние пристани. Работа была нелегкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же и сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно,— в лесу «блазнит», как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться на Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под

ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка,— коротко объяснял он.— А ты, главное, ничего не бойся... ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает... А ежели что,— ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело. Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастать своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет,— объяснил он Пимке.— И всё покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай!.. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад и, вместе, побаивался. В курене, конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, собачьего меха «ягу»[1], «пимы»[2], собачьи «шубенки»[3], такой же треух-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровской завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты, смотри, Пимка, не застудись... В балагане будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка,— весело отвечал Пимка.— Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем[4].

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим,— объяснял отец.— Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый,— и будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорище, бабам — корыта и вальки,— все нужное. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку. Ах, прокурат!.. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

---

[1] Шуба шерстью наружу. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Валенки. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[3] Рукавицы. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[4] Залобовать — убить. *(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров-долготья, обложенными сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай!

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь,— говорил он.— Что, озяб?.. Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери, в углу, был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощенье? — шутил Акинтич.— А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник,— галдели набравшиеся в

балаган мужики.— Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся — не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, кто как мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать,— шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена.— Вот мы тут зеленого пуху настелем,— спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики.— Это он намерзся дорогой-то, да прямо в тепло и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас,— все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее — не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейни-

ки, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные,— до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных,всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большею частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только,— ворчал солдат Акинтич, отвыкший за время своей солдатчины от тяжелой куренной работы.— Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани... Весь точно из трубы сейчас вылез!..

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню,— поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое время были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой.

В праздник работать грешно, и все убивали время как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улице». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат,— упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунка. Ну, эта еще помудренее: как свистнет,— и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула,— значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку,— в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь...

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь,— вот и все. В баню хоть каждый день ходи... Одежа на тебе вся чистая, а еда до отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— Ах ты, боже мой!.. И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу,— вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему, плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой,— и огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно это все...— говорил дедушка Тит.— Напьюсь это я

твоего чаю, наемся штей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка,— говорил солдат.— Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Курен-ные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городу все трубки курят, да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу! Врет он все...— не верил дед.— Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка,— объяснял солдат.— Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситца, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед.— Раньше без ситцев жили, а сукна бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть... Может быть, солдат-то и не врет. Вон он рассказывает, что есть места, где и зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел

партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил на́большого в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть ли не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся. Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым,— наговаривал Акинтич,— и опять, того, страшенный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков, и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается...— ворчал дедушка Тит, качая головой.— Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли,— всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил,— говорил отец Пимки, почесывая в затылке.— Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит.— Так, баловство одно, а может, и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат зубы заговаривать...

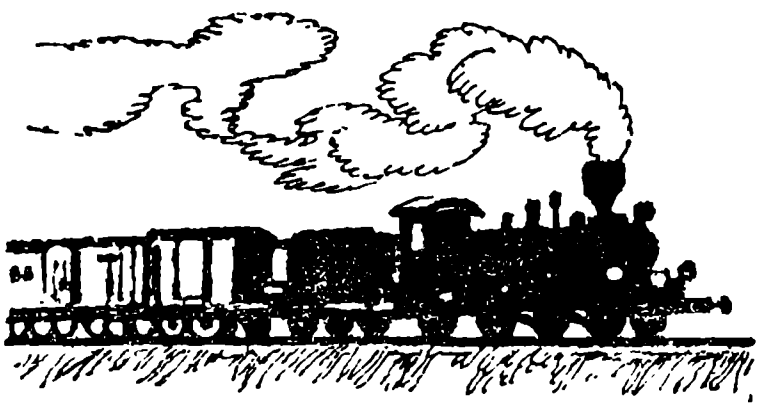
Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь были и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

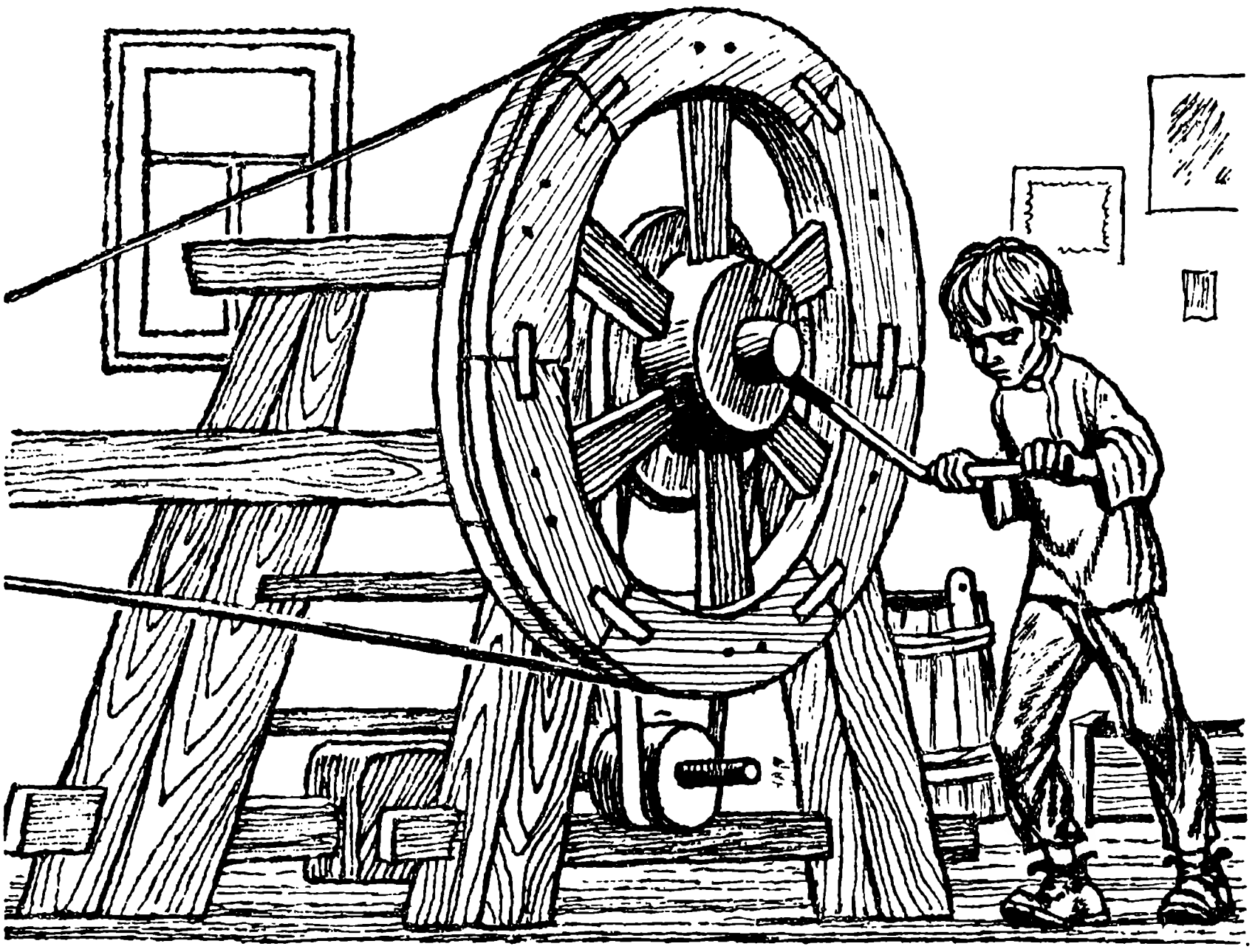
Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки. Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здрравия желаем!!!...





ВЕРТЕЛ

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя

кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле.— Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит, и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?.. Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него,— вот и конец делу. Будет,— одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию.— Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю: своими руками»...

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч.— В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забегал по

десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ,— именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель.— Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин,— отвечал за всех Ермилыч.— Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько,— наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина,— на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги,— вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал *фасетки* (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш,— ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна.— Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да...— говорил сам Ухов.— Ужо новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедом своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город моро-

женых свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!..— думал он вслух.— И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольской экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет,— настойчиво повторяла дама.— Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту,— объяснял Алексей Иваныч.— Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается,— объяснил Ермилыч,— и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше,— объяснял он,— а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит,— его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуется мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук,— объяснил Прошка.

— Дай-ка я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама.— Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую,— я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку.— Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч.— Круглый сирота,— ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково,— уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов.— Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь,— как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком,— просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего,— с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка,— пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч.— Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит,— соображал Спирька.— А Алексей Иваныч охулки на руку не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч.— У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «ве́ртел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо,— ну, и вышел: *ве́ртел*. Не *верте́л*, мама, а *ве́ртел*.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я выросту большой,— раздумывал Прошка за работой,— тогда я околочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему,— умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек,— и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

— Убегу!..— решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил.— Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу.

Прошка думал целые дни,— вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина,— пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же ве́ртелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы,— они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут уж

воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую,— и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень,— зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего,— ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему,— значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой,— наказывал он Прошке еще с вечера.— Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди,— из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он под-

ходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, ве́ртел!..— приглашал он Прошку.— Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну, показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький!.. Настоящий цыпленок.

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренно торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она наконец.— Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом, и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю,— по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя.— Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками,— настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. Но я уж не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами. Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя. Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя,— говорила она сыну,— этот мальчик уж с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Иванычем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец, Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спросил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный.

Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно,— ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков своей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посыла Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть ве́ртелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна.— Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если бы ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед Рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадоч-

ным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна...

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше...— упрямо отвечал Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч.— Вот ему и не хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вёртел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

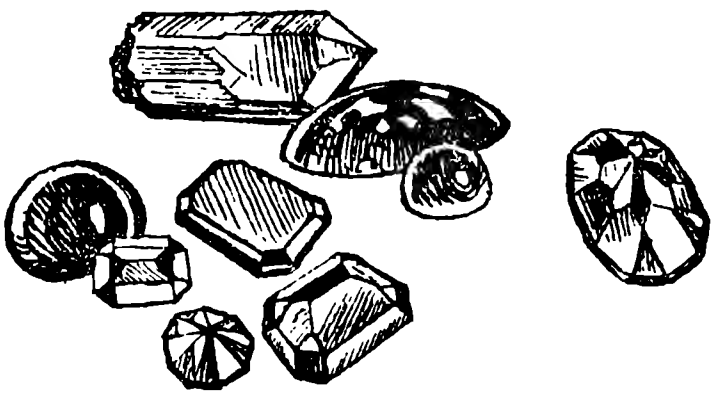
А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно придавленный своею болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.



СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

I

— Хозяин что-то замышляет,— заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю что! — чирикнул с вербы старый Воробей.— Ну-ка, догадайся, умная голова?.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное *ку-ку-реку!*

— Ах, глупый горлан!..— смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем.— Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями

принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил отец, вбивая последний гвоздь.— Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!..— гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору.— Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый Воробей.— Это мне квартиру приготовляют... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробьиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал к ней старый Воробей.— Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только я один должен был скитаться где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут...— кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську.— Ты зачем пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так...— согласился Петух, тоже недолюбливавший кота Ваську.— Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником

и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды. Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка,— тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей.— Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьиха.— Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели.— То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворечника, старый Воробей весело распушил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу.— Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри,— учил его отец.— На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей сверху.— Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару!..

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники,— решил старый Воробей со свойственным ему великодушием.— Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи.— Подарил племянникам какую-то щель... Вот ужо посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, видавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался— э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть,— рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика.— Я — заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы,— что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей.— Глупая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют...— заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню.— А ты только умеешь воровать.

— По-ют? Это называется петь? — изумился старый Воробей.— Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз,— прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде по-

чернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит,— жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц,— настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал старый Воробей своей Воробьихе еще с вечера.— Утром налетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки,— эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай, воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьиха спит сладко-сладко.

Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая голову в оконце.— Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик

Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!..— благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь.— Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали,— только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь,— ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух.— Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей.— Погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьиха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробьиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробьиха.— У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели

скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеялся.— Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех.— Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я умнее вас... А главное-то: я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух,— тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь,— заметил Петух, подмигнув скворцам.— Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов,— воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?..— возмутился старый Воробей.— Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где он,— там и я. Да... И притом я — совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это наконец просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, третий в курятнике сидит... Я — вольная птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга — человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя,— решил Петух.— Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше — такой веселый и довольный.

— Это я, братцы,— прочиликал он, принимая гордый вид.— Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа,— в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьиха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьиху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его,— бормотал Петух глубокомысленно.— Как будто и недостает чего-то... Бывало, все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.

БОГАЧ И ЕРЕМКА

I

— Еремка, сегодня будет пожива...— сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру.— Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы,— трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье,— посмеивался Еремка.— И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж, видно, вам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттеплело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинавшую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива...— повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце,— рассуждал Богач, продолжая одеваться.— А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел

небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клади, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору,— говорил Богач смотревшей на него собаке.— Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот обойду по загуменьям, да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач.— Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь!— ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,— ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги.— В такую непогодь и зайцы по своим

логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хоть прощенья у него проси,— вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!..— торжествовал старик, продолжая свой обход.

И, удивительное дело,— каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле,— и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!..— закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!

II

— Ну и оказия!..— удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку.— Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка,— и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча...— ворчал старик.— Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай...— объяснял ему Богач.— Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу...— думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху,— объяснял Богач.— Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его...— уговаривал он собаку, грозя пальцем.— Понимаешь: хворый он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия...— думал Богач, ворочаясь с боку на бок.— Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышленыш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просы-

пался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!..— ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин,— корил его старик.— А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка,— наказывал он Еремке.— Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик.— А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба...

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!..— хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала?

— Как не видать... Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц,— вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха...— думал он вслух.— И в самом деле,

надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится,— тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим,— говорил ему Богач.— Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец,— удивлялся Богач.— По-ребячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик.— Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку.

Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног,— и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле...— посмеялся над ним Богач.— Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой!..

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь.— Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на

печи.— Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный...— журила она его.— Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать,— согласился Богач,— небойсь вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик.— Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно,— объяснял Богач.— По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел,— объяснял Богач пригорюнившейся девочке.— Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется,— объяснял Богач.— Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка...— говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик.— Ишь как сразу зазнался, косой...

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, немного дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой...— утешал Богач Еремку.— Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки.— Так и есть... Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу.— Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо,— пошутил кто-то.— Мы стреляем только своих...

— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач,— пошутил еще Терентий.— Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес...— решил он.— Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач

отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться...— ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

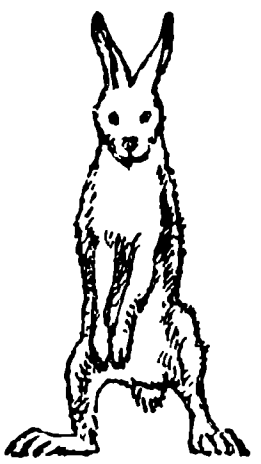
«Ну, будет Еремке пожива...» — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своём месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше...— коротко объяснил он.



ПРИМЕЧАНИЯ

С. Т. АКСАКОВ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Книга вышла первым изданием в 1858 г. в Москве. Авторское предисловие «К читателям» обращает внимание на то, что она продолжает «Семейную хронику», появившуюся в 1856 г. Но «Детские годы...» столь же тесно связаны и с «Воспоминаниями», изданными вместе с хроникой, хотя в них рассказ ведется не от лица вымышленного Багрова, а от имени самого С. Т. Аксакова.

Все подстрочные примечания в тексте принадлежат автору.

Стр. 42. Домашний лечебник Бухана — книга английского врача Вильяма Бухана. На русский язык переведена в 1790—1792 гг.

Стр. 44. «Зеркало добродетели» — соч. Кейля «Зеркало добродетели и благонравия для детей», перев. с немецкого в 1794 г.

Стр. 45—46. «Призиательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик» — рассказы «Награжденное сострадание» и «Сам себе служащий мальчик» из «Зеркала добродетели».

Стр. 46. «Детское чтение для сердца и разума» — первый детский журнал в России. Выходил как еженедельное приложение к газете «Московские ведомости», издававшейся в 1785—1789 гг. Н. И. Новиковым.

Стр. 60. Михайлушка — Михаил Максимович, дед поэта-шестидесятника М. Л. Михайлова.

Стр. 84. «Сонник» — книга «Сонник, или Истолкование снов, приключающихся спящим людям».

«Драматическая пустельга» — комическая пьеса Н. П. Николева «Приказчик. Драматическая пустельга с голосами в одном действии».

Стр. 91. Княжевич Максим Дмитриевич — губернский прокурор в Уфе.

Мансуров Борис Александрович — казанский губернатор.

Энгельгардт Лев Николаевич — полковник, автор воспоминаний, изданных в 1867 г.

Стр. 93. «Детская библиотека» издавалась Иоахимом Генрихом Кампе. Две части, переведенные в 1788 г. с немецкого А. С. Шишковым, выдержали несколько изданий.

Стр. 94. Фалатта! Фалатта! (греч.) — Море! Море!

Стр. 122. «Древняя Вивлиофика» — ежемесячное издание Н. И. Новикова «Древняя Российская Вивлиофика», которая знакомила читателей

с историческими событиями, географическими достопримечательностями, сочинениями русских стихотворцев. В 1773—1775 гг. вышла в Петербурге в 10 частях, в 1788—1791 гг. в Москве — в 20-ти.

«Россиада» Хераскова — поэма М. М. Хераскова (1733—1809) «Россияда», изображающая покорение Иваном Грозным Казанского царства.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский поэт, драматург, один из теоретиков русского классицизма.

Стр. 126. ...гатчинские — сторонники Павла Петровича, жившего при Екатерине II в опале в Гатчине.

Стр. 135. Псалтырь — одна из книг Библии, содержащая псалмы (песнопения).

Стр. 152. «Жизнь английского философа Клевеланда» — роман французского писателя аббата Прево д'Экзиля. 9, а не 15, как ошибочно указывает Аксаков, частей романа были изданы на русском языке в 1760—1771 гг.

Стр. 170. Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — автор известных исторических романов.

Стр. 186. «Арфаксад, халдейская повесть» — «Халдейская вымышленная повесть», соч. Козловского. М., 1793—1796 гг.

«Алкивиад» — роман немецкого писателя Августа Готлиба Мейснера.

«Граф Вальмонт, или Заблуждение рассудка» — сочинение, переведенное с французского.

«Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» — роман английского писателя-сентименталиста Самуэля Ричардсона.

Стр. 196. Сказка «Аленький цветочек», которая обычно печатается в качестве приложения к повести «Детские годы Багрова-внука», в издании «Библиотека мировой литературы для детей» помещена в Седьмом томе.

Стр. 210. Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт-баснописец.

Стр. 211. Шатров Николай Михайлович (1763—1841) — поэт, сторонник А. С. Шишкова.

Стр. 215. «Римская история Роллена» — сочинение французского историка Шарля Роллена. В 1761—1767 гг. переведена на русский язык В. К. Тредиаковским.

Стр. 224. Пахотные солдаты — поселенные на земле солдаты.

Стр. 234. «Векфильдский священник» — роман английского писателя Оливера Голдсмита.

«Герберт, или Прощай богатство» — английский нравоучительный роман.

Стр. 235. «Железная маска, или Удивительные приключения отца и сына» — сочинение, переведенное с французского.

Хованский Григорий Александрович (1767—1796) — второстепенный поэт.

Стр. 237. Долгоруков Иван Михайлович (1764—1823) — владимирский губернатор, стихотворец.

Стр. 262. «...впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни».— Имеется в виду поступление Сережи Аксакова в казанскую гимназию.

СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ

А р ш и н — мера длины, равная 0,71 метра.
А с п и д н а я (доска) — черная грифельная доска.
А с с и г н а ц и я — бумажный денежный знак.
Б о т в и н ь я — холодное кушанье из кваса, вареной зелени и рыбы.
Б у р а ч о к — круглый коробок из бересты.
В а р а к у ш к а — певчая птица.
В е р ш о к — мера длины, около 4,4 см.
В е ш н я к — ворота в плотинах для спуска вешних вод.
В ы б о й к а — грубый ситец, холщовая ткань.
В я т е л ь — плетенка из прутьев.
В с е н о щ н а я — вечерняя церковная служба.
Г о в е т ь — поститься и посещать церковные службы.
Г о н о ш и т ь — копить, собирать.
Г р е н а д е р — здесь: солдат из отборной части войск с особенно рослым составом.
Г у м н о — место, где хранят в кладях и молотят хлеб.
Ж е л н а — большой черный дятел.
Ж е р и х — жерех, небольшая речная хищная рыба.
Ж и р н а я в о д а — разлив, половодье.
З а в о з н я — плоскодонная лодка.
З а г о и — пахотный участок земли.
З а к р а й к а — осенний лед, намерзающий около берегов.
З а с л о н — металлический щит, закрывающий горнило русской печки.
З а с ы п к а — помощник мельника.
З в е р о б о й — охотничья собака.
З е м с к и й с у д — полицейско-следственный и судебный орган уездного управления.
И з в о л о к — отлогая гора, некрутой длинный подъем.
К а з а к и н — мужское верхнее платье в виде кафтана на крючках.
К а н а п е — диван с приподнятым изголовьем, софа.
К а н и т е л ь — тонкая золотая или серебряная проволока для вышивания.
К и в о т — киот: ящик со стеклом или небольшой шкаф для икон, божница.
К л и р о с — место для певчих в церкви на возвышении перед иконостасом.
К о с н а я — легкая лодка для переездов.
К о ш м а — большой кусок войлока.
К о ш т — расходы на содержание.
К р о н ш н е п — птица из семейства ржанок.
К у м — крестный отец по отношению к родителям окрещенного ребенка и к крестной матери, куме.
К у т е н о к — щенок, собачонка.
Л у б о к — пласт, лоскут свежего слоя древесной коры.
М а р т ы ш к а — птица из породы чаек.
М а т е р и к — русло реки, озера.
М о р д а — плетенка из прутьев для ловли рыбы.

Мочка — прядь, волокно.

Мощи — высохшие остатки человеческого тела, выдаваемые за останки так называемых святых.

Мурье — тесное и темное жилье.

Наместник — начальник губернии, генерал-губернатор.

Недотка — самая грубая и редкая ткань (не доткать).

Обечайка — согнутый в круг лубок.

Образа — иконы.

Одр — постель, ложе.

Осокорь — один из видов тополей.

Палочник — молодой лесок.

Паровое — незасеянное поле.

Переломатъ — вспахать вторично.

Перемоки — частые дожди.

Пигалица — то же, что чибис.

Поветь — крытое место в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

Повитуха — женщина без акушерского образования, принимающая у рожениц.

Позумент — шитая золотом или мишурой тесьма.

Полба — разновидность пшеницы.

Полбенный — из пшеницы особого вида.

Полой — заливное место, берег луга; здесь: впадина, куда заливается полая, после вскрытия рек вода.

Припущенник — припущенный в общину, приселившийся на землю коренных владельцев.

Пустошь — незаселенная земля.

Рединка — редина; редкая, неплотная ткань.

Рейнвейн — сорт виноградного вина (буквально: рейнское вино).

Роспуск — сани без кузова.

Сажень — линейная мера, равная трем аршинам или 2,13 м.

Сворка — ремень, шнур, на которых водят борзых.

Сивка — птица из отряда куликов.

Старина — здесь: родина.

Степняг — степняк, степной кулик.

Сторицей — во много раз больше.

Страстная неделя — последняя неделя перед пасхой.

Сурчина — нора сурка.

Таган — железный обруч, служит подставкой для чугуна, котла при приготовлении пищи на огне.

Тенёта — сеть для ловли птиц и зверей.

Титло — титул, почетное звание.

Толока — потрава скотом трав, хлеба.

Тоня — место, где ловят рыбу.

Турухтан — птица, род кулика.

Ушат — большая деревянная кадка с «ушами» для переноса ее.

Ф а л а н г а — ряд, строй.
Ф и н и ф т я н о й — финифтевый, покрытый эмалью.
Ф л и г е л ь — жилая пристройка сбоку главного здания.
Ф о р е й т о р — кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей, запряженных цугом.
Х о р у г в ь — большое полотнище на длинном древке с изображением Христа, святых и т. п.
Ч а х о т к а — туберкулез легких.
Ш л а ф р о к — домашний халат.
Ш п а н с к а я м у ш к а — порошок из высушенных шпанских мушек; применялся как средство, вызывающее раздражение, нарывы.
Ш т о ф — мера вина, водки, равная 0,1 ведра.
Ш т у ф — кусок руды.
Ш у ш у н — верхняя женская одежда, кофта или шубейка.
Я г д т а ш — охотничья сумка для дичи.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ И НАЗВАНИЯ МЕСТНОСТЕЙ

Б а г р о в С е р е ж а — Аксаков Сергей Тимофеевич.
Б а г р о в С т е п а н М и х а й л о в и ч — Аксаков Степан Михайлович, дед писателя.
Б а г р о в а А р и н а В а с и л ь е в н а — Аксакова Ирина Васильевна, бабушка писателя.
Б а г р о в А л е к с е й С т е п а н о в и ч — Аксаков Тимофей Степанович, отец писателя.
Б а г р о в а С о ф ь я Н и к о л а е в н а — Аксакова (урожд. Зубова) Марья Николаевна, мать писателя.
З у б и н Н и к о л а й Ф е д о р о в и ч — Зубов Николай Федорович, дед писателя.
К у р о л е с о в а П р а с к о в ь я И в а н о в н а — Куроедова (урожд. Аксакова) Надежда Ивановна, двоюродная тетка отца писателя.
С е с т р и ц а — Аксакова Надежда Тимофеевна, сестра писателя.
Б а г р о в о - Н о в о е — Ново-Аксаково, или Знаменское, в Оренбургской области.
Б а г р о в о - С т а р о е — Старо-Аксаково, или село Троицкое, в Ульяновской области.
П а р а ш и н о — Надеждино, село в Башкирской АССР.
Ч у р а с о в о — Чуфарово, село в Ульяновской области.

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ. ДЕТСТВО ТЕМЫ

Повесть впервые появилась в журнале «Русское богатство», 1892, № 1—3. При жизни писателя переиздавалась неоднократно.

Стр. 308. «С е т и р ы б а к р а с с т и л а л п о б р е г у с т у д е н о г о

м о р я...» — Первая, несколько измененная строка стихотворения А. С. Пушкина «Отрок». У Пушкина: «Невод рыбак расстилал...»

Стр. 312. «В е н г е р с к и й г е р о й!» — В этой иронической реплике выражено отношение прогрессивного русского общества к интервенции, организованной царским правительством для подавления революции в Венгрии 1848—1849 гг.

Стр. 316. «...с ы н с е в а с т о п о л ь с к о г о г е р о я» — то есть участника героической обороны Севастополя в 1854—1855 гг.

Стр. 343. В а г н е р Николай Петрович (1829—1907) — зоолог и писатель.

Стр. 351. «В о т м ч и т с я т р о й к а у д а л а я» — романс «Тройка», в основу которого легло несколько измененное стихотворение Ф. Н. Глинки (1786—1880) «Сон русского на чужбине».

СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ

А с с и г н а ц и и — бумажные деньги.

Б у н ч у к — короткое древко с привязанным конским хвостом, знак власти.

В о л ь т — здесь: крутой поворот.

Г о р и л к а — водка.

И р о д — мучитель, изверг.

К а р е т н и к — сарай для карет.

К и л е в а я — лодка с килем, с глубоко уходящим в воду продольным брусом, служащим основанием нижней части лодки и повышающим ее остойчивость.

К р и н о л и н — широкая юбка «колоколом» на тонких обручах.

К е й ф о в а т ь — проводить время в приятном безделье.

Л о х а н к а — деревянная посуда для стирки белья и других хозяйственных надобностей.

Н е ч и с т ы й — злой дух, черт (простореч.).

П л а ц — площадь для парадов и строевых учений.

П р о с ф о р а (просвира) — белый круглый хлебец из крутого теста, употребляемый в обрядах православного богослужения.

П р и т ч а — иносказательный нравоучительный рассказ.

С в а й к а — игра, состоит в том, что бросают большой гвоздь с целью попасть в середину кольца, лежащего на земле.

Ф л и г е л ь — дом во дворе большого здания.

Ф а т а л и с т — человек, верящий в неотвратимость судьбы.

Ч у б у к — полый деревянный стержень, на который насаживается курительная трубка.

Ш п а н г о у т — поперечный брус, являющийся основой для обшивки судна.

К. М. СТАНЮКОВИЧ. Рассказы

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Впервые напечатано в журнале «Северный вестник», 1887, № 7.

Стр. 379. А л ь б а т р о с, п е т р е л ь — морские птицы.

Стр. 381. Г е н е р а л - б а с — старинное название учения о гармонии.

Кантонисты — солдатские дети, прикрепленные со дня рождения к военному ведомству и подготовлявшиеся к несению солдатской службы в особых школах.

Стр. 383. Франок (искаж.) — франк, основная денежная единица Франции, Бельгии и Швейцарии.

Стр. 384. Мамуровка — наливка из ягод княженики (мамуры), растущей на севере.

Лепорт (искаж.) — рапорт.

Стр. 385. Пария — бесправное, угнетаемое существо.

НЯНЬКА

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости» в 1895 г.

Стр. 411. Лубочная картина — картина, печатавшаяся с гравированных липовых лубков и отличавшаяся примитивностью исполнения.

Олеография — копия с картин, писанных масляными красками.

Стр. 414. Суд Линча — самосуд.

Стр. 421. Никола-угодник — святой, считавшийся покровителем моряков.

МАКСИМКА

Впервые напечатано в журнале «Детское чтение», 1896, № 1—2.

Стр. 447. Тусик — внучка К. М. Станюковича Татьяна.

Стр. 456. Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах.— Об этой войне в примечании к одному из своих произведений Станюкович говорит: «Война эта тянулась с 1861 по 1865 г. и окончилась победой северян. Южные штаты (Южная Каролина, Георгия, Флорида, Миссисипи, Алабама и Луизиана) принуждены были войти в состав республики Северо-Американских Соединенных Штатов, и невольничество было окончательно отменено».

ПЕРВОГОДОК

Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1899, № 1.

Стр. 476. *...сквозь строй...* — Наказание в царской армии, состоявшее в том, что приговоренного к наказанию вели, «прогоняли» между двумя выстроенными рядами солдат и били палками (шпицрутенами).

Шкалик — стакан водки.

Стр. 478. Штиль — полное затишье, безветрие.

БЛЕСТЯЩИЙ КАПИТАН

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1900, № 231.

Стр. 484. Только что были отменены телесные наказания.— Согласно указу от 17 апреля 1863 г. телесные наказания на военных судах могли применяться как дисциплинарные взыскания только по суду.

...Орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем.— Орлеанисты — приверженцы Орлеанского королевского дома (младшей линии Бурбонов) во Франции, наиболее реакционная политическая группировка. Импе-

рия Наполеона Третьего, провозгласившего себя после государственного переворота в 1852 г. императором, была для орлеанистов приемлемее республики.

Стр. 485. Свистать всех наверх! — сигнал, подаваемый свистом дудок во время авральных работ.

Стр. 488. Того и гляди еще в «Колокол» попадем... — У революционной газеты «Колокол», издаваемой в Лондоне Герценом и Огаревым, оказалось много известных и неизвестных корреспондентов, которые сообщали в газету о том, что происходило на родине.

Стр. 489. ...гавана — сигара.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РАССКАЗАХ К. М. СТАНЮКОВИЧА

Аврал — работа на корабле, требующая участия всей команды.

Бак — передняя часть судна от носа до фок-мачты.

Баркас — большое гребное или небольшое паровое судно.

Баталер — унтер-офицер, заведующий денежным, вещевым и пищевым довольством.

Боканцы — выдающиеся за борт судиа балки, служащие для подъема шлюпок.

Боцман — старший строевой унтер-офицер, ведающий судовыми работами.

Брам — термин, прибавляемый к названиям всех парусов и снастей, принадлежащих к брам-стеньге.

Брамсель — прямой парус, поднимаемый над марселем.

Бугшприт — горизонтальная или наклонная балка, выдающаяся с носа корабля и служащая для вынесения вперед носовых парусов.

Буек — поплавок для указания какого-либо места на поверхности воды или для спасения утопающих.

Буршлат (бушлат) — короткое морское пальто.

Ванты — снасти, поддерживающие мачту в вертикальном положении и скрепленные между собой более тонкими снастями в виде лестницы.

Вахта — дежурство на корабле в течение четырех часов.

Вельбот — легкая быстроходная шлюпка.

Вестовой — матрос, прислуживающий в кают-компании или офицеру.

Гальюнщик — матрос, ведающий матросскими уборными.

Грот-руслень — особые планки, к которым крепятся ванты грот-мачты.

Грот и фок на гитовы — команда к уборке парусов на второй и первой мачте или к уменьшению площади парусов.

Дрейф — уклонение корабля от намеченного курса под влиянием ветра или течения.

Загребной — гребец, сидящий первым от кормы; по нему равняются остальные.

Кают-компания — общее помещение для командного состава, где собираются для отдыха, обеда и т. п.

Клипер — трехмачтовый военный корабль.

К н е х т ы — парные металлические или деревянные тумбы для закрепления снастей, швартовых концов.

К о р в е т — трехмачтовое военное судно с открытой батареей на верхней палубе.

Л а г — прибор для определения скорости хода судна.

Л и н е к — короткая трехпрядная веревка с узлом на конце. Линьки применялись для телесных наказаний.

Л о т — прибор для измерения глубин моря и исследования грунта.

М а р с — см. М а ч т а.

М а р с а - ф а л — снасть, при помощи которой поднимается марсель.

М а р с е л ь — второй снизу прямой парус на марса-рее.

М а т — плетеный коврик, употребляемый для предохранения от порчи дерева или троса в местах трения.

М а ч т а — высокий столб для постановки парусов. Передняя — фок-мачта, средняя и самая высокая — грот-мачта, задняя — бизань-мачта. Состоит из двух или трех частей, составленных по длине: собственно мачта, стеньга и брам-стеньга. У мест соединения этих частей расположены площадки: нижняя — марс, верхняя — салинг.

М и ч м а н — первый офицерский чин во флоте.

П а р у с — полотнище из парусины специальной формы и размеров. Прямые паруса, расположенные поперек длины корабля, имеют вид трапеции и прикреплены к реям. При постановке парусов применяют снасти шкоты, при уборке — гитовы. Прямые паруса имеют несколько ярусов: нижние паруса — фок или грот; средние: марсели — фор-марсели, грот-марсели и на бизань-мачте — крюйсель; над ними брамсели — фор-форм-брамсель, грот-брамсель и крюйс-брамсель. Четвертый ярус — бом-брамсели. Косые паруса расположены вдоль корабля.

П а с с а т — ветер с постоянным направлением, дующий от субтропической области к экватору.

П о д ш к и п е р — помощник шкипера, заведующего инвентарем корабля.

Р а н г о у т — общее наименование всех деревянных и металлических приспособлений на корабле, предназначенных для несения парусов, сигнализации и т. п.

Р е я (рей) — горизонтальная перекладина на мачте для прикрепления парусов.

Р е й д — часть моря около берега у входа в порт, удобная для стоянки кораблей.

Р и ф — 1) гряда камней, расположенная близко к поверхности моря; 2) приспособление для изменения площади паруса. В з я т ь р и ф ы — уменьшить площадь, отдать рифы — увеличить. Зарифленные паруса — то есть паруса с уменьшенной площадью.

С к л я н к и — песочные часы, употребляющиеся на кораблях. «Бить склянки» — удар колокола, обозначающий получасовой промежуток.

С н а с т ь — веревки и тросы, служащие для постановки и уборки парусов и пр.

С т е н ь г а — продолжение мачты.

У з е л — мера скорости, равная числу морских миль, пройденных кораблем в час.

Ш а б а ш — команда для прекращения гребли и уборки весел.

Ш к а н ц ы — место для сбора команды на верхней палубе.

Ш к и п е р — 1) содержатель корабельного имущества; 2) командир торгового судна.

Ш т у р м а н — специалист по кораблевождению.

Э к и п а ж — часть строевого состава во флоте.
Э с к а д р а — соединение кораблей.
Ю н г а — мальчик-ученик на корабле, готовящийся стать матросом.
Ю т — кормовая часть верхней палубы.

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК. Рассказы

ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

Впервые — в 1884 году в серии «Рассказы для детей младшего возраста».

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

Впервые в журнале «Мир божий», 1892, № 1.

ПОСТОЙКО

Впервые в журнале «Детское чтение», 1893, № 3.

ПРИЕМЫШ

Впервые в журнале «Детское чтение», 1893, № 11.

В ГЛУШИ

Впервые в журнале «Детский отдых», 1896, № 11.

ВЕРТЕЛ

Впервые в журнале «Всходы», 1897, № 19.

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

Впервые в журнале «Детское чтение», 1894, № 4.

БОГАЧ И ЕРЕМКА

Впервые в журнале «Детское чтение», 1904, № 4, 5.

СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ

А м б а р — строение для хранения зерна, муки, припасов или товаров.
Б а р к а — деревянная баржа.
Б о р о в о й (рябчик) — обитающий в бору.
В а л ё к — плоский деревянный брусок для катания белья на скалке.
В е р ш о к — мера длины, равная 4,4 см.
В о г у л ы — старое название народности манси.
В о л о к — сухопутный участок между судоходными реками.
Г о р я ч к а — лихорадка.
К а ф т а н — мужская долгополая верхняя одежда.
К р ы н к а (кринка) — глиняный удлиненный горшок для молока.
К у д е л ь — пучок льна, изготовленный для пряжи.
Л е ш а к (леший) — сказочное человекообразное существо, живущее в лесу.
Л о д к а - о д н о д е р е в к а — выдолбленный из дерева челн.

Л у ч и т ь — бить рыбу острогой ночью при лучинном огне.
М а с т ь — цвет шерсти у животных.
П л о т б и щ е — место на берегу реки, где строят суда.
П о л а т и — нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и стеной.
П о л ы н ь я — незамерзшее или уже растаявшее место на покрытой льдом поверхности реки, озера.
П о п р и т ч и л о с ь — случилось, приключилось.
П о н и т о к — полушерстяной кафтан, армяк.
П о с т р е л — озорник, сорванец.
П р о к у р а т — проказник, затейник.
Р а с к а т ы — накатанные полозьями косогоры, опасные для движения.
С а ж е н ь — мера длины, равная трем аршинам или 2,13 м.
С о х а т ы й — лось.
Т р е у х — мужская шапка с наушниками и опускающимся задком.
У ж о — потом, позже.
Ч у г у н к а — железная дорога.
Я с ы ч и т ь — здесь: промышлять охотой.

СОДЕРЖАНИЕ

В. А. Богданов. Становление человека 3

С. Т. АКСАКОВ. ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Повесть

К читателям 36
Вступление 37
Отрывочные воспоминания 38
Последовательные воспоминания 44
Дорога до Парашина 49
Парашино 59
Дорога из Парашина в Багрово 67
Багрово 72
Пребывание в Багрове без отца и матери 80
Зима в Уфе 90
Сергеевка 106
Возвращение в Уфу к городской жизни 122
Зимняя дорога в Багрово 127
Багрово зимой 130
Уфа 143
Приезд на постоянное житье в Багрово 155
Чурасово 171
Багрово после Чурасова 188
Первая весна в деревне 192
Летняя поездка в Чурасово 223
Осенняя дорога в Багрово 241
Жизнь в Багрове после кончины бабушки 248

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ. ДЕТСТВО ТЕМЫ

Повесть

Неудачный день 265
Наказание 281
Прощение 283

Старый колодезь 290
Наемный двор 297
Поступление в гимназию 308
Будни 322
Иванов 342
Ябеда 345
В Америку 350
Экзамены 361
Отец 369

К. М. СТАНЮКОВИЧ

Рассказы

«Человек за бортом!» 379
Нянька 396
Максимка 447
Первогодок 472
Блестящий капитан 483

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Рассказы

Емеля-охотник 497
Зимовье на Студеной 504
Постойко 516
Приемыш 524
В глуши 532
Вертел 544
Старый воробей 558
Богач и Еремка 566

Примечания 579

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 15)

Сергей Тимофеевич Аксаков

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Повесть

*

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

ДЕТСТВО ТЕМЫ

Повесть

*

Константин Михайлович Станюкович

Рассказы

*

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Рассказы

*

Ответственный редактор Н. М. Кожемякина. Художественный редактор М. Д. Суховцева. Технический редактор Т. Д. Юрханова. Корректоры Л. А. Рогова и Э. Н. Сизова.

ИБ № 5812

Сдано в набор 10.12.82. Подписано к печати 20.06.83. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академич. Печать высокая. Усл. печ. л. 38,13. Усл. кр. отт. 41,81. Уч.-изд. л. 38,92+9 вкл.=39,48. Тираж 407 000 экз. (2-й завод 200 001—407 000 экз.). Заказ № 2163. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

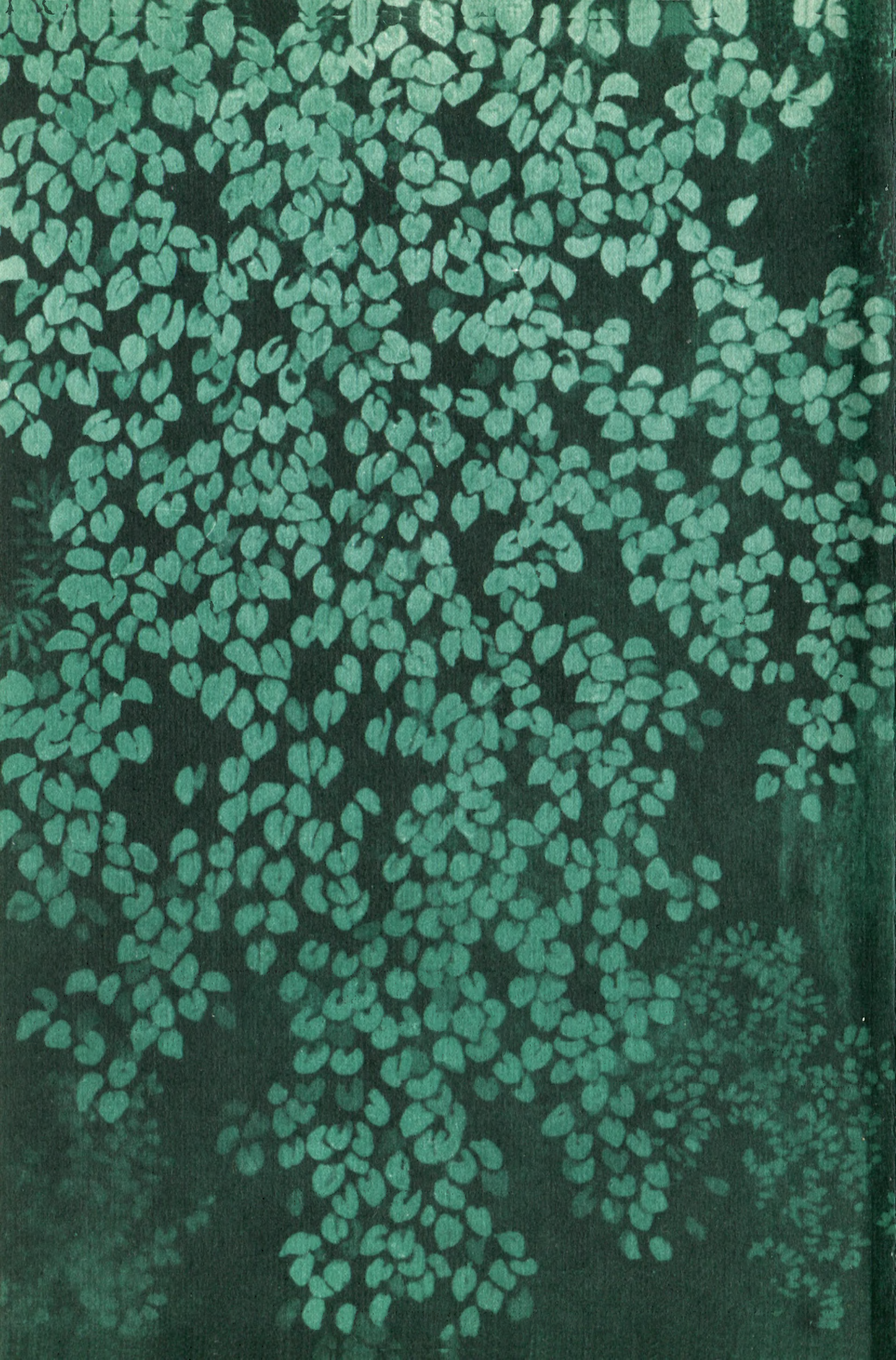
Аксаков С. Т.

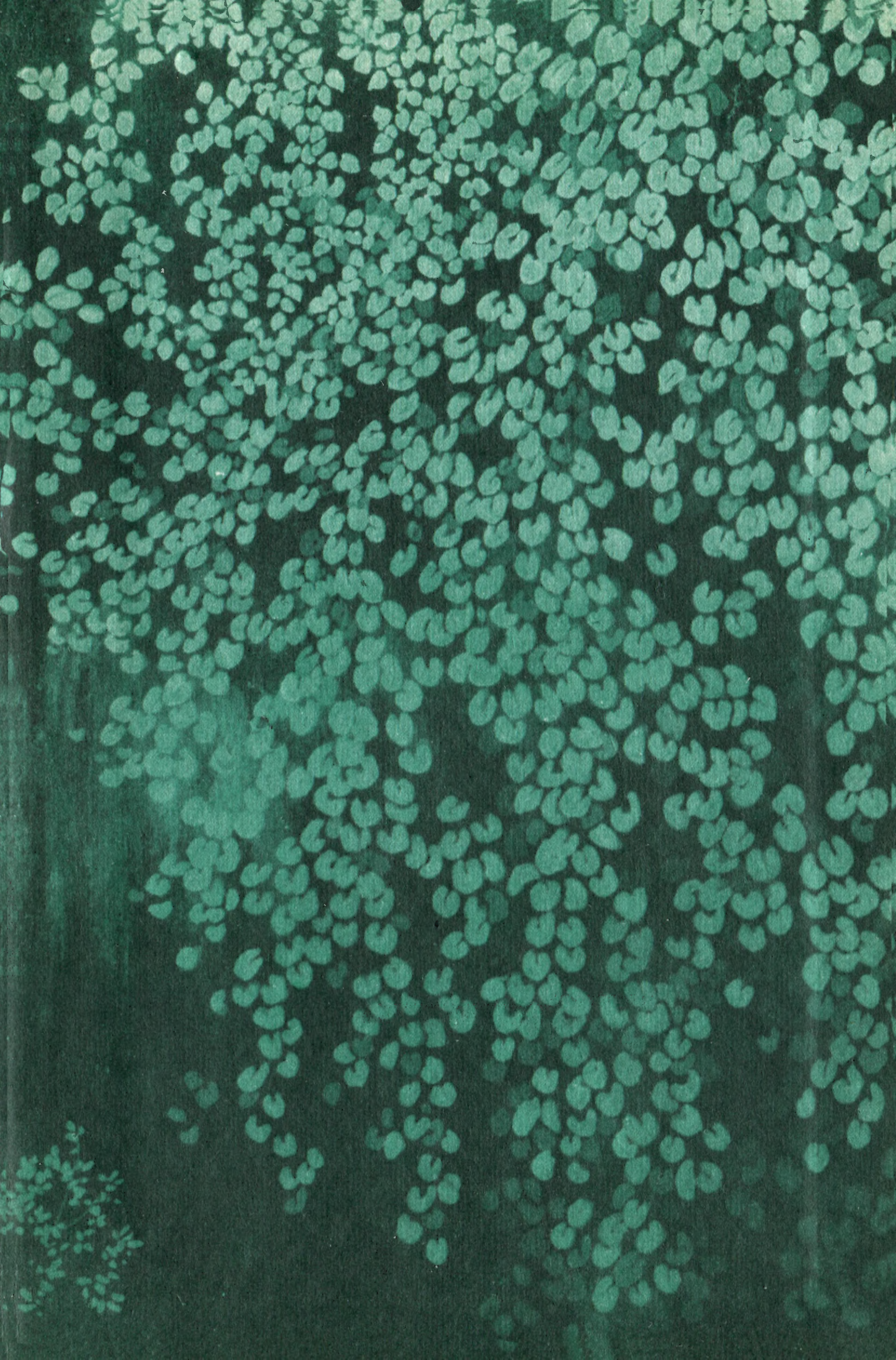
А41 Детские годы Багрова-внука: Повесть. Гарин-Михайловский Н. Г. Детство Темы: Повесть. Станюкович К. М. Рассказы. Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы/ Сост., предисл. и примеч. В. А. Богданова; Оформл. тома и иллюстр. Л. Т. Кузнецова.— М.: Дет. лит., 1983.— 591 с., с ил.— (Б-ка мировой литературы для детей, т. 15).

В пер.: 1 р. 80 к.

В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.

А $\frac{4803010101—410}{М101(03)83}$ Подп. изд. Р1





1р.80к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»